

Н. С. ЛЕСКОВЪ

ПОЛНОЕ
СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ

ИЗДАНИЕ А. М. МАРША

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

<http://rcin.org.pl>

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементков-
скаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго
на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

INSTYTUT

BADAŃ LITERACKICH PAN

BIBLIOTEKA

00 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 73

Tel. 26-68-63

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Издание А. Ф. МАРКСА.

1902.

<http://rcin.org.pl>



Типографія А. Ф. Маркса, Немайл. пр., № 29.

24.124/6-8

ОБОЙДЕННЫЕ.

РОМАНЪ ВЪ 3-ХЪ ЧАСТЯХЪ.

Часть первая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Крючокъ падаетъ въ воду.

Этотъ русскій романъ начался въ Парижѣ и, вдобавокъ, въ самомъ приличномъ, самомъ историческомъ зданіи Парижа — въ Луврѣ. Въ двѣнадцать часовъ яснаго зимняго дня, картинныя галереи Лувра были залиты сплошною и очень пестрою толпою добраго французскаго народа. Зала мурилевской Мадонны была непроходима; на зеленыхъ бархатныхъ диванахъ круглой залы тоже не было ни одного свободнаго мѣста. Только въ первой залѣ, гдѣ слабые нервы поражаются ужасной картиной потопа, и другою, не менѣе ужасной картиной предательскаго убійства — было просторнѣе. Здѣсь, передъ картиной, изображающей юношу и аскета, погребавшихъ въ пустынь молодую красавицу, тихо прижавшись къ стѣнѣ, стоялъ господинъ лѣтъ тридцати, съ очень кроткимъ, немного грустнымъ и очень выразительнымъ, даже, можно сказать, съ очень красивымъ, лицомъ. Закинутые назадъ волнистые каштановые волосы этого господина придавали его лицу что-то такое, по чему у насъ въ Россіи отличаютъ художниковъ. Съ перваго взгляда было очень трудно опредѣлить національность этого человѣка, но, во всякомъ случаѣ, лицо его не рисовалось тонкими чертами романской расы и скорѣе всего могло напомнить собою одушевленные типы славянскаго юга.

Въ трехъ шагахъ отъ этого незнакомаго, прислонясь

слегка плечикомъ къ высокому табурету, на которомъ молча работала копировщица, такъ же тихо и задумчиво стояла молодая, восхитительной красоты дѣвушка, съ золотисто-красными волосами, рассыпавшимися около самой милой головки. Эта стройная дѣвушка скорѣе напоминала собою заблудившуюся къ людямъ ундину или никсеу, чѣмъ живую женщину, способную считать франки и сантимы, или вести домашнюю свару. Нарядъ этой дѣвушки былъ простъ до послѣдней степени; видно было, что онъ нисколько не занималъ ее больше, чѣмъ нарядъ долженъ занимать человѣка: онъ былъ очень опрятенъ и надъ нимъ нельзя было разсмѣяться.

— Насмотрѣлась? — произнесъ по-русски тихій женскій голосъ съзади никсы.

Молодая дѣвушка не шевельнулась и не отвѣтила ни слова.

— Я уже два раза обошла всѣ залы, а ты все сидишь; пойдемъ, Дора! — позвалъ черезъ нѣсколько секундъ тотъ же голосъ.

Этотъ голосъ принадлежалъ молодой женщинѣ, тоже прекрасной, но составляющей рѣзкій контрастъ съ воздушной Дорой. Это была женщина земная: высокая, стройная, съ роскошными круглыми формами, съ большими черными глазами, умно и страстно смотрящими сквозь густыя рѣсницы, и до синевы черными волосами, изящно отгнѣивающими высокій мраморный лобъ и блѣдное лицо, которое могло много разсказать о борьбѣ воли съ страстями и страданіями.

Дѣвушка привстала съ приножка высокого табурета художницы, поблагодарила ее за позволеніе посидѣть и сказала:

— Да, я опять расфантазировалась.

— И что тебѣ такъ нравится въ этой картинѣ? — спросила брюнетка.

— Вотъ поди же! Мнѣ, знаешь, съ нѣкотораго времени кажется, что эта картина имѣетъ не одинъ прямой смыслъ: старость и молодость хоронятъ свои любимыя радости. Смотри, какъ грустна и тяжела безрадостная старость, но въ безрадостной молодости есть что-то ужасное, что-то... проклятое просто. Всмотрись, пожалуйста, Аня, въ эту падающую голову.

— Ты вездѣ увидишь то, чего нѣтъ и чего никто не видитъ, — отвѣчала брюнетка, съ самой доброй улыбкой.

— Да, *чего никто не хочет видеть*, это может быть, но не то, чего вовсе нѣтъ. Хочешь, я спрошу вотъ этого шута, что его занимаетъ въ этой картинѣ? Онъ тутъ еще прежде меня прилипъ.

Та, которая называлась Анею, покачала съ упрекомъ головою и произнесла:

— Тсс!

— Сдѣлай милость, успокойся, не забывай, что онъ ничего этого не понимаетъ.

Дамы вышли налѣво; молчаливый господинъ посмотрѣлъ имъ вслѣдъ, весело улыбулся и тоже вышелъ. Они еще разъ встрѣтились внизу, получая свои зонтики, взглянули другъ на друга и разошлись.

Черезъ двѣ недѣли послѣ этой встрѣчи, извѣстный намъ человекъ стоялъ, съ маленькой карточкой въ рукахъ, у дверей омнибуснаго бюро, близъ св. Магдалины. На дворѣ былъ дождь и рѣзкій зимній вѣтеръ—самая непріятная погода въ Парижѣ. Изъ-за угла Магдалины показался высокій желтый омнибусъ, на имперіалѣ котораго не было ни одного свободнаго мѣста.

— Начинается нумеръ седьмой! — крикнулъ кондукторъ.

Нашъ луврскій знакомый подаль свою карточку, вспрыгнулъ въ карету, и полный экипажъ тронулся снова, оставивъ всѣ дальнѣйшіе нумера дрогнуть на тротуарѣ, или грѣться около раскаленныхъ желѣзныхъ печекъ безпріютнаго бюро.

Въ каретѣ, vis-à-vis противъ новаго пассажира, сидѣли двѣ дамы, изъ которыхъ одна была закрыта густымъ чернымъ вуалемъ, а въ другой онъ тотчасъ же узналъ луврскую ундину; только она теперь казалась раздраженной и даже сердитой. Она сдвигала бровями, кусала свои губки и упорно смотрѣла въ заднее окно, гдѣ на сѣромъ дождевомъ фонѣ мелькала козлиная фигурка кондуктора въ синемъ кэпи и безобразныхъ вязаныхъ нарукавникахъ, изображеніе которыхъ, къ стыду великой германской націи, приписывается добродѣтельнымъ нѣмкамъ. Дама, закрытая вуалемъ, плакала. Хотя густой вуаль и не позволялъ видѣть ни ея глазъ, ни ея лица, а сама она старалась скрыть свои слезы, но ихъ предательски выдавало судорожное вздрагиванье неповиновавшихся ей волъ плечъ. При каждомъ такомъ, впрочемъ, едва примѣтномъ движеніи, Дора

еще пуще сдвигала брови и сердитѣе смотрѣла на стоящую въ воздухѣ мокрядь.

— Это, наконецъ, глупо, сестра! — сказала она, не вытерпѣвъ, когда дама, закрытая вуалемъ, не удержалась и неосторожно всхлинула.

Та молча пронесла подъ вуаль мокрый отъ слезъ платокъ и, видимо, хотѣла заставить себя успокоиться.

— Неужто и послѣ этихъ неслыханныхъ оскорбленій, въ тебѣ еще живетъ какая-нибудь глупая любовь къ этому негодяю! — сердито проговорила Дора.

— Оставь, пожалуйста, — тихо отвѣчала дама въ вуаль.

— Нѣтъ, тебя надо ругать: ты только тогда и образумливаешься, когда тебя хорошенько выбранишь.

— Извините, пожалуйста, — отнесся къ ундинѣ пассажирь, сѣвшій у Магдалины: — я считаю нужнымъ сказать, что я знаю по-русски.

Дама, закрытая вуалемъ, сдѣлала едва замѣтное движеніе головою, а Дора сначала вспыхнула до самыхъ ушей, но черезъ минуту улыбнулась и, отворотясь, стала глядѣть изъ-за плеча сестры на улицу. По легкому, едва замѣтному движенію щеки можно было догадаться, что она смѣется.

Совершенно опустѣвшій omnibusъ остановился у Одеона. Пассажирь отъ св. Магдалины посмотрѣлъ влѣдъ Дорѣ съ ея сестрою. Онѣ вышли въ ворота Люксембургскаго сада. Пассажирь всталъ послѣдній и, выходя, поднялъ распечатанное письмо съ московскимъ почтовымъ штемпелемъ. Письмо было адресовано въ Парижъ, госпожѣ Прохоровой, *poste restante*. Онъ взялъ это письмо и бѣгомъ бросился по прямой аллеѣ Люксембургскаго сада.

— Не обронили ли вы чего-нибудь? — спросилъ онъ, догнавъ Дору и ея сестру.

Послѣдняя быстро опустила руку въ карманъ и сказала:

— Боже мой! что я сдѣлала? Я потеряла письмо и мой вексель.

— Вотъ ваше письмо, и посмотрите, можетъ-быть, здѣсь же и вашъ вексель, — отвѣчалъ господинъ, подавая поднятый конвертъ.

Вексель, дѣйствительно, оказался въ конвертѣ, и господинъ, доставившій дамамъ эту находку, уже хотѣлъ спокойно откланяться, какъ та, которая напоминала собою ундину или никсу, застѣнчиво спросила его:

— Скажите пожалуйста, вы русскій?

— Я русскій-съ,—отвѣчалъ незнакомецъ.

— Скажите, пожалуйста, какая досада!

— Что я русскій?

— Именно. Я этого никакъ не ожидала, и вы меня, пожалуйста, простите, — проговорила она серьезно и протянула ручку.—Сама судьба хотѣла, чтобъ я просила у васъ извиненія за мою вѣтреность, и я его прошу у васъ.

— Извините, я не знаю, чѣмъ вы меня оскорбили.

— Недѣли двѣ назадъ, въ Луврѣ... Помните теперь?

— Назвали меня что-то шутомъ, или дуракомъ, кажется?

— Да, что-то въ этомъ вкусъ,—отвѣчала, краснѣя, смѣясь и тряся его руку, ундина.—Позволю вамъ за это десять разъ назвать меня душой и шутихой. Меня зовутъ Дарья Михайловна Прохорова, а это — моя старшая сестра Анна Михайловна, тоже Прохорова: обѣ принадлежимъ къ одному гербу и роду.

— Мое имя Несторъ Долинскій, — отвѣчалъ знакомый господинъ, кланяясь и приподнимая шляпу.

— А какъ васъ по батюнкѣ?

— Несторъ Игнатьевичъ,—пояснилъ Долинскій.

— Отлично! вы, Несторъ Игнатьевичъ, веселитесь или скучаете?

— Скорѣе скучаю.

— Безподобно! мы живемъ два шага отъ сада, вотъ сей-часъ нумеръ десятый, и у насъ есть свой самоваръ. Пожа-луйста, докажите, что вы не сердитесь и приходите къ намъ пить чай.

— Очень радъ,—отвѣчалъ Долинскій.

— Пожалуйста, приходите, — упрашивала дѣвушка. — Кромѣ гадкихъ французовъ, ровно никого не увидишь — просто несносно.

— Пожалуйста, заходите,—попросила для порядка Анна Михайловна.

— Непремѣнно зайду,—отвѣчалъ Долинскій и повернулъ назадъ къ Латинскому кварталу.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Небольшая исторія, случившаяся до начала этого романа.

У каждого изъ трехъ лицъ, съ которыми мы встрѣчаемся на первыхъ страницахъ этого романа, есть своя небольшая

исторія, которую читателю не мѣшаетъ знать. Начнемъ съ исторіи нашихъ двухъ дамъ.

Анна Михайловна и Дорушка, какъ мы уже знаемъ изъ собственныхъ словъ послѣдней, принадлежали къ одному гербу: первая была дочерью кучера княгини Сурской, а вторая, родившаяся пять лѣтъ спустя послѣ смерти отца своей сестры, могла считать себя безошибочно только дитемъ своей матери. Княгиня Ирина Васильевна Сурская, о которой необходимо вспоминать, рассказывая эту исторію, была барыня стараго покроя. Доводилась она какъ-то съ родни князю Потемкину-Таврическому; куртизанила въ свое время на стоящихъ выше всякаго описанія его вельможескихъ пирахъ; имѣла какой-то романъ, изъ рода романовъ, отличавшихъ тогдашнюю распущенную эпоху сѣверной Пальмиры, и, наконецъ, вышла замужъ за князя Аггея Лукича Сурскаго, человека стараго, не безобразнаго, но страшнаго съ виду и еще болѣе страшнаго по характеру. До своей женитьбы на княжѣ Иринѣ Васильевнѣ, князь Сурскій былъ вдовъ, имѣлъ двѣнадцатилѣтнюю дочь отъ перваго брака, и самому ему было уже лѣтъ подь шестьдесятъ, когда онъ рѣшился осчастливить своею рукою двадцатитрехлѣтнюю Ирину Васильевну и посватался за нее черезъ свѣтлѣйшаго покорителя Тавриды. Впрочемъ, князь Сурскій былъ еще свѣжъ и бодръ; какъ истый аристократъ, онъ не позволялъ себѣ дряхлѣть и разрушаться раньше времени, назначеннаго для его окончательной сломки; кафтаны его всегда были ловко подхвачены, волосы выкрашены, лицо реставрировано всѣми извѣстными въ то время косметическими средствами. Но, разумѣется, не этотъ достатокъ силъ и жизни продиктовалъ крѣпкому старику мысль жениться на двадцатитрехлѣтней княжнѣ Иринѣ Васильевнѣ. Княжна не обшчала много интереса для его чувствительной любознательности, и князь вовсе не желалъ быть Раулемъ-Синей-бородой. Дѣло было гораздо проще. Князь былъ богатъ, знатенъ и честолюбивъ; ему хотѣлось во что бы то ни стало породниться съ Таврическимъ, и княжна Ирина Васильевна была избрана средствомъ для достиженія этой цѣли. Совершилась пышная свадьба, къ которой Ирину Васильевну, какъ просвѣщенную дѣвицу, не нужно было нимало склонять, ни приневоливать; стала княжна Ирина Васильевна называться княгиней Сурскою,

а князь Сурскій немножко еще выше приподнялъ свое бѣло-мраморное чело и отрачивалъ розовые погги на своихъ длинныхъ тонкихъ пальцахъ. Но вдругъ коловратное время перемѣнило козырь и такъ перетасовало колоду, что князь Сурскій, несмотря на родство съ Таврическимъ, былъ несказанно радъ, понавъ при этой перетасовкѣ не далѣе своей степной деревни въ одной изъ низовыхъ губерній. Здѣсь, въ сторонѣ отъ всякаго шума, вдали отъ далекаго, упоительнаго свѣта, очутилась княгиня Ирина Васильевна съ перспективой здѣсь же протянуть долгіе-долгіе годы. А въ двадцать четыре года жизнь такъ хороша, и жить такъ хочется, даже и за старымъ мужемъ... можетъ-быть, даже особенно за старымъ мужемъ...

Князь Сурскій въ деревнѣ явился совершенно другимъ человекомъ, чѣмъ былъ въ столицѣ. Его мягкія, велико-свѣтскія манеры, отличавшія вельможъ екатерининскаго времени, въ степномъ селѣ уступили мѣсто неудержимой рѣзкости и порывистости. Широкіе и смѣлые замыслы и планы князя рухнули; рамки его сузились до мелкой придирчивости, до тираніи, отъ которой въ домѣ страдали всѣ, начиная отъ маленькаго поваренка на кухнѣ до самой молодой княгини, въ ея образной и опочивальнѣ. Князь мстилъ за свое униженіе людямъ, которые при тогдашнихъ обстоятельствахъ не могли ничего поставить въ свою защиту. Молодая княгиня не находилась, какъ ей вести себя въ ея печальномъ положеніи и какой методы держаться съ своимъ грознымъ и неприступнымъ мужемъ.

Черезъ полгода послѣ переезда ихъ въ деревню, княгиня Ирина Васильевна родила сына, котораго назвали, въ честь дѣда, Лукою. Рожденіе этого ребенка имѣло весьма благотворное, но самое непродолжительное вліяніе на крутой нравъ князя. На первыхъ порахъ онъ велѣлъ выкатить крестьянамъ нѣсколько бочекъ пѣннаго вина, пожаловалъ по рублю всѣмъ дворовымъ, барски одарилъ бѣдный сельскій причтъ за его услышанныя молитвы, а на колокольнѣ велѣлъ держать трехдневный звонъ. Робкій, запуганный и задавленный нуждою священникъ не смѣлъ ослушаться княжаго приказа, и съ приходской колокольни три дня сряду торжественнѣйшимъ звономъ возвѣщалось міру рожденіе юнаго княжича. Но не прошло со дня этого великаго событія какой-нибудь одной недѣли, какъ старикъ началъ

опять раздражаться. Въ цѣлой губерніи онъ не находилъ челоѣка, достойнаго быть воспріемникомъ его новорожденнаго сына, и, наконецъ, рѣшилъ крестить *самъ*! При всемъ своемъ смиреніи передъ грознымъ вельможей, сельскій священникъ отказался исполнить эту княжескую прихоть. Князь бѣсновался-бѣсновался, наконецъ одинъ разъ, грозный и мрачный какъ градовая туча, вышелъ изъ дома, взялъ за воротъ зипуна перваго понавшагося ему навстрѣчу мужика, молча привелъ его въ домъ, молча же поставилъ его къ купели рядомъ съ своей старшей дочерью и велѣлъ священнику крестить ребенка. Трепещущій священникъ совершилъ обрядъ.

— А теперь, любезный кумъ,—сказалъ князь, тотчасъ же послѣ крещенія:—вотъ тебѣ за твой трудъ по моей кумовской и княжеской милости тысяча рублей, завтра ты получишь отпускную, а послѣзавтра чтобъ тебя, пріятеля, и помину здѣсь не было, чтобъ духу твоего здѣсь не пахло!

Оторопѣвшій мужикъ повалился князю въ ноги.

— Но помни, куманѣкъ, что если ты станешь жить такъ, что хоть какой-нибудь слухъ о тебѣ до меня дойдетъ, такъ я тебя, каналью... за ребро повѣшу!

Князь заскрипѣлъ зубами и сильно закачалъ за воротъ своего кума.

Мужикъ опять упалъ ему въ ноги, закричалъ:

— Милуйте, жалуйте! милуйте, ваше сіятельство!

Приказаніе княжеское было исполнено въ точности. Семья печальнаго воспріемника новорожденнаго княжича, потихоньку голоса и горестно причитывая, черезъ день, оплаканная родственниками и свойственниками, выѣхала изъ родного села на доморощенныхъ, косматыхъ лошаденкахъ и, гонимая страшнымъ призракомъ грознаго князя, потянулась отъ родныхъ стеней заволжскихъ далеко-далеко къ цвѣтущей заднѣпровской Украинѣ, къ этой обѣтованной землѣ великорусскаго крѣпостного, убогавшаго отъ своей горе-горькой жизни.

Потѣшивъ свой обычай, князь сдѣлался еще свирѣѣе. Дни не проходило, чтобъ удары палками, розгами, охотничьими арапниками или кучерскими кнутъями не отсчитывались кому-нибудь сотнями, и случалось зачастую, что самъ князь, собственной особой, присутствовалъ при испол-

пеніи этихъ жестокихъ истязаній и равнодушно чистилъ во время ихъ свои розовые ногти. Народъ трепеталъ и безмолвно-могильными тѣнами скользилъ около княжескихъ хоромъ. Съ годами жестокость князя все усиливалась. Въ имѣніи князя случилось, что одинъ вѣшался, другой—рѣзался, третій бросался съ высокой плотины въ мутную, волнуемую воду тинистаго, мелкаго пруда. Имѣніе князя стало мѣстомъ всяческихъ ужасовъ; въ народѣ говорили, что всѣ эти утопленники и удушенники встаютъ по ночамъ и бродятъ по княжымъ палатамъ, стона о своихъ душахъ, погибающихъ въ вѣчномъ огнѣ, уготованномъ самоубійцамъ. Золова арфа, устроенная вверху большой башни княжескаго дома, при малѣйшемъ вѣтеркѣ, наводила цѣпнящій ужасъ повсюду, куда достигали ея прихотливые звуки. Люди слышали въ этихъ причудливыхъ звукахъ стоны покойниковъ, падали на колѣна, трясаясь всѣмъ тѣломъ, молились за души умершихъ, молились за свои души, если Богъ не исполнитъ желѣзнаго терпѣнья тѣлу, и ждали своей послѣдней минуты. Князь не измѣнялся. Онъ жилъ одинъ, какъ владыка Морвены, никого не принималъ и продолжалъ свирѣпствовать. Княгиня совершенно потерялась. Она ничего не умѣла предпринять: старалась только какъ можно рѣже оставлять свою комнату, начала много молиться и вся отдавалась сыну.

Какая-то простодушная Коробочка того времени, послушавшись столь много лестнаго объ умѣнии князя управляться съ людьми, приползла къ нему на подвошникѣ просить вступить за нее, вдову беззащитную, поучить и ей людишекъ дисциплинѣ и уму-разуму.

— Оедька Ланотѣкъ кучеромъ со мной пріѣхалъ,—жаловалась Коробочка:—прикажи, государь-князь, хоть его поучить для острастки! Пусть пріѣдетъ и расскажетъ, какой страхъ дается глупому народу,—молилась добравшаяся предъ княжки очи помѣщица.

Вмѣсто того, чтобы оскорбиться, что его считаютъ образцовымъ сѣкуномъ, одичавшій князь выслушалъ Коробочку, только слегка шевеля бровями, и велѣлъ ей ѣхать съ своимъ Оедькою Ланоткомъ къ конюшнѣ. Больно высѣкли Ланотка, подняли отрезвоненнаго и посадили въ уголокъ у двери.

— А ну-ка ее теперь,—спокойно буркнулъ князь, и прежде

чѣмъ Коробочка успѣла что-нибудь понять и сообразить, ее разложили и пошли отзванивать въ глазахъ князя и всего его холопства.

Знали Коробочкины людишки, что страшнѣе, для всѣхъ страшнѣе домъ княжескій! Дерзость и своевластіе князя забыли всякій предѣлъ. Князь разгнѣвался на вывезенную имъ изъ Парижа гувернантку своей дочери и въ принадлежнѣе бѣшенства бросилъ въ нее за столомъ тарелкой. Француженка вскинула:

— Я не крестьянка ваша; вы не смѣете... — сказала ему она.

Князь, давно отвыкшій отъ всякаго возраженія, побавровѣлъ:

— Не смѣю! я не смѣю!.. — проговорилъ онъ, свистнувшись своихъ челядинцевъ и, безъ всякаго стѣсненія, велѣлъ несчастную дѣвушку высѣчь.

Гувернантка схватила со стола ножъ и подняла его къ своему горлу; вѣрные слуги схватили ее сзади за руки. Сопротивляться приказаніямъ князя никто не смѣлъ, да никто и не думалъ.

Упавшую въ обморокъ гувернантку вырвали изъ рукъ молодой княжны, высѣкли ее въ присутствіи самого князя, а потомъ спеленали, какъ ребенка, въ простыню и отнесли въ ея комнату. Здѣсь держали ее спеленатою, пока зажили рубцы отъ розогъ и, какъ ребенка же, кормили рожкомъ и соской, а, наконецъ, когда слѣдовъ наказанія не было болѣе замѣтно, ее, со всѣми ея пожитками, отвезли на крестьянской подводѣ въ ближайшій городъ. Француженка обратилась къ кому-то съ жалобой, но ей посоветовали прекратить дѣло, такъ какъ въ данномъ случаѣ свои люди не могли быть свидѣтелями противъ князя. Могучій Орсаль не повелъ ни усомъ, ни ухомъ: равнодушный, какъ вольтеріанецъ, къ суду Божескому, онъ знать не хотѣлъ ни о какомъ судѣ человѣческомъ. По примѣру наказанной француженки, онъ вздумалъ высѣчь своего управителя, какого-то американскаго янки, и это было причиною собственной гибели князя. Янки не дался. Ко всеобщему ужасу, онъ смѣло открылъ окно своего флигеля, окруженнаго княжескими людьми, краснорѣчиво выставилъ передъ собою два заряженныхъ пистолета, пробѣжалъ никѣмъ не тронутый черезъ оторопѣвшую толпу ликторовъ и, вскочивъ

на стоявшую у коновязи осёдланную лошадь земскаго, по-
несся на ней во всю мочь къ городу. Посланная погоня,
угрожаемая убѣдительными поворотами пистолетовъ бѣглеца,
рѣшилась оставить опасную погоню и вернулась съ пустыми
руками.

Князь задыхался отъ ярости. Передъ крыльцомъ и на
конюшнѣ наказывали гонцовъ и другихъ людей, виновныхъ
въ упускѣ изъ рукъ дерзкаго янки, а князь, какъ дикій
звѣрь, съ пѣною у рта и красными глазами, метался по
своему кабинету. Онъ рвалъ на себѣ волосы, швырялъ и
ломалъ вещи, ругался страшными словами.

Стоны, доносившіеся черезъ окно до его слуха, только
разжигали его бѣшенство.

Среди такого ужаса, княгиня не выдержала и вошла
къ мужу.

— Князь!—позвала она тихо, остановившись у порога.

Возлѣ княгини, тутъ же на порогѣ, стоялъ отворившій ей
дверь, весь блѣдный отъ страха, любимый доѣзжачій князя,
восемнадцатилѣтній мальчикъ Михайлушка, котораго мѣстная
хроника шопотомъ называла хотя незаконнымъ, но, тѣмъ
не менѣе, несомнѣнно роднымъ сыномъ князя.

— А! что! Кто васъ звалъ? Кто васъ пустилъ сюда?—
закричалъ, трясясь и тоная, старикъ.

— Я сама пришла, князь; я ваша жена, кто же меня
смѣетъ не пустить къ вамъ?

— Вонъ! сейчасъ вонъ отсюда!—бѣшено заоралъ безум-
ный князь и забарабанилъ кулаками.

— Князь! вы опомнитесь—Сибирь...

Княгиня не успѣла договорить своей тихой рѣчи, какъ
тяжелая малахитовая щетка взвилась со стола, у котораго
стоялъ князь, и молодой Михайлушка, зорко слѣдившій за
движеніями своего грознаго владыки, тяжело грохнулся къ
ногамъ княгини, защитивъ ее собственнымъ тѣломъ отъ
направленнаго въ ея голову смертельнаго удара.

Князь закачался на ногахъ и повалился на полъ. Бѣше-
нымъ звѣремъ покатился онъ по мягкому ковру; изъ его
огнѣнныхъ и посинѣвшихъ губъ вылетало какое-то звѣр-
ское рычаніе; всѣ мускулы на его багровомъ лицѣ тряслись
и подергивались; красные глаза выступали изъ своихъ ор-
битъ, а зубы судорожно схватывали и теребили ковровую
покрывку. Все, что отличаетъ человѣка отъ кровожаднаго

звѣря, было чуждо въ эту минуту бѣснующемуся князю, самая слюна его, вѣроятно, имѣла всѣ ядовитыя свойства слюны разъяреннаго до бѣшенства звѣря.

Княгиня спросила черезъ порогъ воды и подошла со стаканомъ къ мужу.

«Рррбуу», рычалъ князь, закусивъ коверъ и глядя на жену столбѣющими глазами; лицо его изъ багроваго цвѣта стало переходить въ синій, потомъ блѣдно-синій; пѣнистая слюна остановилась и рычаніе стихло. Смертельный апоплексическій ударъ разомъ положилъ конецъ ударамъ арапниковъ, свиставшихъ по приказанію скоростижно-умершаго князя.

Вѣзавшій княжескій управитель умѣлъ заставить проснуться тяжелыя на подъемъ губернскія власти; но судъ Божескій освободилъ судъ людской отъ обязанности карать преступленіе опальнаго вельможи. Спѣшно-прибывшая изъ города комиссія застала князя на столѣ и откушала на его погребеніи.

Ни въ чемъ не повинная княгиня Ирина Васильевна осталась въ имѣніи, которое должны были наследовать ея сынъ и падчерица. Она не вмѣшивалась въ управленіе приставленнаго опекуна, цѣлый рядъ лѣтъ никуда не выѣзжала, молилась, старѣлась, начинала чудить и годъ отъ года все становилась страннѣе и страннѣе. Михайлушку, котораго молодая, хотя и весьма нѣжная патура вынесла жестокій ударъ, назначавшійся княгинѣ, она считала своимъ спасителемъ и пристрастилась къ нему всею душою. Михайлушка на всю жизнь остался немножко глухимъ, и эта глухота постоянно не позволяла княгинѣ забывать объ оказанной ей этимъ человѣкомъ услугъ. Михайлушка сдѣлался избраннѣйшимъ любимцемъ и *factotum* старѣющей въ одиночествѣ княгини. Единственнымъ ея развлеченіемъ, зимою и лѣтомъ, было катанье по гладкой и ровной степи, но, ко множеству развивающихся въ ней странностей, она питала неодолимую боязнь къ лошадямъ, и могла ѣздить только съ Михайлушкой. Поэтому, Михайлушка главнымъ образомъ состоялъ выѣзднымъ кучеромъ при ея особѣ. Съ нимъ княгиня ѣздила спокойно, съ нимъ она отправляла на своихъ лошадяхъ въ Москву въ гимназію подростка князя Луку Аггеича, съ нимъ, наконецъ, отправила въ Петербургъ къ мужниной сестрѣ подросткую падчерицу, и вообще была

твёрдо увѣрена, что гдѣ только есть ея Михайлинька, отсюда далеки всѣ опасности и невзгоды. Грязные языки, развизавшіеся послѣ смерти страшнаго князя и не знавшіе исторіи малахитовой щетки, сочиняли насчетъ привязанности княгини къ Михайлушкѣ разныя небывалыя вещи и не хотѣли просто понять ея слѣпой привязанности къ этому человѣку, спасшему нѣкогда ея жизнь и нынѣ платившему ей за ея довѣріе самую страстную, рабской преданностью.

Когда Михайлинькѣ минуло двадцать шесть лѣтъ, княгиня вздумала женить своего фаворита и, не откладывая этого дѣла въ дальній ящикъ, обвиняла его съ писаной красавицей, сѣнной дѣвушкой Феней. Пять лѣтъ у молодого супружества не было дѣтей, а потомъ явилась дочь Аннушка, и вслѣдъ затѣмъ Михайлинька умеръ отъ простуды, поручивъ свою дочь и жену заботамъ и милостямъ совершенно состарившейся княгини. Княгиня старалась какъ можно добросовѣстнѣе выполнить предсмертную просьбу своего любимца. Вдова его получала удобную квартиру и полное содержаніе, а маленькая Аня со второго же года была совсѣмъ взята въ барскій домъ, и не только жила съ княгинею, но даже и спала съ нею въ одной комнатѣ. Въ это время молодой князь Лука Аггенчъ счастливо женился, получилъ мѣсто по дипломатическому корпусу, и собирался за границу. Онъ пріѣхалъ къ матери съ женою и трехлѣтнимъ сыномъ Кирилломъ. Одинокая старушка еще болѣе сиротѣла, отпуская сына въ чужіе края; князю тоже было жалко покинуть мать, и онъ уговорилъ ее ѣхать вмѣстѣ въ Парижъ. Княгинѣ жалко было и деревни, но все-таки она не захотѣла разстаться съ сыномъ, и все семейство тронулось за границу. Аню княгиня, къ крайнему прискорбію ея матери, тоже увезла съ собою. Черезъ два года, княгиню постигло новое горе: ея сынъ съ невѣсткою умерли другъ за другомъ въ теченіе одной недѣли, и осиротѣлая, древняя старушка снова осталась и воспитательницею, и главною опекуницею малолѣтняго внука.

Княгиня Ирина Васильевна въ это время уже была очень стара; лѣта и горе брали свое, и воспитаніе внука ей было вовсе не по силамъ. Однако, дѣлать было нечего. Точно такъ же, какъ она нѣкогда неподвижно осѣлась въ деревнѣ, теперь она засѣла въ Парижъ и вовсе не помышляла о возвращеніи въ Россію. Одна мысль о какихъ бы то ни было

сборахъ заставляла ее трястись и пугаться. «Пусть доживу мой вѣкъ, какъ живется», говорила она и страшно не любила людей, которые напоминали ей о какихъ бы то ни было перемѣнахъ въ ея жизни.

Внука она отдала въ одинъ изъ лучшихъ парижскихъ пансіоновъ, а къ Анѣ пригласила учителей и жила въ полной увѣренности, что она воспитываетъ дѣтей какъ нельзя лучше.

Дѣти росли, княгиня старѣлась и стала быстро подаваться къ гробу.

Восемнадцатилѣтній князь Кирила Лукичъ смотрѣлъ молодцомъ, хотя и французомъ, Аня расцвѣла пышною розой.

Кромѣ того, чему Аню учили французскіе учителя и дѣточка русской посольской церкви, она не мало сдѣлала для себя и сама. Старая княгиня не могла имѣть сильнаго вліянія на всестороннее развитіе дѣвушки. Она учила ее вѣрить въ верховную опеку промысла; старалась передать ей небольшой запасъ сухихъ правилъ, замѣнявшихъ для нея самой весь нравственный кодексъ; любовалась красотою ея лица, очаровательною граціею стана, изиществомъ манеръ, и болѣе ничего. Анна Михайловна сама додумалась, что положеніе ея въ домѣ княгини фальшивое, что ей нужно самой обставить себя совсѣмъ иначе и что на заботы княгини во всемъ полагаться нельзя. Анна Михайловна была существо самое кроткое, нѣжное сердцемъ, честное до болѣзненности и безпредѣльно-довѣрчивое. Начитавшись романтическихъ писателей французской романтической школы, она сама очень порядочно страдала романтизмомъ, но при всемъ томъ она, однако, понимала свое положеніе, и хотѣла смотрѣть въ свое будущее не сквозь розовую призму. О семьѣ своей Анна Михайловна знала очень мало. Съ тѣхъ поръ, какъ ее маленькимъ дитятей вывели за границу, разъ въ годъ, когда княгиня получала изъ имѣнія бумаги, прочитывая управительскіе отчеты, она обыкновенно говорила: «твоя мать, Аня, здорова», и тѣмъ ограничивались свѣдѣнія Ани о ея матери.

Когда дѣвочкѣ было шесть лѣтъ, княгиня, читая вновь полученный ею отчетъ, сказала: «твоя мать, Аня, здорова, и...» и на этомъ и княгиня поперхнулась.

— И у тебя, Аня, родилась сестрица, — добавила она черезъ нѣсколько времени съ досадою и вмѣстѣ съ такимъ

удивленіемъ, какъ будто хотѣла сказать: что это еще за моду такую глупую выдумали!

А Аня была необыкновенно какъ рада, что у нея есть сестрица.

— Маленькая?—спрашивала она у княгини.

— Очень, мой другъ, маленькая, и зовутъ ее Дорушкой,—отвѣчала княгиня.

Аня такъ и запрыгала отъ этой радостной вѣсти.

— Ахъ, какая это должна быть прелесть—эта Дорушка!—размышляла дѣвочка цѣлый день до вечера.

Ночью сквозь сонъ ей слышалось, что княгиня какъ будто дурно говорила о ея матери съ своею старой горничной; будто упрекала ее въ чемъ-то противъ Михайлинки, сердилась и общала немедленно велѣть разсчитать молодого, бѣлокурого швейцарца Траппа, управляшаго въ селѣ заведенною княземъ ковровою фабрикой. Аня рѣшительно не понимала, чѣмъ ея мать оскорбила покойнаго Михайлушку и зачѣмъ тутъ при этой смѣтѣ приходился бѣлокурый швейцарецъ Траппъ: она только радовалась, что у нея есть очень маленькая сестрица, которую, вѣрно, можно купать, пеленать, нянчить и производить надъ ней другія подобныя интересныя операціи. Черезъ годъ еще,—княгиня сказала:

— Ты, Аня, будь умница — не плачь: твоя мать, мой дружочекъ, умерла.

— Умерла!—закричала Аня.

— Давно, мой другъ, не плачь, не теперь, она давно ужъ умерла.

Аня все-таки горько плакала.

— А сестрица моя?—спрашивала она княгиню.

— Я велю, дружочекъ, твою сестрицу прибрать; велю, чтобы ей хорошо было,—успокоивала княгиня.

Аня утѣшалась, что ея маленькой сестрицѣ будетъ хорошо. А между тѣмъ время работало свою работу. Маленькая сестрица Ани, взятая изъ состраданія, очень доброю и просвѣщенною женою новаго управителя, подросла, выучилась писать и прислала сестрѣ очень милое дѣтское письмо.

Между сестрами завязалась живая переписка: Аня заочно пристращалась къ Дорушкѣ; та ей взаимно, изъ своей степной глуши, платила самой горячей любовью. Преобладаю-

щимъ стремленіемъ дѣвочекъ стало страстное желаніе увидаться другъ съ другомъ. Княгиня и слышать не хотѣла о томъ, чтобы отпустить шестнадцатилѣтнюю Аню изъ Парижа въ какую-то глухую степную деревню.

— Послѣ моей смерти ступай куда хочешь, а при мнѣ не дѣлай глупостей, — говорила она Аннѣ Михайловнѣ, не замѣчая, что та въ ея-то именно присутствіи и дѣлаетъ самую высшую глупость изъ всѣхъ глупостей, которыя она могла бы сдѣлать.

Анна Михайловна, не выдавая ни одного мужчины, кромѣ своихъ учителей и двухъ или трехъ старыхъ роялистскихъ генераловъ, изрѣдка навѣщавшихъ княгиню, со всею теплотою и дѣтскою довѣрчивостью своей натуры привязывалась къ князю Кирилѣ Лукичу. Князь Кирилъ, выросшій во французской школѣ и пропитанный французскими понятіями о чести вообще и о честности по отношенію къ женщинѣ въ особенности, называлъ Аню своей хорошенькой кузиной и былъ къ ней добръ и предупредителенъ. Анѣ всегда очень нравилось вниманіе князя; ей съ нимъ было веселѣе и какъ-то лучше, пріятнѣе, чѣмъ съ старушкой-княгиней и ея французскими, роялистскими генералами, или съ дьячкомъ русской посольской церкви. Молодые люди вмѣстѣ гуляли, катались, ѣздили за городъ; княгиня все это находила весьма приличнымъ и естественнымъ, но ей показалось совершенно неестественнымъ, когда Аня, сидя одинъ разъ за чаемъ, вдругъ тихо вскрикнула, поблѣднѣла и откинулась на спинку кресла.

Анна Михайловна не умѣла скрыть отъ княгини своей беременности. Княгиня, впрочемъ, ни въ чемъ не упрекала Анну Михайловну и только страшно сердилась на своего внука. Родилось дитя, его свезли и отдали на воспитаніе въ небольшую деревеньку около Версаля. Прошло два мѣсяца; Анна Михайловна оправилась, а княгиня заболѣла и умерла. Кончаясь, она вручила Аннѣ Михайловнѣ давно приготовленную вольную для нея и Доры, банковый билетъ въ десять тысячъ рублей ассигнаціями, и долговое обязательство въ такую же сумму, подписанное еще покойнымъ княземъ Лукою и исполнѣ обязательное для его наследника.

Поведеніе князя Кирила, по отношенію къ Аннѣ Михайловнѣ, было весьма неодобрительно, какъ французы го-

ворять: *онъ поступилъ какъ мужчина*. Аня теперь ясно видѣла, что князь никогда не любилъ ее и что она была ни больше, ни меньше, какъ одна изъ тысячи жертвъ, преслѣдованіе которыхъ составляетъ пріятную задачу празднои и пустой жизни князя. Анна Михайловна была обижена очень сильно, но ни въ чемъ не упрекала князя, и не мѣшала ему избѣгать съ нею встрѣчь, которыми онъ еще такъ недавно очень дорожилъ, и которыхъ такъ горячо всегда добивался. Она ненавидѣла князя. Въ ея нѣжной душѣ оставалось къ нему то теплое, любовное чувство, которое иногда навсегда остается въ сердцахъ многихъ хорошихъ женщинъ къ нѣкогда любимымъ людямъ, которымъ онѣ обязаны всѣми своими несчастіями.

Анна Михайловна просила князя только навѣдываться по-временамъ о ребенкѣ, пока его можно будетъ перевезти въ Россію, и тотчасъ послѣ похоронъ старой княгини уѣхала въ давно оставленное отечество.

Тутъ же она взяла изъ деревни Дорушку, увезла ее въ Петербургъ, открыла очень хорошенькій модный магазинъ и стала работать.

Личныя впечатлѣнія, произведенныя сестрами другъ на друга, были самыя выгодныя. Дорушка не была такъ образована, какъ Анна Михайловна; она даже съ великимъ трудомъ объяснялась по-французски, но была очень бойка, умна, искренна и необыкновенна понятлива. Благодаря внимательности и благоразумію бездѣтной и очень прямо смотрѣвшей на жизнь жены управителя, у которой выросла Дора, она была развита не по лѣтамъ, и Анна Михайловна нашла въ своей маленькой сестрицѣ друга, уже способнаго понять всякую мысль и отозваться на каждое чувство.

Въ это время Аннѣ Михайловнѣ шелъ двадцатый, а Дорушкѣ пятнадцатый годъ. Труды и заботы Анны Михайловны вѣнчались полнымъ успѣхомъ: магазинъ ея приобрѣталъ день ото дня лучшую репутацію, здоровье служило такъ нельзя лучше; Амуръ щадилъ ихъ сердца и не шевелилъ своими мучительными стрѣлами: нечего желать было больше.

Такъ прошло три года.

Въ эти три года Анна Михайловна не могла добиться отъ князя трехъ словъ о своемъ ребенкѣ, существованіе

котораго не было секретомъ для ея сестры, и рѣшилась ѣхать съ Дорушкой въ Парижъ, гдѣ мы ихъ и встрѣчаемъ.

Онѣ здѣсь пробыли уже около мѣсяца прежде, чѣмъ столкнулись въ Луврѣ съ Долинскимъ. Анна Михайловна во все это время никакъ не могла добиться аудіенціи у своего князя. Его то не было дома, то онѣ не могъ принять ее. Къ Аннѣ Михайловнѣ онѣ обѣщали заѣхать и не заѣзжали.

— Очень милый господинъ! Вѣжливъ какъ сапожникъ,— говорила Дорушка, непомѣрно раздражаясь на князя, котораго Анна Михайловна всякій день съ тревогою и нетерпѣніемъ дожидала съ утра до ночи и все-таки старалась его оправдывать.

Наконецъ и Анна Михайловна не выдержала. Она написала князю самое убѣдительное письмо, послѣ котораго тотъ назначилъ ей свиданіе у Ваншета.

Анну Михайловну очень удивило, почему князь не могъ принять ее у себя и назначаетъ ей свиданіе въ ресторанѣ, но отъ него это была уже не первая обида, которую ей приходилось прятать въ карманъ. Анна Михайловна въ назначенное время отправилась съ Дорою къ Ваншету. Дорушка спросила себѣ чашку бульону и осталась внизу, а Анна Михайловна показала карточку, переданную ей лакеемъ князя.

Ее проводили въ небольшую, очень хорошо меблированную комнату въ бель-этажѣ.

Анна Михайловна опустилась на диванъ, на которомъ года четыре назадъ сидѣла веселая и доверчивая съ этимъ же княземъ, и вспомнилось ей многое, и стало ей и горько, и смѣшно.

«Каково-то будетъ это свиданіе?»—подумала она съ грустной улыбкой.

«Поговоримъ о дѣлѣ, о нашемъ ребенкѣ, и пожелаемъ другъ другу счастливо оставаться».

Въ дверь кто-то слегка постучался

«Это его стукъ», — подумала Анна Михайловна и отвѣчала:—«войдите».

Вошелъ расфранченный господинъ, совершенно незнакомый Аннѣ Михайловнѣ.

— Вы госпожа Прохорова? — спросилъ онѣ ее чистѣйшимъ парижскимъ языкомъ.

— Я,—отвѣчала она.

— Вамъ угодно было видѣть князя Сурскаго?

— Да, мнѣ нужно видѣть князя Сурскаго.

— Онъ не можетъ лично видѣться съ вами сегодня.

Анна Михайловна смѣшалась.

— Однако, надѣюсь, онъ пригласитъ меня сюда!

— Да, это онъ, который васъ пригласилъ сюда, но ручаюсь вамъ, madame, онъ здѣсь не будетъ. Вы вѣрно знаете—князь помолвленъ.

— Помолвленъ! нѣтъ я этого не знала и не намѣрена искать чести узнавать его невѣсты, — говорила торопясь и мѣшаясь Анна Михайловна. — Скажите мнѣ только одно: гдѣ и когда, наконецъ, я могу его видѣть на нѣсколько минутъ?

— Говори поистинѣ, я полагаю, *никогда*, — отвѣчалъ, вскидывая голову, французъ. — Князь много дѣлъ такихъ покончилъ чрезъ меня и теперь уполномочилъ меня переговарить и кончить съ вами. Я его камердинеръ — къ вашимъ услугамъ.

Французъ развязно поклонился.

— Я вамъ не вѣрю, — отвѣчала, вся вспыхнувъ, Анна Михайловна.

Камердинеръ развернулъ свою записную книжечку и показалъ листокъ, на которомъ рукою князя было написано: «я уполномочилъ моего камердинера, господина Рено, войти съ госпожею Прохоровою въ переговоры, которыхъ она желаетъ».

— Гдѣ мой ребенокъ?—рѣзко спросила, роная изъ рукъ записную книжку, Анна Михайловна.

— Умеръ, больше двухъ лѣтъ назадъ, — отвѣчалъ спокойно господинъ Рено.

— Такъ вы скажите вашему князю, что я только это и хотѣла знать,—твердо произнесла Анна Михайловна и вышла изъ комнаты.

— Какая неслыханная дерзость! — воскликнула Дора, когда сестра, дрожа и давясь слезами, рассказала ей о своемъ свиданіи.

— Онъ пустой и ничтожный человѣкъ, — отвѣчала краснѣя Анна Михайловна — и заплакала.

— О чемъ же, о чемъ это ты плачешь?.. Тебя, честную женщину, выписываютъ въ кабакъ, въ трактиръ какой-то,

довѣряють твои тайны какимъ-то французикамъ, лакеямъ, а ты плачешь! Развѣ въ такихъ случаяхъ можно плакать? Такой мерзавецъ можетъ вызывать одно только пренебреженіе, а не слезы.

— Не могу пренебрегать равнодушно.

— Ну, мсти!

— Я не умѣю мстить и не хочу. Я гадка сама себѣ, онъ мнѣ просто жалокъ.

— Жалокъ!.. Да, очень жалокъ... Я бы съ жалости ему разгрызла горло и плюнула бѣ въ глаза его лакею.

— Дора, оставь меня лучше въ покоѣ!

Дорушка пожала плечами и онѣ поѣхали въ томъ omnibusъ, въ которомъ встрѣтились у св. Магдалины съ Долинскимъ, когда встревоженная Анна Михайловна обронила присланный ей изъ Москвы денежный рексель.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Исторія въ другомъ родѣ.

Дѣдъ Долинскаго, полуполякъ, полумалороссіянинъ, былъ кіевскимъ магистратскимъ войтомъ незадолго до потери этимъ городомъ привилегій, которыми онъ пользовался по магдебургскому праву. Войтъ Долинскій принадлежалъ къ старой городской аристократіи, какъ по своему роду, такъ и по почетному званію, и по очень хорошему, честно нажитому состоянію пользовался въ задыпровской Украинѣ очень почтенною извѣстностью и уваженіемъ. Стойкость, строгая справедливость и дальновидный дипломатическій умъ можно ставить главными чертами, способными характеризовать личность стараго войта. Сынъ такого отца, Игнатій Долинскій не наслѣдовалъ всѣхъ родительскихъ качествъ. Онъ былъ человѣкъ очень честный въ буржуазномъ смыслѣ этого слова, и даже неглупый, но лѣнивый, вялый, безпечный и ко всему совершенно равнодушный. Жена Игнатія Долинскаго, сиротка, выросшая въ «племянницахъ» въ одномъ русскомъ купеческомъ домѣ, принадлежала къ весьма немалочисленному разряду нашихъ съ дѣтства забытыхъ великорусскихъ женщинъ, остающихся на цѣлую жизнь безотвѣтными, сиротливыми дѣтьми и молитвенницами за затолкнѣй ихъ міръ Божій. Игнатій Долинскій неспособенъ былъ разбудить въ своей безотвѣтно-доброй женѣ ни смѣлости, ни воли, ни энергіи. Выйди замужъ и

рожая дѣтей, она оставалась такимъ же сиротливымъ и безхитростнымъ ребенкомъ, какимъ была въ домѣ своего московскаго дяди и благодѣтеля. Жизнь въ Кіевѣ, на высококомъ Печерскѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ златоверхой лавры, вѣчно полной богомольцами, стекающимися къ родной святыни отъ запада, и сѣвера, и моря, рельефнѣе всего выработала въ характерѣ Долинской одну черту, съ дѣтства спавшую въ ней въ зародышѣ. Съ каждымъ годомъ Ульяна Петровна Долинская становилась все религіознѣе; постилась все строже, молилась больше; скорбѣла о людской злобѣ и не выходила изъ церкви или отъ бѣдныхъ. Нищіе, странные и убогіе были любимую средою Долинской, и въ этой исключительной средѣ ея робкая и чистая душа старалась скрываться отъ мірскихъ суетъ и тревоженій.

Деньги для Долинской никогда не имѣли никакой цѣны, а тутъ, отдаваясь съ лѣтами одной мысли о житіи по слову Божію, она стала даже съ омерзѣніемъ смотрѣть на всякое земное богатство. Ни одна монета не могла получаса пролежать въ ея карманѣ, не перепрыгнувъ въ дырявую суму проползнаго тысячу верстъ мужичка или въ хату къ дѣтямъ пьянствующаго сосѣда-ремесленника. Рука Долинской давала и направо, и налѣво; мужъ смотрѣлъ на это филаретовское милосердіе совершенно спокойно. Онъ не только не удерживалъ ея безмѣрно щедрую руку, но даже одобрялъ такое распоряженіе имуществомъ.

— Моя Ульяна Петровна—ангелъ,—говорилъ онъ, благоговѣйно поднимая глаза къ небу:—она истинная христіанка, безсребреница, незлобивая.

Такъ и шли дѣла, пока состоянія, оставленнаго войтомъ, доставало на удовлетвореніе щедрости его невѣстки; но, наконецъ, въ городѣ стали замѣчать, что Долинскіе «начали приупадать», а еще немножко — и семья Долинскихъ ужъ вовсе не считалась зажиточною. Ульяна Петровна все шла своею дорогою. Дѣтей у Долинскихъ были трое: два сына: Аристархъ и Несторъ и дочь Леокадія. Росли эти дѣти на полной свободѣ: мать и отецъ были съ ними очень нѣжны, но не дѣлали дѣтское воспитаніе своею главною задачею. Изъ дѣтей, однако, не выходило ничего дурного: они росли дѣтьми нѣжными, дружными и ласковыми. Ульяна Петровна любила ихъ всѣхъ равно, одною чисто-евангель-

скою любовью, но ближе двухъ другихъ къ ней былъ Несторъ. Этотъ очаровательно-красивый мальчикъ былъ странно привязанъ къ своей благочестивой матери и вслѣдствіе этой страстности самъ пристрастился къ ея образу жизни и занятіямъ. Торопливо протирая сонные глазенки, вскакивалъ онъ при первомъ движеніи матери о полуночи; стоя на коленяхъ, лепеталъ онъ за нею слова вдохновенныхъ молитвъ Сирина, Дамаскина и, шатаясь, выстаивалъ долгій часъ монастырской полунощницы. И такъ всякій день. Весь домъ, наполненный и истинными, и лукавыми «людьми Божиими», спитъ безмятежнымъ сномъ, а какъ только раздается въ двѣнадцать часовъ первый звукъ лаврскаго палеелейнаго колокола, Несторъ съ матерью становятся на колѣна и молятся долго, тепло, со слезами молятся «о еже спастися людямъ и въ разумъ истинный внити».

Подкрѣпленная усердной молитвой, Ульяна Петровна въ три часа ночи снова укладывала Нестора въ его постельку и сама спускалась въ кухню, и съ этой ранней поры тамъ начиналось стряпанье ежедневно на сорокъ человекъ нуждающихся въ пищѣ. Съ шести часовъ утра въ домѣ Долинскихъ уже пили и ѣли, а Ульяна Петровна съ этого часа позволяла себѣ снова искать своей духовной пищи. Сходятъ они съ Несторомъ въ лавру, въ Великую церковь, или на Пещерахъ, поклонятся останкамъ древнихъ христіанскихъ подвижниковъ, найдутъ по дорогѣ кого-нибудь немощнаго или голоднаго, возьмутъ его домой, покормятъ, приютятъ и утѣшатъ. Приходить къ чаю какой-нибудь странникъ, иногда немножко изувѣръ, немножко лгунъ, немножко фанатикъ, а иногда и этакой простой, чистый и поэтически вдохновенный русскій экземпляръ, который не помнить, какъ и почему еще съ самаго ранняго дѣтства—

Имъ овладѣло безпокойство,
Охота къ перемѣнѣ мѣстъ,
Весьма мучительное свойство
И многимъ добровольный крестъ.

Идутъ здѣсь рассказы о разныхъ чудесныхъ мѣстахъ и еще болѣе чудесныхъ событіяхъ. Горы, доли, темные лѣса дремучіе, подземныя пещеры, мрачныя и широкія безпредѣльныя степи съ ковылемъ-травой, легкимъ перекасти-полемъ и Божьей птицей анстомъ «змѣнстребителемъ»; все это такъ и рисуется въ воображеніи съ рассказовъ обутаго

въ лапотки «человѣка Божія», а надо всё намъ этимъ серьезно возвышаются сухіе, строгіе контуры схимниковъ, и еще выше лучезарный ликъ св. Николай, «скорого въ бѣдахъ помощника», Георгій на бѣломъ, какъ кипѣнь, конѣ, рѣющій въ высокомъ голубомъ небѣ, и, наконецъ, выше всего этого свѣтъ, тотъ свѣтъ невечерній, размышленіе о которомъ обнимаетъ вѣрующія души блаженствомъ и трепетомъ.

Наслушавшись такихъ рѣчей, Ульяна Петровна велитъ себѣ запричь одноколочку, садится съ Несторомъ и ѣдетъ въ Китаевъ, или въ Голосеевъ. Выѣдетъ Ульяна Петровна за городъ, пахнетъ на нее съ Дѣвѣра вѣчной свѣжестью, и она вдругъ оживится, почувствовать ласкающее дыханіе свободной природы, но влѣво пробѣжить по зеленой муравкѣ сѣрый дымокъ, раздастся взрывъ саперной мины, или залпъ ружей въ лѣтнихъ баракахъ — и Ульяна Петровна вся такъ и замретъ. Не слабонервный страхъ, а какой-то ужасъ духовный охватываетъ ее при мысли о враждѣ человѣческой, о силѣ и разрушеніи. То же самое чувствовала она при разсказѣ о всякомъ преступленіи. «Богъ съ ними! Богу судить зло человѣческое, а не людямъ. Это не нами, не нашими руками создано, и не нашимъ умомъ судится», говорила она, и никогда въ цѣлую свою жизнь не высказала ни одного сужденія, никогда не хотѣла знать, если у нея что-нибудь крали.

— Никто не укралъ; зачѣмъ обижать человѣка! Взялъ кому нужно было; ну, и пошли ему Богъ на здоровье, — отвѣчала она на жалобы слугъ, доводившихъ ей о какой-нибудь пропажѣ.

Кончилось тѣмъ, что «припадавшій» домъ Долинскихъ упалъ и разорился совершенно. Игнатій Долинскій покупалъ сѣбѣлыхъ дынь-дубровокъ, легъ соснуть, всталъ часа черезъ два съ жестокою болью въ желудкѣ, а къ полуночи умеръ. Съ него распочалась въ городѣ шедшая съ сѣверо-запада холера. Ульяна Петровна схоронила мужа, не уронивъ ни одной слезы на его могилѣ, и дѣтямъ наказывала не плакать.

— Зачѣмъ, — говорила она: — его, друга нашего, смущать нашими глупыми слезами? Пусть тихъ и миренъ будетъ путь его въ селенія праведныхъ.

Точно Офелія, эта Шекспирова «божественная нимфа»

съ своею просьбою не плакать, а молиться о немъ, Ульяна Петровна совсѣмъ забыла о мирѣ. Она молилась о мужѣ сама, заставляла молиться за него и другихъ, ѣздила исповѣдывать грѣхи своей чистой души къ схимникамъ Китаевской и Голосеевской пустыни, молилась у кельи извѣстнаго провидца Пароенія, отъ которой вдалекѣ былъ виденъ весь городъ, унывшій подъ тяжелою тучею налетѣвшею на него невзгоды.

Картина была непріятная, сухая и зловѣщая: стоявшая въ воздухѣ сѣрая мгла задергивала все небо чернымъ, траурнымъ крепомъ; солнце висѣло на западѣ безъ блеска, какъ ломоть печеной рѣпы съ пригорѣлыми краями и тускло мѣдной серединой; съ пожелтѣвшихъ заднѣпровскихъ луговъ не прилетало ни одной ароматной струи свѣжаго воздуха, и вмѣсто запаха чебреца, меруники, богородицкой травки и горчавки, оттуда доносился тяжелый пропаленный запахъ, какъ будто тамъ гдѣ-то тлѣло и дымилось несмѣтное количество слегаго сѣна.

— Будетъ молиться, Ульянушка; пора тебѣ собираться въ путь, — сказали Ульянѣ Петровнѣ заставшій ее на вечерней молитвѣ старецъ.

Ульяна Петровна растолковала себѣ эти слова по-своему. Она посмотрѣла въ угасшія очи отшельника, поклонилась ему до земли, вернулась домой, отговѣлась въ лаврѣ, причастилась въ пещерѣ св. Антонія, потомъ соборовалась и черезъ день скончалась. Съ нею и прекратилась въ городѣ холера.

Дѣти Долинскихъ остались одни, съ однимъ деревяннымъ домомъ, обремененнымъ тяжелыми долгами. Аристархъ, шестнадцати лѣтъ, пошелъ служить къ купцу; сестру Леонадію взяла тетка и увезла куда-то къ Ливнамъ, а Нестора, имѣвшаго четырнадцать лѣтъ, призрѣлъ дядя, бѣдный братъ Ульяны Петровны, добившійся каѳедры въ московскомъ университетѣ. Братъ Ульяны Петровны былъ человѣкъ и добрый, и ученый, но слабый характеромъ, а жена его была недобрая женщина, пустая и тщеславная. Въ этомъ домѣ Несторъ Долинскій только началъ учиться. Двадцати одного года онъ окончилъ курсъ гимназіи, двадцати пяти вышелъ первымъ кандидатомъ изъ университета и тотчасъ поступилъ старшимъ учителемъ въ одну изъ московскихъ гимназій, а двадцати семи женился самымъ неудачнымъ образомъ.

Несторъ Игнатьевичъ Долинскій во многихъ своихъ сто-

ронахъ вышелъ очень страннымъ человѣкомъ. Никто не сомнѣвался, что онъ человѣкъ очень умный, чувствительный, но никто бы не умѣлъ продолжать его характеристику далѣе этихъ общихъ опредѣленій.

— Мой Сторя будетъ истинный инокъ Божій, — говорила часто его мать, поглаживая сына по головкѣ, обрекаемой подъ черный клобукъ.

Можетъ-быть, покойная Ульяна Петровна и не ошиблась. Можетъ-быть, ея кроткій красавецъ-сынъ и точно болѣе всего обладалъ качествами, нужными для сосредоточенной, самосозерцательной и молитвенной жизни, которую нашъ народъ считаетъ приличною истинному иночеству. Онъ, вѣроятно, могъ быть хорошимъ проповѣдникомъ, утѣшителемъ и наставникомъ страждущаго человѣчества, которому онъ съ ранняго дѣтства привыкъ служить подъ руководствомъ своей матери и которое оставалось ему навсегда близкимъ и понятнымъ; къ людскимъ неправдамъ и порокамъ онъ былъ снисходителенъ не менѣе своей матери, но страстная религіозность его дѣтскихъ лѣтъ скоро прошла въ домѣ дяди. Онъ былъ, что у насъ называется, «человѣкъ разноплетеный». Нарушаемый извнѣ міръ своего внутренняго и онъ не умѣлъ врачевать молитвой, какъ его мать, но онъ и самъ ничего не отстаивалъ, ни за что не бился крѣпко. Онъ никогда не жаловался ни на что ни себѣ, ни людямъ, а, огорченный чѣмъ-нибудь, только уходилъ къ общей нашей матери-природѣ, которая всегда умѣетъ въ мѣру успокоить оскорбленное эстетическое чувство, или возстановить разрушенный міръ съ самимъ собою. Жизнь въ одномъ домѣ съ придирчивой, мелочной и сварливой женой дяди заставляла его часто лѣчить свою душу, возмущавшуюся противъ несправедливыхъ и не деликатныхъ поступковъ ея въ отношеніи мужа.

Въ какой мѣрѣ это портило характеръ Нестора Игнатьевича, или способствовало лучшей выработкѣ однихъ его сторонъ насчетъ угнетенія другихъ — судить было невозможно, потому что Долинскій почти не жилъ съ людьми; но онъ самъ часто вздыхалъ и ужасался, считая себя человѣкомъ совершенно неспособнымъ къ самостоятельной жизни. Сильно поразившая его, послѣ чистаго права матери, вздорная мелочность дядиной жены, развила въ немъ тоже своего рода мелочную придирчивость ко всякой людской мелочи,

откуда пошла постоянно сдерживаемая раздражительность, глубокая скорбь о людской порочности въ постоянной борьбѣ съ снисходительностью и любовью къ человечеству и, наконецъ, болѣзненный разладъ съ самимъ собою, во всемъ мучительная нерѣшимость — безволие. Это послѣднее свойство своего характера Долинскій очень хорошо сознавалъ, и оно-то приводило его въ совершенное отчаяніе. Во что бы то ни стало, онъ хотѣлъ быть сильнымъ господиномъ своихъ поступковъ и самымъ безжалостнымъ образомъ заставлялъ свое сердце приносить самыя тяжелыя жертвы не разуму, а именно рѣшимости выработать въ себѣ волю и рѣшимость. Эти экспериментальныя упражненія надъ собою до такой степени забили Нестора Долинскаго, что, классифицируя свое желаніе, онъ уже затруднялся разбирать, хочетъ ли онъ чего-нибудь потому, что этого ему хочется, или потому, что онъ долженъ этого хотѣть. Это его страшно пугало. Два-три страшныхъ случая, въ которыхъ онъ, преслѣдуя свою задачу, въ одно и то же время поступалъ наперекоръ и своей волѣ, и своимъ желаніямъ, повергали его въ глубокую апатію—у него развивалась мизантропія.

Въ это время изъ самаго хлѣбороднаго уѣзда хлѣбороднѣйшей губерніи, въ разлатомъ цыновочномъ возкѣ, приплыло въ Москву почтенное семейство мелкопомѣстныхъ дворянъ Азовцовыхъ. Новопривышная фамилія состояла изъ матери, толстомясой барыни съ сѣдыми волосами, румянымъ лицомъ, черными корнетскими усами и живыми черными же барсучьими глазами, напоминающими, впрочемъ, болѣе глаза свареннаго рака. Потомъ здѣсь были двѣ дѣвушки, дочери, Юлія и Викторина. Викторинѣ всего шель пятнадцатый годъ, и о ней не стоить распространяться. Довольно сказать, что это было довольно милое и сердечное дитя, изъ котораго, при благоприятныхъ обстоятельствахъ, могла выйти весьма милая женщина. Старшей ея сестрѣ Юліи было полныхъ девятнадцать лѣтъ. Это была небольшая черненькая фигурка, некрасивая, неизящная, несимпатичная, такъ себѣ, какъ въ сказкѣ сказывается, «дѣвка-чернявка», или, какъ народъ говоритъ, «птица-пиголица». Нравъ у этой чернявки былъ самый гнусный: хитра, предательски ехидна, самолюбива, жадна, мстительна, требовательна и жестоко-серда. Притомъ cadaго изъ этихъ почтенныхъ свойствъ въ ней находилось по самой крупной дозѣ.

При столь почтенныхъ свойствахъ характера, «дѣвица-чернявка» была довольна неглупа. Её нельзя было пазвать особенной умницей, но она несомѣнно владѣла всѣми тѣми способностями ума, которыя нужны для того, чтобы хитрить, чтобы расчищать себѣ въ жизни дорожку и сдвигать съ нея другихъ самымъ тихимъ и незамѣтнымъ манеромъ. Справедливость требуетъ сказать, что у чернявки когда-то, хоть очень давно, хоть еще въ раннемъ дѣтствѣ, въ натурѣ было что-то доброе. Такъ она, напримѣръ, не могла видѣть, какъ быють лошадь или собаку, и способна была заплакать при извѣстїи, что застрѣлился какой-нибудь молодой человѣкъ, особенно если молодому человѣку благоразумно вздумалось застрѣлиться отъ любви, но... но сама любить кого-нибудь кромѣ себя и денегъ... этого Юлія Азовцова не могла, не умѣла и не желала. У нея бывали и друзья, которые не могли имѣть при ней никакого значенія. Одинъ такой ея другъ, нѣкая бѣдная купеческая дѣвушка Устинька, цѣлые годы служила Юліи Азовцовой для сбрасыванія на нее всякаго сору и гадостей, и, благодаря ей, невинно утратила репутацію, столь важную въ узенькомъ кружкѣ бѣднаго городнишка.

Обстоятельства, при которыхъ протекло дѣтство, отрочество и юность Юліи Азовцовой, были таковы, что рассматриваемая нами особь, подходя къ данной порѣ своей жизни, не могла выйти ничѣмъ инымъ, какъ тѣмъ, чѣмъ она нынѣ рекомендуется снисходительному читателю. Она съ самаго ранняго дѣтства была полицею и кормилицею цѣлой семьи, въ которой, кромѣ матери и сестры, были еще грызуны въ видѣ разбитаго параличомъ и жизнью отца и двухъ младшихъ братьевъ. Состояніе Азовцовыхъ заключалось въ небольшомъ наслѣдственномъ хуторѣ, въ которомъ, по мѣстному выраженію, было «два двора-гончара, а третій — тетеречникъ». Объ отцѣ Юліи Азовцовой съ гораздо большею основательностью, чѣмъ о мужѣ слесарши Пошлепкиной, можно было сказать, что онъ рѣшительно «никуда не годился». Мать ея, у которой, какъ выше замѣчено, были черные рачьи глаза навывкатъ и щегольскіе корнетскіе усики, называлась въ своемъ уѣздѣ «матроской». Она довольно побилась съ своимъ мужемъ, опредѣляя и перемѣщая его съ мѣста на мѣсто, и, наконецъ, произведи на свѣтъ Викториночку, бросила супруга въ его хуторномъ

тетеречникъ и перевезла весь свой приплодъ въ ближайшій губерскій городъ, гдѣ въ то святое и приснопамятное время содержалъ винный откупъ человекъ, извѣстный нѣкогда своимъ богатствомъ, а нынѣ — позоромъ и безславіемъ своихъ дѣтей. Бабушка этого богача съ бабушкою «матроски», какъ говорятъ, на одномъ солнышкѣ чулочки сушили, и въ силу этого сближающаго обстоятельства «матроска» считала богача своимъ диденкой. Радостно срѣтая нѣкогда его коммерческое восхождение, она упросила его быть воспріимнымъ отцомъ Юлиньки. Коммерческая двойка, влѣзавшая въ то время въ онѣрную фигуру, была честолюбива, какъ всѣ подобныя двойки, но еще не заѣлась поклоненіями, была, такъ сказать, довольно ручна и великодушно снизошла на матроскину просьбу. Въ фигурѣ вала эта добродѣтельная карта сдѣлалась матроскинымъ дядей и кумомъ, а когда три ограбленные валеюмъ губерніи произвели его въ тузы, матроска, безъ всякихъ средствъ въ жизни, явилась въ его резиденцію. Главнымъ и единственнымъ ея средствомъ въ это время была «Юлочка», и Юлочка, цѣною собственнаго глубокаго нравственнаго развращенія, вывезла на своихъ дѣтскихъ плечахъ и мать, и отца, и сестру, и братьевъ. Маленькою, пятилѣтнею дѣвочкой, всю въ завиточкахъ, въ коротенькомъ платьицѣ и обшитыхъ кружевцами панталончикахъ, матроска отвезла ее въ вертепъ откупного туза и научила, какъ она должна плакать, какъ притворяться слабой, какъ ласкаться къ тузу, какъ лѣстить его тузихѣ, какъ уступать во всемъ тузенятамъ. Выпущенная къ рампѣ, Юлочка съ перваго же раза обнаружила огромныя дипломатическія и сценическія дарованія. Она лгала, какъ историкъ, и вернулась домой съ тысячью рублей. Съ этихъ поръ Юлочка была запродана ненасытному мамону и вѣрно поработала ему до седьмого пота. Начавшееся съ этихъ поръ христорадничанье и нищebroдство Юлочки не прекращалось до того самаго дня, въ который мы встрѣчаемъ ее влѣзкою въ разлатомъ возкѣ съ сестрою, матерью и младшимъ братомъ Петрушей въ Москву. Много дѣвка-чернявка натерпѣлась обидъ и горя въ своей нищebroдной жизни! Обижала ее и сухая, жесткая тузиха, и надменные тузенята, и лакеи, и большая меделянская собака Выдра, имѣвшая привычку поднимать лапу на каждого, кто боялся прогнать ее предъ очами са-

мого туза. Юлочка глотала слезы, глядя на свое свѣженное платице, безпощадно спорченное Выдрою, но все сносила терпѣливо. Благодѣтель замѣчалъ это и дарилъ Юлочкѣ за одно испорченное платице пять новыхъ, но зато тузиха и тузенята называли ее *тумбочкой* и вообще дѣлали предметомъ самыхъ злобныхъ насмѣшекъ. Юлочка все это слагала въ своемъ сердцѣ, ненавидѣла надменныхъ богачей и кланялась имъ, унижалась, лизала ихъ руки, лгала матери, стала низкою, гадкою лгуньей; но очень долго никто не замѣчалъ этого, и даже сама мать, которая учила Юлочку лгать и притворяться, кажется, не знала, что она изъ нея дѣлаетъ; и она только похваливала ея умъ и расторопность. Духовнаго согласія у матери съ дочерью, впрочемъ, вовсе не было. Оба эти паразиты составляли плотный союзъ только тогда, когда дѣло шло о томъ, чтобы тѣмъ или инымъ ловкимъ фортелемъ вымозжить что-нибудь у своихъ благодѣтелей. Въ остальное же время они нерѣдко были даже открытыми врагами другъ другу: Юла мстила матери за свои униженія—та ей не вѣрила, видя, что дочь начала далеко превосходить ее въ искусствѣ лгать и притворяться. Вообще довольно смѣлая и довольно наглая, матроска была, однако, недостаточно дальновидна и очень изумилась, замѣчая, что дочь не только пошла далѣе ея, не только употребляетъ противъ нея ея же собственное оружіе, но даже самою ея, матроску, дѣлаетъ своимъ оружіемъ. Вдругъ туза стукнуль капдрашка; все неожиданно перекутилось, съѣхавшіеся изъ Москвы и Питера сыновья и дочери откупщика смотрѣли насмѣшливо на неутѣнныя слезы матроски съ Юлою и отдѣлили имъ изъ всего отцовскаго наслѣдства остальныя визитныя карточки покойнаго, да еще что-то въ родѣ трехъ стаметовыхъ юбокъ. Видя, что съ визитными карточками да тремя стаметовыми юбками на этомъ бѣломъ свѣтѣ не много можно подѣлать, матроска, по совѣту Юлочки, снарядила возокъ и дернула въ Вѣлокаменную, гдѣ прочною осѣдлостью жили трое изъ дѣтей покойнаго благодѣтеля. Ъхали наши паразиты съ тѣмъ, чтобы такъ-не-такъ, а ужъ какъ-нибудь что-нибудь да вымозжить у наслѣдниковъ, или, по крайней мѣрѣ, добиться, чтобы они построили Викториночку и Петрушу.

— Я скажу имъ: помилуйте, вашъ отецъ — мой дядя, вотъ его крестница; вамъ будетъ стыдно, если ваша тетка

съ просительнымъ письмомъ по нумерамъ пойдетъ. Должны дать; не могутъ не дать, каналы! — рассказывала она, собираясь идти къ тузовымъ дѣтямъ.

Юлочка молчала. Она вѣрила, что мать можетъ что-нибудь вымозжить, но ей-то, Юлочкѣ, въ этомъ было очень не много радости. Ей нужно было что-то совсѣмъ другое, болѣе прочное и самостоятельное. Она любила богатство и въ глаза величала тѣхъ богачей, отъ которыхъ можно было чѣмъ-нибудь пощетиться; но въ душѣ она не терпѣла всѣхъ, кто родомъ, племенемъ, личными достоинствами и особенно состояніемъ былъ поставленъ выше и виднѣе ея, а выше и виднѣе ея были почти всѣ. Юлочка понимала, что ей нуженъ прежде всего мужъ. Она знала, что въ своихъ мѣстахъ, на ней, «попрошайкѣ», нищей, не женится никто, ибо такого героизма она не подозрѣвала въ своихъ мѣстныхъ кандидатахъ на званіе мужей, да ей и ненужны были герои, точно такъ же, какъ ей не годились люди очень мелкіе. Ей нуженъ былъ человѣкъ, которымъ можно было бы управлять, но котораго все-таки и не стыдно было бы назвать своимъ мужемъ; чтобы онъ для всѣхъ казался человѣкомъ, но чтобы въ то же время его можно было сдѣлать слѣпымъ и безотвѣтнымъ орудіемъ своей воли.

Такимъ человѣкомъ ей показался Несторъ Игнатьевичъ Долинскій, и она перевѣчала его съ собою.

Происшествіе это случилось съ Долинскимъ въ силу все той же его доброты и извѣстной, несчастной черты его характера.

Дѣла Азовцовыхъ устроились. Петрушу благодѣтели опредѣлили въ пансіонъ; на воспитаніе Викторинушки они же ассигновали по триста рублей въ годъ, и на житье самой матроски съ крестницей покойника назначили по шестисотъ. Азовцовы, заручившись такой благодатью, однако не поѣхали назадъ, а рѣшились оставаться въ Москвѣ. Онѣ знали, что «благодѣтели» отъ природы народъ разсѣянный, вѣтренный, забывчивый и требующій понужденія. Юлія Азовцова растолковала матери, что Викторинушка ужъ велика, чтобы ее отдавать въ пансіонъ; что можно найти просто какого-нибудь недорогого учителя далеко дешевле чѣмъ за триста рублей и учить ее дома.

— Такимъ образомъ, — говорила она: — вы сдѣлаете эко-

номію, и благодѣтели наши будутъ покойны, что деньги употребляются на то самое, на что онѣ даны.

При этихъ соображеніяхъ вспомнили о братѣ Леонадѣ Долинской, съ которой Юлія была знакома по губернской жизни. Нестора Игнатьевича отыскали; наговорили ему много милаго о сестрѣ, которая только съ полгода вышла замужъ; рассказали ему свое горе съ Викторинушкой, которая такъ запоздала своимъ образованіемъ, и просили посоветовать имъ хорошаго наставника. Вѣчно готовый на всякую услугу, Долинскій тотчасъ же предложилъ въ безвозмездные наставники Викторинѣ самого себя. Матроска, было, начала жеманиться, но Юлія быстро встала, подошла къ Долинскому, съ одушевленіемъ сжала въ своихъ рукахъ его руку и съ глазами, полными слезъ, торопливо вышла изъ комнаты. Она казалась очень растроганною. Матроску это даже чуть было не сбilo съ такту.

— Такъ, моя милѣйшая, нельзя-съ держать себя,—говорила она, проводивъ Долинскаго, Юлочкѣ.—Здѣсь не губернія, и особенно съ этимъ человѣкомъ... Мы знакомы съ его сестрой, такъ должны держать себя съ нимъ совсѣмъ на другой ногѣ.

— Не безпокойтесь, пожалуйста, знаю я, на какой ногѣ себя съ кѣмъ держать,—отвѣчала Юлія.

Долинскій началъ заниматься съ Викторинушкой и понемногу становился близкимъ въ семействѣ Азовцовыхъ. Юлія находила его очень удобнымъ для своихъ плановъ и всячески старалась разгадать, какъ слѣдуетъ за него братья вѣрнѣ.

— Кажется, на поэзію прихрамливаетъ! — заподозрѣла она его довольно скоро, разумѣя подъ словомъ *поэзія* именно то самое, что разумѣютъ подъ этимъ словомъ практическіе люди, признающіе только то, во что можно пальцемъ ткнуть. Заподозрѣла Юлія этотъ порокъ за Долинскимъ и стала за нимъ приглядывать. Сидитъ Долинскій у Азовцовыхъ, молча, передъ топящеюся печкою, Юла тихо взойдетъ неслышными шагами, тихо сидеть и сидитъ молча, не давая ему даже чувствовать своего присутствія. Долинскій встанетъ и извиняется. Это повторилось два-три раза.

— Пожалуйста, не извиняйтесь; я очень люблю сидѣть вдвоемъ и молча.

Долинскій конфузился. Онъ вообще былъ очень застѣнчивъ съ женщинами и робѣлъ предъ ними.

— Этакъ я не одна, и между тѣмъ никому не мѣшаю,— мечтательно досказала Юля.— Вы знаете, я ничего такъ не боюсь въ жизни, какъ быть кому-нибудь помѣхою.

— Этого, однако, я думаю, очень не трудно достигнуть,— отвѣчала Долинскій.

— Да, не трудно, какъ вы говорите, но и не всегда: часто поневолѣ долженъ во что-нибудь вмѣшиваться и чему-нибудь мѣшать.

— Вы, пожалуйста, не подумайте, что эти слова имѣютъ какой-нибудь особый смыслъ! Я, право, такъ глупо это сказала.

Юлочка улыбнулась.

— Нѣтъ, я... ничего не думаю,— отвѣчалъ Долинскій.

— То-то, ужъ хоть бы намъ не мѣшали, а то гдѣ намъ, грѣшнымъ! — замѣчала съ тою же снисходительною улыбкой Юлія.

Въ такихъ невинныхъ бесѣдахъ Юлія тихо и незамѣтно шла къ сближенію съ Долинскимъ, заявляясь ему особенно со стороны смиренства и благопокорности. Долинскій, кромѣ матери и тетки, да сестры, не зналъ женщинъ. Юлочка была первая сторонняя женщина, обратившая на него свое вниманіе. Юліи и это обстоятельство было извѣстно, и его она тоже приняла къ свѣдѣнію и надлежащему соображенію. Тонкостей особенныхъ, значить, было не надо и онѣ могли оказать болѣе вреда, чѣмъ пользы. Нуженъ былъ одинъ ловкій подводъ, а затѣмъ смѣлыя варіаціи поэффе́кты́е, и дѣло должно удался.

Не прошло двухъ мѣсяцевъ со дня ихъ перваго знакомства, какъ Долинскій сталъ находить удовольствіе сидѣть и молчать вдвоемъ съ Юліей; еще долѣе они стали незамѣтно высказывать другъ другу свои молчаливыя размышленія и находить въ нихъ стройную гармонію. Долинскій, напримѣръ, вспоминалъ о своей благословенной Украинѣ, о старомъ Днѣпрѣ, о наклонившихся крестахъ Аскольдовой могилы, о набережной часовнѣ Выдубецкаго монастыря и музыкальномъ гулѣ лаврскихъ колоколовъ. Юлочка тоже и себя начинала упражнять въ поэзіи: она вздумала о киевскихъ берегахъ своей мелкопомѣстной Тускари и гнилоберегой Неручи, о раки́ткахъ, подъ которыми въ полдневный жаръ отдыхаютъ идущіе въ отпускъ отечественные воины; о кукушкѣ, кукующей въ губернаторскомъ саду, и

бѣломъ купидонѣ, плачущемъ на могилѣ откупщика Сыро-
нятова, и о прочихъ симъ подобныхъ поэтическихъ преле-
стяхъ. Если истинная любовь къ природѣ рисовала въ душѣ
Долинскаго впечатлѣнія болѣе глубокия, если его поэтиче-
ская тоска о незабвенной украинской природѣ была на-
столько сильнѣе дѣланной тоски Юліи, насколько грандіоз-
ныя и поражающія своимъ величіемъ картины его края
сильнѣе тѣхъ дѣланыхъ, неизмѣнныхъ, черноземно-вязкихъ
картинъ, по которымъ проводила молочныя воды въ кисель-
ныхъ берегахъ подшпоренная фантазія его собесѣдницы,
то зато въ этихъ кисельныхъ берегахъ было такъ много
тонкихъ мѣстъ, что Долинскій не замѣчалъ, какъ ловко тус-
карскіе пауки затягивали его со стороны великодушія, со-
страданія и ихъ непонятныхъ высокихъ стремленій. Юлочка
зорко слѣдила за своею жертвою и, наконецъ, послѣ одной
бесѣды о любви и о Тускари, рѣшила, что ей пора и на-
приступъ. Вскорѣ послѣ такого рѣшенія, въ одинъ несчаст-
ливѣйшій для Долинскаго вечеръ, онъ засталъ Юлію въ са-
мыхъ неутѣшныхъ, горькихъ слезахъ. Какъ онъ ее ни раз-
спрашивалъ съ самымъ теплѣйшимъ участіемъ—она ни за
что не хотѣла сказать ему этихъ горькихъ слезъ. Такъ это
дѣло и прошло, и кануло, и забылось, а черезъ мѣсяцъ въ
домѣ Азовцовыхъ появилась пожилая благородная дѣвушка
Аксинья Тимоѣевна, и тутъ вдругъ, съ рѣчей этой зло-
получной Аксиньи Тимоѣевны оказалось, что Юлія давно
благодѣтельствовала этой дѣвушкѣ втайнѣ отъ матери, и
что горькія слезы, которыя мѣсяцъ тому назадъ у нея за-
мѣтилъ Долинскій, были пролиты ею, Юліею, отъ оскорбле-
ній, сдѣланныхъ матерью за то, что она, Юлія, движима
чувствомъ состраданія, чтобы выручить эту самую Аксинью
Тимоѣевну, отдала ей заложить свой единственный мѣхо-
вой салонъ, справленный ей благодѣтелями. Выстрѣлъ по-
палъ въ цѣль. Съ этихъ поръ Долинскій сталъ серьезно
задумываться о Юлочкѣ и измышлять различныя средства,
какъ бы ему вырвать столь достойную дѣвушку изъ столь
тяжелого положенія.

Выпущенная по красному звѣрю Аксинья Тимоѣевна
шла верхнимъ чутьемъ и работала какъ нельзя лучше; за-
ложенная шуба тоже служила Юліи не хуже, какъ Кречин-
скому его бычокъ, и тепло прогрѣвала безхитрое сердце
Долинскаго. Юлія Азовцова, обозрѣвъ поле сраженія и со-

образивъ силу своей тактики и орудій съ шаткою позиціей атакованнаго непріятеля, совершенно успокоилась. Теперь она не сомнѣвалась, что, какъ по нотамъ, разыграетъ всю свою хитро-скомпанованную пьесу.

«Нашла дурака», — думала матроска и молчала, выжидая, что изъ всего этого отродится.

— Этотъ агнецъ кроткій въ стадѣ козлемъ, — шептала Долинскому Акинья Тимофеевна, указывая при всякомъ удобномъ случаѣ на печальную Юлію.

— И нѣтъ достойной души, которая исторгла бы этого ангела, — говорила она въ другой разъ. — Подлые все нынче люди стали, интересаны.

Пятаго декабря (многими замѣчено, что это — день особенныхъ несчастій) вечеромъ Долинскій завернулъ къ Азовцовымъ. Матроски и Викторинушки не было дома, онѣ пошли ко всенощной, одна Юлія ходила по залѣ, прихотливо освѣщенной краснымъ огнемъ разгорѣвшихся въ печи дровъ.

— Что вы это... хандрите, кажется? — спросилъ ее, садясь противъ печки, Долинскій.

— Нѣтъ, Несторъ Игнатьевичъ... некогда мнѣ хандрить; у меня настоящаго горя...

Юлочка прервала рѣчь проглоченною слезою.

— Что съ вами такое? — спросилъ Долинскій.

Юлія сѣла на диванъ и закрыла платкомъ лицо. Плечи и грудь ея подергивались, и было слышно, какъ она силится удержать рыданія.

— Да что съ вами? что у васъ за горе такое? — доби-
вался Долинскій.

Раздались рыданія менѣе сдержанныя.

— Не подать ли вамъ воды?

— Д... д... да... й... те, — судорожно захлебываясь, произнесла Юлочка.

Долинскій пошелъ въ другую комнату и вернулся съ свѣчою и стаканомъ воды.

— Погасите, пожалуйста, свѣчу, не могу смотрѣть, — простонала Юлія, не отнимая платка.

Долинскій дунулъ, и картина осталась опять при одномъ красномъ, фантастическомъ полусвѣтѣ.

— А, а, ах! — вырвалось изъ груди Юліи, когда она отпила полстакана и откинулась съ закрытыми глазами на спинку дивана.

— Вы успокойтесь,—проронилъ Долинскій.

— Могила меня одна успокоить, Несторъ Игнатьичъ.

— Зачѣмъ все представлять себѣ въ такомъ печальномъ свѣтѣ?

Юлія плакала тихо.

— Полжизни, кажется, дала бы, — говорила она тихо и не сдвѣгая: — чтобъ только хоть годъ одинъ, хоть полгода... чтобъ только уйти отсюда, хоть въ омутъ какой-нибудь.

— Ну, что же, подождите, мы поищемъ вамъ мѣста. О чемъ же такъ плакать?

— Никуда меня, Несторъ Игнатьичъ, не пустятъ: нечего объ этомъ говорить, — произнесла, сдѣлавъ горькую гримасу, Юлія и, хлебнувъ глотокъ воды, опять откинулась на спинку дивана.

— Отчего же не пустятъ?

Юлія истерически засмѣялась и опять поспѣшно проглотила воды.

— Отъ любви... отъ нѣжной любви... къ... къ... арендной статѣ, — произнесла она, прерывая свои слова порывами къ истерическому смѣху, и, выговоривъ послѣднее слово, захохотала.

Долинскій сорвался съ мѣста и бросился къ дверямъ въ столовую.

— Ос... остань... останьтесь! — торопливо процѣдила заикаясь Юлія.

— Это такъ... нич... ничего. Позвольте мнѣ еще воды.

Долинскій принесъ изъ столовой другой стаканъ; Юлія выпила его залпомъ и приняла свое положеніе.

Минутъ десять длилась пауза. Долинскій тихо ходилъ по комнатѣ, Юлія лежала.

— Боже мой! Боже мой! — шептала она... — хоть бы...

— Чего вамъ такъ хочется? — спросилъ, остановившись передъ ней, Долинскій.

— Хотъ бы будочникъ какой женился на мнѣ, — докончила Юлія.

— Какія вы нынче странности, Юлія Петровна, говорите!

— Чтѣ жъ тутъ, Несторъ Игнатьичъ, страннаго? Я очень хорошо знаю, что на мнѣ ни одинъ порядочный человѣкъ не можетъ жениться, а другого выхода мнѣ нѣтъ... рѣшительно нѣтъ! — отвѣчала Юлія съ сильнымъ напряженіемъ въ голосѣ.

— Отчего же нѣтъ? и отчего, наконецъ, порядочный человѣкъ на васъ не женится?

— Отчего? Гм! Оттого, Несторъ Игнатьичъ, что я нищая. Мало нищая, я побирашка, христорадница, *лунья*; понимаете—*лунья*, презрѣнная, гадкая *лунья*. Вы знаете, изъ чѣмъ прошла моя жизнь?—въ лганіѣ, въ нищѣбродствѣ, въ вымаливаньи. Вы не сумѣете такъ поцѣловать своей невѣсты, какъ я могу перецѣловать руки всѣхъ откупщиковъ... пусть только дають хоть по... пяти цѣлковыхъ.

— О, Господи! что это вы на себя за небылицы взводите,—говорилъ, сильно смущаясь, Долинскій.

— Что это васъ такъ удивляетъ! *Это мой честный трудъ*; меня этому только учили; меня этому теперь учать. Вѣдь я же дочь! *Жизнью обязана*; помилуйте!

Вышла опять пауза. Долинскій молча ходилъ, что-то соображая и обдумывая.

— Теперь пилить меня замужествомъ!—начала какъ бы сама съ собою полушопотомъ Юлія. — Ну, скажите, ну, за кого я пойду? Ну, я пойду! ну, давайте этого дурака! пусть хоть сейчасъ женится.

— Опять!

— Да что-жъ такое! я говорю правду.

— Хорошій и умный человѣкъ,—начала Юлочка:—когда узнаешь насъ, за сто верстъ обѣжить. Вѣдь мы *ложь*, мы, Несторъ Игнатьичъ, самая воплощенная ложь! — говорила она, трепеща и приподнимаясь съ дивана. — Вѣдь у насъ въ домѣ все лжетъ, на каждомъ шагу лжетъ. Мать моя лжетъ, я лгу, Викторина лжетъ, все лжетъ... мебель лжетъ. Вонъ, видите это кресло, вѣдь оно также лжетъ, Несторъ Игнатьичъ! Вы, можетъ-быть, думаете, шелки или бархаты тамъ какіе закрыты этимъ чехломъ, а выйдетъ, что дерюга. О, Боже мой, да я рѣшительно не знаю, право... Я даже удивляюсь, неужто мы вамъ еще не гадки?

Долинскій постоялъ съ секунду и, ничего не отвѣтивъ, снова заходилъ по комнатамъ. Юлинка встала, вышла и черезъ нѣсколько минутъ возвратилась съ свѣчою и книгою.

— Темно совсѣмъ; я думаю, скоро должны придти ото всенощной, — проговорила она и стала листовать книжку, съ очевиднымъ желаніемъ скрыть отъ матери и сестры свою горячую сцену и придать картинѣ самый спокойный характеръ.

Она перевернула нѣсколько листковъ и съ болѣзненнымъ усиліемъ даже разсмѣялась.

— Послушайте, Несторъ Игнатьичъ, вѣдь это забавно—

Вообрази, я здѣсь одна,
Меня никто не понимаетъ;
Разсудокъ мой изнемогаетъ.
И молча гибнуть я должна.

— Нѣтъ, это не забавно, — отвѣчалъ Долинскій, остановившись передъ Юлинькой.

— Вамъ жаль меня?

— Мнѣ прискорбна ваша доля.

— Дайте же мнѣ вашу руку, — попросила Юлинька, и на глазахъ ея замигали настоящія, искреннія, художественныя слезы.

Долинскій подаль свою руку.

— И мнѣ жаль васъ, Несторъ Игнатьичъ. — Человѣку съ вашимъ сердцемъ плохо жить на этомъ гадкомъ свѣтѣ.

Юлочка быстро выпустила его руку и тихо заплакала.

— Я и не желаю жить очень хорошо.

— Да, вы святой человѣкъ! Я никогда не забуду, сколько вы мнѣ сдѣлали добра.

— Ничего ровно.

— Не говорите мнѣ этого, Несторъ Игнатьичъ. Зачѣмъ это говорить! Узнавши васъ, я только и поняла все... все хорошее и дурное, свѣтъ и тѣни, вашу чистоту, и... все собственное ничтожество...

— Полноте, Бога-ради!

— И полюбила васъ... не какъ друга, не какъ брата, а... (Долинскій совершенно смутился). Юлинька быстро схватила его снова за руку, еще сильнѣе сжала ее въ своихъ рукахъ и съ слезами въ голосъ договорила: — а какъ моего нравственного спасителя, и теперь еще, можетъ быть въ послѣдній разъ, ищу у васъ, Несторъ Игнатьичъ, спасенія.

Юлинька встала, близко придвинулась къ Долинскому и сказала:

— Несторъ Игнатьичъ, спасите меня!

— Что вы хотите сказать этимъ? что я могу для васъ сдѣлать?

— Несторъ Игнатьичъ!.. Но вы вѣдь не разсердитесь, какая бы ни была моя пресѣба?

Долинскій сдѣлалъ головою знакъ согласія.

— Мы можемъ платить за уроки Викторины; вы не вѣрьте, что мы такъ бѣдны... а вы... не ходите къ намъ; оставьте насъ. Я васъ униженно, усердно прошу объ этомъ.

— Извольте, извольте, но зачѣмъ это нужно и какой предлогъ я придумаю?

— Какой хотите.

— И для чего?

— Для моего спасенія, для моего *счастія*. Для моего *счастія*,—повторила она и засмѣялась сквозь слезы.

— Не понимаю!—произнесъ, пожавъ плечами, Долинскій.

— И не нужно,—сказала Юлія.

— Я васъ стѣсняю?

— Да, Несторъ Игнатьичъ, вы создаете мнѣ новыя мѣки. Ваше присутствіе увеличиваетъ мою борьбу—ту борьбу, которой не должно быть вовсе. Я должна идти, какъ ведетъ меня моя судьба, не раздумывая и не оглядываясь.

— Чтѣ это за загадки у васъ сегодня?

— Загадки! Отъ нищенки благодѣтели долгъ требуютъ.

— Ну-съ!

— Я вѣдь вотъ говорила, что я привыкла цѣловать откупничьи руки... ну, а теперь одинъ благодѣтель хочетъ приучить меня цѣловать его самого. Кажется, очень просто и естественно... Подросла.

— Ужасно!.. Это ужасно!

— Несторъ Игнатьичъ, мы нищѣ.

— Ну, надо работать... лучше отказать себѣ во всемъ.

— Вы забываете, Несторъ Игнатьичъ, что мы *ничего* не умѣемъ дѣлать и *ни въ чемъ* не желаемъ себѣ отказывать.

— Но ваша мать, наконецъ!

— Мать! Моя мать твердитъ, что я *обязана ей жизнью* и должна заплатить ей за то, что она выучила меня побираться и... да, наконецъ, вѣдь она же не слѣпа, въ самомъ дѣлѣ, Несторъ Игнатьичъ! вѣдь она жъ видитъ, въ какія меня ставятъ положенія.

Долинскій заходилъ по комнатѣ и вдругъ, круто повернувшись къ Юлинькѣ, произнесъ твердо:

— Вы бы хотѣли быть моею женою?

— Я? — какъ бы не понявъ и оторопѣвъ переспросила Юлинька.

— Ну, да; я васъ откровенно спрашиваю: лучше было бы вамъ, если бы вы теперь были моею женою?

— Вашей женой! твоей женой! Это *ты* говоришь *мнѣ*! Ты — мое божество, мой гений хранитель! Не смѣйся, не смѣйся надо мною!

— Я не смѣюсь,—отвѣчалъ ей Долинскій.

Юлинька взвизгнула, упала на его грудь, обняла его за шею и тихо зарыдала.

— Тсс, господа! господа!—заговорилъ за спиною Долинскаго подхалимственный голосъ Аксиньи Тимофеевны, которая, какъ выпускная кукла по пружинкѣ, вышла какъ разъ на эту сцену въ залу.—Ставни не затворены,—продолжала она въ мягко-наставительномъ тонѣ:—подъ окнами еще народъ слоняется, а вы этакъ... Нехорошо такъ неосторожно дѣлать, — прошептала она какъ цѣлзи снисходительнѣе и опять исчезла.

Несмотря на то, что дипломатическая Юлочка, разыгравая въ первый разъ и безъ репетиции новую сцену, чуть не испортила свою роль перебавленнымъ театральнымъ эффектомъ, Долинскій былъ совершенно обманутъ. Сконфуженный неожиданнымъ страстнымъ порывомъ Юлочки и еще болѣе неожиданнымъ явленіемъ Аксиньи Тимофеевны, онъ вырвался изъ горячихъ Юлочкиныхъ объятій и прямо схватился за шапку.

— Боже мой! Аксинья Тимофеевна все видѣла! Она первая сплетница, она всѣмъ все разболтаетъ,—шептала между тѣмъ, стоя на прежнемъ мѣстѣ, Юлочка.

— Чтѣ-жъ такое? это все равно,—пробурчалъ Долинскій.—Прощайте.

— Куда же вы? Куда ты! Подожди минутку.

— Нѣтъ, прощайте.

Долинскій ничего не слушалъ и убѣжалъ домой.

По выходѣ Долинскаго Юлинька возвратилась назадъ въ залъ, остановилась среди комнаты, заложила за затылокъ руки, медленно потянулась и стукнула каблучками.

— Вотъ ужъ именно, что можно чести принисать,—заговорила, тихо выползая изъ темной комнаты, Аксинья Тимофеевна.

Юлочка нервно вздрогнула и сердито оторвала:

— Фу, какъ вы всегда перепугаете съ своимъ подзаныемъ!

— Однако, сдѣлайте же ваше одолженіе: что же онъ обо мнѣ подумаетъ?—говорила Юлинькѣ ночью матроска, выслушавъ отъ дочери всю сегодняшнюю вечернюю исторію въ сокращенномъ разсказѣ.

— А вамъ очень нужно что онъ о васъ подумаетъ?—отвѣчала презрительно, смотря черезъ плечо на свою мать, Юлинька.

— Нужно или не нужно, но вѣдь я же, однако, не торгую моими дѣтьми.

— Не торгуете! Молчите ужъ, пожалуйста!

— Торгую!—крикнула азартно матроска.

— Ну, такъ *заторгуете*, если будете глупы,—отвѣчала спокойно Юлія.

Однимъ словомъ, Долинскій сталъ женихомъ и извѣстить объ этомъ сестру.

«Да спасетъ тебя Господь Богъ отъ такой жены,—отвѣчала Долинскому сестра.—Какъ ты съ ними познакомился? Я знаю эту фальшивую, лукавую и безсердечную дѣвчонку. Она вся ложь, и ты съ нею никогда не будешь счастливъ».

Долинскому въ первыя минуты показалось, что въ словахъ сестры есть что-то основательное, но потомъ показалось опять, что это какое-нибудь провинціальное предубѣжденіе. Онъ не хотѣлъ скрывать это письмо и показать его Юлинькѣ; та прочла все отъ строки до строки съ спокойнымъ, яснымъ лицомъ, и, кротко улынувшись, сказала:

— Вотъ видишь, въ какомъ свѣтѣ я должна была казаться. Вѣрь чему хочешь,—добавила она со вздохомъ, возвращая письмо.

«Не умѣю высказать, какъ я рада, что могу тебѣ послать доказательство, что такое твоя невѣста,—писала Долинскому его сестра черезъ недѣлю.—Вдобавокъ ко всему она вѣчно была эффектница и фантазерка и вотъ превратилась самымъ достойнымъ образомъ. Прочитай ея собственное письмо и, ради всего хорошаго на свѣтѣ, Бога ради не дѣлай несчастнаго шага».

При письмѣ сестры было приложено другое письмецо Юлиньки къ той самой пріятельницѣ, которая всегда служила для нея помойной ямой.

«Я, наконецъ, выхожу замужъ,—писала Юлинька между

прочимъ.—Моя нѣжная родительница распорядилась всѣмъ по своему обыкновенію и сама и безъ моего вѣдома дала за меня слово, не считая нисколько нужнымъ спросить мое сердце. Черезъ мѣсяцъ, для блага матери и сестры, я буду *madame Долинская*. Будущій мужъ мой человѣкъ очень неглупый и на хорошей дорогѣ; но ужасно не развитъ и мы съ нимъ не пара ни по чему. Живя съ нимъ, я буду исполнять мой долгъ и недостатокъ любви замѣню заботою о его развитіи, но жизнь моя будетъ, конечно, одно сплошное страданіе. Любить его, увы, я, разумѣется, не могу. Какъ я понимаю любовь, такъ любить одинъ разъ въ жизни; по... я, можетъ-быть, привыкну къ нему и помирюсь съ грустной необходимостью. Моя вся жизнь, вѣрно, жертва и жертва—и кому? Чтѣ онъ? Чтѣ видитъ въ немъ моя мать и почему предпочитаетъ его всѣмъ другимъ женихамъ, которые мнѣ здѣсь надобѣдаютъ, и между которыми есть люди очень богатые, просвѣщенные и съ прекраснымъ свѣтскимъ положеніемъ? Я просто не умѣю понять ничего этого и иду яко овца на закланіе».

Долинскій запечаталъ это письмо и отослалъ его Юлинькѣ; та получила его за обѣдомъ, и какъ взглянула, такъ и остолбѣла.

— Чтѣ это?—спросила ее матроска, поднося къ своимъ рачьимъ глазамъ упавшее на полъ письмо. «Милая Устя!»—прочла она, и сейчасъ же воскликнула:—А! вѣрно, опять романистическія сочиненія!

— Оставьте!—крикнула Юлинька и, вырвавъ изъ рукъ матери письмо, торопливо изорвала его въ лепесточки.

— Да ужъ это такъ! Героиня!

Юлинька накинула на себя капоть и шубку.

— Куда?!—крикнула матроска.—Къ милому? обниматься? Теперь прости, моль, голубчикъ!

— А хотъ бы и обниматься!—отвѣчала, проходя, Юлинька, и исчезла за дверью.

— Ты у меня, Викторина, смотри!—заговорила, стуча ладонью по столу, матроска.—Если еще ты, мерзавка, будешь похожа на эту змѣю, я тебя, шельму, пополамъ перерву. На одну ногу стану, а другую оторву.

Викторина молчала, а Юлинька въ это время именно обнималась.

— Это была шутка, я нарочно хотѣла попытать мою

глупенькую Устю, хотѣла узнать, что она скажетъ на такое вовсе непохожее на меня письмо; а онѣ, сумасшедшія, подняли такой гвалтъ и тревогу!—говорила Юлинька, весело смѣясь въ лицо Долинскому.

Потомъ она расплакалась, упрекала жениха въ подозрительности, довела его до того, что онѣ же самѣ началъ просить у нея прощенія, и потомъ она его, какъ слабое существо, простила, обняла, поцѣловала, и еще поцѣловала, и столь увлеклась своею добротою, что пробыла у Долинскаго до полуночи.

Матроска ожидала дочь и, несмотря на поздній для нея часъ, съ азартомъ вязала толстый шерстяной чулокъ. По сердитому стуку вязальныхъ прутиковъ и электрическому трепетанію сѣраго крысиного хвоста, торчавшаго на матроскиной макушкѣ, видно было, что эта почтенная дама весьма въ тревожномъ положеніи. Когда у подъѣзда раздался звонокъ, она сама отперла дверь, выпустила Юлочку, не сказавъ ей ни одного слова, вернулась въ залу, и только когда та прошла въ свою комнату, матроска не выдержала и тоже явилась туда за нею.

— Ну, что жъ?—спросила она, тяжело разсаживаясь на шупленькомъ креслицѣ.

— Пожалуйста, не рвите чехла; его ужъ и такъ болѣе чинить нельзя,—отвѣчала, мало обращая вниманія на ея слова, Юлія.

— Не о чехлахъ, сударыня, дѣло, а о васъ самихъ,—возвысила голосъ матроска, и крысиный хвостикъ закачался на ея макушкѣ.

— Пожалуйста, безпокойтесь обо мнѣ поменьше; это будетъ гораздо умнѣе.

— Да-съ, но когда жъ этотъ болванъ, наконецъ, рѣшится?

Юлинька помолчала и, спокойно свертывая косу подъ ночной чепецъ, тихо сказала:

— Дней черезъ десять можете потребовать, чтобы свадьба была немедленно.

Матроска, прищуривъ глаза, извительно посмотрѣла на свою дочь и произнесла:

— Значить, ужъ сироворила, милая?

— Дѣлайте, что вамъ говорить,—отвѣтила Юлинька и, бросивъ на мать совершенно холодный и равнодушный

взглядъ, сѣла писать Устьѣ ласковое письмо о ея непростительной легковѣрности.

— Готовъ Максимъ и шапка съ нимъ,—ядовито проговорила, вставая и отходя въ свою комнату, матроска.

Черезъ мѣсяцъ Юлинька женила на себѣ Долинскаго, который, послѣ ночного посѣщенія его Юлинькой, уже не колебался въ выборѣ, что ему дѣлать, и рѣшилъ, что сила воли должна заставить его загладить свое увлеченіе. Счастья онъ не ожидалъ и его не послѣдовало.

Мѣсяца медоваго у Долинскаго не было. Юлинька сдерживалась съ нимъ, но онъ все-таки не могъ долго заблуждаться и видѣлъ бѣду неминуемую. А между тѣмъ Юлинька никакъ не могла полюбить своего мужа, потому что женщины ея закала не терпятъ, даже презираютъ въ мужчинахъ характеры искренніе и добрые, и эффектный порокъ для нихъ гораздо привлекательнѣе; а о томъ, чтобы падить мужа, хоть не любя, но уважая его, Юлинька, конечно, вовсе и не думала: окончивъ одну комедію, она бросалась за другою и входила въ свою роль. Мать и сестру она оставила при себѣ, находя, что этакъ будетъ приличнѣе и экономнѣе. Викторина, дѣйствительно, была полезна въ домѣ, а матроска нужна. Первые слезы Юлиньки пали на сердце Долинскаго за визиты ея родственникамъ и благодѣтелямъ, которыхъ Долинскій не хотѣлъ и видѣть. Матроска влетѣла и ошипала Долинскаго какъ мокраго пѣтуха.

— Этакъ, милостивый государь, съ своими женами одни мерзавцы поступаютъ!—крикнула она, не говоря худого слова, на зятя. (Долинскій сразу такъ и оторопѣлъ. Онъ сроду не слыхивалъ, чтобы женщина такъ выражалась).—Вашъ долгъ показать людямъ,—продолжала матроска:—какъ вы уважаете вашу жену, а не поворачиваться съ нею какъ воръ на ярмаркѣ. Что, вы стыдитесь моей дочери, или она вамъ не пара?

— Я думаю, мой долгъ жить съ женою дружески, а не стараться кому-нибудь это показывать. Не все ли равно, кто что о насъ думаетъ?

— Покорно васъ благодарю! покорнѣйше-съ васъ благодарю-съ!—замотавъ головою разъярилась матроска.—Это значитъ—вамъ все равно, что моя дочь, что Любанка.

— Какая такаа Любанка?

— Ну, что бѣлье вамъ носила; думаете—не знаю?

— Фу, какая грязь!

— Да-съ! А вы бы, если вы человекъ такихъ хорошихъ правилъ, такъ не торопились бы до свадьбы-то въ права мужа вступать, такъ это лучше бы-съ было, честнѣе. А и тебѣ, дурѣ, ништо, ништо, ништо,—оборотилась она къ дочери.—Рюмъ, рюмъ теперь, а вотъ, погоди немножко, какъ корсажи-то въ платьяхъ придется разставлять, такъ и со-всѣмъ тебя будетъ прятать.

Долинскій вскочилъ и послалъ за каретой. Юлинька дѣлала визиты съ заплаканными глазами, и своимъ угнетеннымъ видомъ ставила мужа въ положеніе весьма странное и неловкое. Въ откупномъ мірѣ матроскиныхъ благодѣтелей Долинскій не понравился.

— Какой-то совсѣмъ неискательный,—отозвался о немъ главный благодѣтель, котораго Юлинька поклепала ухажи-ваніемъ за нею.

Матроска опять дала зятю встрелку.

— Своихъ отряхъ, учительшекъ, умѣете примѣчать, а людей, которые всей вапшей семьѣ могутъ быть полезны, отталкиваете,—наступала она на Долинскаго.

Юлинька въ глаза всегда брала сторону мужа и просила его не обращать вниманія на эти грубые выходы грубой женщины. Но на самомъ дѣлѣ каждый изъ этихъ маневровъ всегда производился по непосредственной инициативѣ и подробнѣйшимъ инструкціямъ самой Юлиньки. По ея соображеніямъ, это былъ хорошій и вѣрный методъ обезличить кроткаго мужа, насколько нужно, чтобы распоряжаться по собственному усмотрѣнію, и въ то же время довести свою мать до совершенной остылости мужу и въ удобную минуту немножко поустить его, такъ, чтобы не она, а *онъ* бы выгналъ матроску и Викторинушку изъ дома. Роды перваго ребенка показали Юли, что мужъ ея уже обшкolenъ весьма удовлетворительно, и что теперь она сама, безъ материнскаго посредства, можетъ обращаться съ нимъ какъ ей угодно. Дней черезъ двѣнадцать послѣ родовъ, она вышла съ сестрою изъ дома, гулила очень долго, наѣлась султанскихъ финиковъ и, возвратясь, заболѣла. Тутъ у нея въ этой болѣзни оказались виноватыми всѣ, кромѣ ея самой: мать, что не удержала; акушерка — что не предупредила, и мужъ, должно-быть, въ томъ, что не вернулъ ее домой за ухо.

— Я же чѣмъ виновать?—говорилъ Долинскій.

— Вы ничѣмъ не виноваты!..—крикнула Юлинька.—А вы сѣздили къ акушеру? разспросили вы, какъ держаться женѣ? посовѣтовались вы... прочитали вы? да прочитали вы, напримѣръ, что-нибудь о беременной женщинѣ? вообще позаботились вы? позаботились? Кому-съ, я васъ спрашиваю, я всѣмъ этимъ обязана?

— Чѣмъ?—удивлялся мужъ.

— Чѣмъ?.. Пенавистный человѣкъ! Еще онъ спрашиваетъ: чѣмъ?.. Только съ нѣжностями своими противными умѣетъ лѣзть, а удержать жену отъ неосторожности — не его дѣло.

— Я полагаю, что это всякая женщина сама знаетъ, что черезъ двѣ недѣли послѣ родовъ нельзя дѣлать такихъ прогулокъ,—отвѣчалъ Долинскій.

— Это у васъ, ваши кievскіе тихони все знаютъ, а я ничего не знала. Если бъ я знала болѣе, такъ вы, навѣрно, со мною не сдѣлали бы всего, что хотѣли.

— Ого-го-го! Забыли, видно, батюшка, ваши благородныя дѣянiя-го!—подхватила изъ другой комнаты матроска.

— Ахъ, убирайтесь вы всѣ вонъ!—закричала Юлія.

Долинскій махалъ рукою и уходилъ къ себѣ въ конурку, отведенную ему для кабинета.

Автономіи его рѣшительно не существовало, и жизнь онъ велъ прегорькую-горькую. Дома онъ сидѣлъ за работою, или выходилъ на уроки, а не то, такъ, или сопровождалъ жену, или занималъ ея гостей. Матроска и Юлинька, какъ тургеневская помѣщица, были твердо увѣрены, что супруги

Не другъ для друга созданы:

Нѣтъ—*мужъ устроенъ для жены,*

и ни для кого болѣе, ни для міра, ни для себя самого даже. Товарищей Долинскаго принимали холодно, небрежно и, наконецъ, даже часто вовсе не принимали. Новыя знакомства, завязанныя Юлинькою съ разными тонкими цѣлями, не нравились Долинскому, тѣмъ болѣе, что ради этихъ знакомствъ его заставляли быть «искательнымъ», что вовсе было и не въ натурѣ Долинскаго и не въ его правилахъ. Къ тому же, Долинскій очень хорошо видѣлъ, какъ эти новыя знакомые часто безцеремонно третировали его жену и даже нерѣдко въ глаза открыто смѣялись надъ его тещей; но ни остановить чужихъ, ни обрезать своихъ

онъ рѣшительно не умѣлъ. А матроскѣ положительно повезло въ гостиной; что она ни станетъ рассказывать о своихъ аристократическихъ связяхъ — все выходитъ какимъ-то нелѣпѣйшимъ вздоромъ, и къ тому же, въ этомъ же самомъ разговорѣ вздумавшая аристократничать матроска, какъ парочно, стеариновую свѣчу назоветъ *стерлинового*, вмѣсто сиропа — *суронгъ*, вмѣсто камфина — *канжинъ*. Сѣздила матроска одинъ разъ въ театръ и послѣ цѣлый годъ рассказывала, что она была въ театрѣ на *Эспанскомъ дворянницѣ*; желая похвалиться, что ея Петрушу примутъ въ училище Правовѣдѣнія, она говорила, что его примутъ въ училище *Праловѣдѣнія*, и тому подобное, и тому подобное.

Прошелъ еще годъ, Долинскій совсѣмъ сталъ неузнаваемъ. «Врошу», рѣшалъ онъ себѣ не разъ послѣ трепокъ за неискательность и недостатокъ средствъ удовлетворенію расширявшихся требованій Юліи Петровны, но тутъ же опять вставалъ у него вопросъ: «а гдѣ же твердая воля мужчины?» Да въ томъ-то и будетъ твердая воля, чтобы освободиться изъ этой уничтожающей среды, рѣшалъ онъ, и сейчасъ же опять запрашивалъ себя: развѣ болѣе воли нужно, чтобы уйти, чѣмъ съ твердостью и достоинствомъ выносить свое тяжкое положеніе? А между тѣмъ, явился другой ребенокъ. Долинскій, въ качествѣ отца двухъ дѣтей, сталъ подвергаться сугубому угнетенію и, наконецъ, не выдержалъ и собрался ѣхать съ письмами жениныхъ благодѣтелей въ Петербургъ. Долинскій собрался скоро, торопливо, какъ бы боялся, что онъ останется, что его что-то задержать. Приѣхавъ въ Петербургъ, онъ никуда не пошелъ съ письмами благодѣтелей, но освѣжился, одумался и въ откровенную минуту высказалъ все свое горе одному старому своему дѣтскому товарищу, земляку и другу, художнику Ильѣ Макаровичу Журавкѣ, челоѣку очень доброму, пылкому, суетливому и немножко смѣшному.

— Одно средство, братецъ мой, вамъ другъ съ другомъ разстаться, — отвѣчалъ, выслушавъ его исповѣдь, Журавка.

— Это, Ильюша, легко, братъ, сказать.

— А сдѣлать еще легче.

Долинскій походилъ и въ раздумьи произнести:

— Не могу, какъ-то все это съ одной, будто, стороны такъ, а съ другой — опять.

— Пф! да брось, братецъ, брось, вотъ и вся недолга, либо заплеснѣвѣешь, бабы ѣздить на тебѣ будутъ!—воскликнулъ Журавка.

Поживи мѣсяцъ въ Петербургѣ, Долинскій чувствовалъ, что, дѣйствительно, нужно собрать всю волю и уйти отъ людей, съ которыми жизнь мѣла, а не спокойный трудъ и не праздникъ.

— Ну, положимъ такъ,—говорилъ онъ:—положимъ, я бы и рѣшился, оставить бы жену, а дѣтей же какъ оставить?

— Дѣтей обезпечь, братецъ.

— Чѣмъ, чѣмъ, Илья Макарычъ?

— Деньгами, разумѣется.

— Да какія же деньги, гдѣ я ихъ возьму?

— Пф! хочешь десять тысячъ обезпеченія, сѣйчасъ, хочешь?

— Ну, ну, давай.

— Нѣтъ, ты говори коротко и узловато: хочешь или не хочешь?

— Да, давай, давай.

— Стало-быть, хочешь?

— Да ужъ, конечно, хочу.

— Идетъ, и да будетъ тебѣ, яко же хоцеши! Послѣ-завтра у твоихъ дѣтей десять тысячъ обезпеченія, супругъ давай на дѣтское воспитаніе, а самъ живи во славу Божию; ступай въ Италію, тамъ, братъ, итальяночки... ууххъ, одними глазами такъ и вскипятить иная! Я тебѣ скажу, наши-то женщины, братецъ, вѣдь, если по правдѣ говорить, все-таки, вѣдь, дрянъ.

— А я думаю,—говорилъ на другой день Долинскій Журавкѣ:—я думаю, точно ты правъ, надо, вѣдь, это дѣло покончить.

— Да какъ же, братецъ, не надо?

— То-то, я всю ночь продумалъ и...

— Ты, пожалуйста, ужъ лучше и не раздумывай.

Черезъ два дня въ рукахъ Долинскаго былъ полисъ на его собственную жизнь, застрахованную въ десять тысячъ рублей, и предложеніе редакціи одного большого изданія быть корреспондентомъ въ Парижѣ.

Долинскій, какъ всѣ несильные волею люди, старался исполнить свое рѣшеніе какъ можно скорѣе. Онъ перемѣнилъ паспортъ и уѣхалъ за границу. Во все это время

онъ ни малѣйшимъ образомъ не выдалъ себя женѣ; извѣщая ее, что онъ хлопочетъ, что ему даютъ очень выгодное мѣсто, и только въ день своего отъѣзда вручить Ильѣ Макаровичу конвертъ съ письмомъ слѣдующаго содержанія:

«Я, наконецъ, долженъ сказать вамъ, что я нашелъ себѣ очень выгодное мѣсто и отправляюсь къ этому мѣсту, не заѣзжая въ Москву. Главная выгода моего мѣста заключается въ томъ, что вы его никогда не узнаете, а если узнаете, то не можете меня болѣе мучить и терзать. Я васъ оставляю навсегда за вашъ дурной нравъ, жестокость и лукавство, которые мнѣ ненавистны и которыхъ я болѣе переносить не могу. Ссориться и браниться я не приученъ, а на великодушіе, хотя бы даже въ далекомъ будущемъ, я не надѣюсь, и потому просто бѣгу отъ васъ. На случай моей смерти оставляю моему извѣданному другу полисъ страхового общества, которое уплатитъ моимъ дѣтямъ десять тысячъ рублей; а пока живъ, буду высылать вамъ на ихъ воспитаніе столько, сколько позволятъ мнѣ мои средства.

«Не выражаю вамъ никакихъ доброжелательствъ, чтобы вы не приняли ихъ за насмѣшку, но ручаюсь вамъ, что не питаю къ вамъ, ни къ вашему семейству ни малѣйшей злобы. Я хочу только, чтобы мы, какъ люди совершенно несходныхъ характеровъ и убѣжденій, не мѣшали другъ другу, и вы сами вскорѣ увидите, что для васъ въ этомъ нѣтъ рѣшительно никакой потери. Я знаю, что я неспособенъ ни сстроить себѣ служебную карьеру, ни нажить денегъ, съ которыми можно бы не нуждаться. Вы ошиблись во мнѣ, я — въ васъ. Не будемте бесполезно упрекать ни себя, ни другъ друга, и простимтесь, утѣшая себя, что нередко намъ раскрывается снова жизнь, если и не счастливая, то, по крайней мѣрѣ, не лишенная того высшаго права, которое называется свободою совѣсти и которое, къ несчастью, люди такъ мало уважаютъ другъ въ другѣ».

«Н. Долинскій».

С.-Петербургъ.

Такъ покончилась семейная жизнь человѣка, встрѣченнаго Дорушкою уже послѣ четырехлѣтняго его житія въ Парижѣ.

Въ Россію Долинскій еще боялся возвращаться, потому что даже и изъ-за границы ему два или три раза приходилось давать въ посольствѣ непріятныя и тяжелыя объясненія по жалобамъ жены.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Главные лица романа знакомятся ближе.

Продолжаемъ прерванную повѣсть.

Домъ, въ которомъ Анна Михайловна съ своею сестрою жила въ Парижѣ, былъ изъ новыхъ домовъ Rue de l'Ouest. Въ немъ съ улицы не было воротъ, но тотчасъ, перешагнувъ за его красиво-отдѣланныя, тяжелыя двери, открывался маленькій дворикъ, почти весь занятый большою цвѣточною клумбою; направо была красивенькая клѣтка, въ которой жила старая concierge, а налѣво дверь и легкая спиральная лѣстница. Черезъ два дня послѣ свиданія съ Прохоровыми, Долинскій съ несовсѣмъ довольнымъ лицомъ медленно взбирался по этой ажурной лѣстницѣ и позвонилъ у одной двери въ третьемъ этажѣ. Его ввели черезъ небольшой коридорчикъ въ очень просторную и хорошо меблированную комнату, передѣленную густою шерстяною драпировкою.

По комнатѣ, на диванѣ и на стульяхъ, лежали кучи лентъ, цвѣтовъ, синели, рюшу и разной галантерейщины; на столѣ были набросаны выкройки и узоры, передъ которыми, опустивъ въ раздумьѣ голову, стояла сама хозяйка. Немного нужно было имѣть проницательности, чтобы отгадать, что Анна Михайловна стоитъ въ этомъ положеніи не одну минуту, но что не узоры и не выкройки занимаютъ ее голову.

При входѣ Долинскаго, Анна Михайловна покраснѣла, какъ институтка, и сказала:

— Ахъ, извините Бога ради, у насъ такой ералашный безпорядокъ.

Долинскій ничего не отвѣтилъ на это, но, взглянувъ на Анну Михайловну, только подумалъ: «а какъ она дивно хороша, однако».

Анна Михайловна была одѣта въ простое коричневое платье съ высокимъ лифомъ подъ душу, и ея черныя волосы были гладко причесаны за уши. Этотъ простой уборъ, впрочемъ, шелъ къ ней необыкновенно и прекрасная наружность Анны Михайловны, дѣйствительно, могла бы остановить на себѣ глаза каждаго.

— Пожалуйста, садитесь, сестры дома нѣтъ, но она

сейчасъ должна вернуться, — говорила Анна Михайловна, собирая со стола свои узоры.

— Я, кажется, совсѣмъ не во-время? — началъ Долинскій.

— А, нѣтъ! Вы, пожалуйста, не обращайтесь на это вниманія, мы вамъ очень рады.

Долинскій поклонился.

— Дорушка еще вчера васъ поджидала. Вы курите?

— Курю, если позволите.

— Сдѣлайте милость.

Долинскій зажегъ папироску.

— Дора все не дождется, чтобы помириться съ вами, — начала хозяйка.

— Это, если я отгадываю, все о луврской еще встрѣчѣ?

— Да, сестра моя ужасно сконфужена.

— Это пресмѣшной случай.

— Ахъ, она такая...

— Непосредственная, кажется, — подсказалъ, улыбаясь, Долинскій.

— Даже черезчуръ иногда, — замѣтила снисходительно Анна Михайловна. — Но вы не повѣрите, какъ ей совѣстно, что она надѣлала.

Долинскій хотѣлъ отвѣтить, что объ этомъ даже и говорить не стоитъ, но въ это время послышался колокольчикъ и звонкій контральтъ запѣлъ въ коридорчикѣ:

Если жизнь тебя обманетъ,
Не печалься, не сердись.
Въ день несчастія смирись,
День веселья, вѣрь, настанетъ!

— Вотъ и она, — сказала Анна Михайловна.

На порогѣ показалась Дорушка въ легкомъ бѣломъ платьѣ съ своими оригинальными красноватыми кудрями, распущенными по волѣ, съ снятой съ головы соломенной шляпой въ одной рукѣ и съ картонкой въ другой.

— А-а! — произнесла она протяжно при видѣ Долинскаго и остановилась у двери.

Гость всталъ съ своего мѣста.

— Стар... Стар... нѣтъ, все не могу выговорить вашего имени.

— Несторъ, — произнесъ, разсмѣявшись, Долинскій.

— Да, да, есть Несторъ-лѣтописецъ.

— То-есть—быть; но это во всякомъ случаѣ не я.

— Я это ужъ сообразила, что вы, должно-быть, совершенно отдѣльный, особенный Несторъ. Ахъ, Несторъ Игнатьичъ, я передъ вами на колѣни сейчасъ опущусь, если вы меня не простите.

— Помилуйте, вы только заставляете меня краснѣть отъ этихъ вашихъ просьбъ.

— О, если вы это безъ шутокъ говорите, то вы просто покорите мое сердце своею добродѣтелью.

— Увѣряю васъ, что я ужъ забылъ объ этомъ.

— Въ такомъ случаѣ, Полканушка, дай лапу.

Анна Михайловна неодобрительно качнула головою, на что не обратили вниманія ни Долинскій, ни Дорушка, крѣпко и весело сжимавшіе поданныя другъ другу руки.

— А моя сестра ужъ, вѣрно, морщится, что мы дружимся, — проговорила Дора, и, взглянувъ въ лицо сестры, добавила: — такъ и есть, вотъ удивительная женщина, никогда она, кажется, не будетъ вѣрить, что я знаю, что дѣлаю.

— Ты знала, что дѣлала, и тогда, когда разсуждала о monsieur Долинскомъ.

— Это въ первый разъ случилось, но, впрочемъ, вотъ видишь, какъ все хорошо вышло: теперь у меня есть русскій другъ въ Парижѣ. Вѣдь, мы друзья, правда?

— Правда, — отвѣчалъ Долинскій.

— Вотъ видишь, Аня. Я говорю, что всегда знаю, что я дѣлаю. Я женщина практичная — и это правда. Вы хотите мароновъ? — спросила она Долинскаго, опуская въ карманъ руку.

— Нѣтъ-съ, не хочу.

— Тепленькіе совѣмъ еще.

— Все-таки покорно васъ благодарю.

— Зачѣмъ ты покупаешь эту дрянь, Дора? — вмѣшалась Анна Михайловна.

— Я совѣмъ ихъ не покупаю, это мнѣ какой-то французъ подарилъ.

— Какой это у тебя еще французъ завелся?

— Не знаю, глупый, должно-быть, какой-то, далеко-далеко меня провожалъ и все глупости какія-то вретъ. Завтракать съ собой звалъ, а я не пошла, велѣла себѣ тутъ, на этомъ углу, въ лавочкѣ, мароновъ купить и пожелала ему счастливо оставаться на улицѣ.

— Вот видите, какъ она знаетъ, что дѣлать, — произнесла Анна Михайловна. — Только того и ждешь, что налетитъ на какую-нибудь исторію.

— Пустиакъ это, сдѣломое всегда можно брать, особенно у француза.

— Почему же особенно у француза?

— Потому что онъ, во-первыхъ, глупъ, а, во-вторыхъ, это ему удовольствіе доставляетъ.

— И тебѣ тоже?

— Нѣкоторое.

— А если этотъ французъ тебѣ сдѣлаетъ дерзость?

— Не смѣетъ.

— Отчего же не смѣетъ?

— Такъ, не смѣетъ — да и только. Вы давно за границу? — обратилась она опять къ Долинскому.

— Скоро четыре года.

— Ой, ой, ой, это одурѣть можно.

Анна Михайловна засмѣялась и сказала:

— Вы ужъ, *monsieur* Долинскій, теперь насъ извиняйте за выраженія; мы, какъ видите, скоро дружимся и, подружившись, всѣ церемоніи сразу въ сторону.

— Сразу, — серьезно подтвердила Дора.

— Да, у насъ съ Дарьей Михайловной все вдругъ дѣлается. Я того и гляжу, что она когда-нибудь пойдетъ два аршина лентъ купить, а мимоходомъ зайдетъ въ церковь, да съ кѣмъ-нибудь обвѣнчается и вернется съ мужемъ.

— Нѣтъ-съ, этого, душенька, не случится, — отвѣчала, сморщивъ носикъ, Дора.

— Охъ, а все-таки что-то страшно, — шутила Анна Михайловна.

— Во-первыхъ, — выкладывала по пальцамъ Дора: — на мнѣ никогда никто не женится, потому что по множеству разныхъ пороковъ я неспособна къ семейной жизни, а, во-вторыхъ, я и сама ни за кого не пойду замужъ.

— Какое суровое рѣшеніе! — произнесъ Долинскій.

— Самое гуманное. Я знаю, что я дѣлаю; не безпокойтесь. Я увѣрена, что я въ полгода или бы уморила своего мужа, или бы умерла сама, а я жить хочу — жить, жить и пѣть.

Дорушка подняла вверхъ ручку и пропѣла:

Золотая волюшка мнѣ милѣй всего.
Не надо мнѣ съ волею въ свѣтъ ничего.

— Вотъ,—начала она:—я почти такъ же велика, какъ Шекспиръ. У него Гамлетъ говорить, чтобъ никто не женился, а я говорю—пусть никто не выходить замужъ. Совершенно справедливо, что если выходить замужъ, такъ надо выходить за дурака, а я дураковъ терпѣть не могу.

— Почему же непременно за дурака? — спросилъ Долинскій.

— А потому, что умные люди больше не будутъ жениться.

— Триста лѣтъ близко, какъ нашъ Гамлетъ положили зарокъ людямъ не жениться, а видите, все люди и женятся, и замужъ выходятъ.

— Ну, да, все потому, что люди еще очень глупы, потому что посвистываетъ у нихъ въ лбахъ-то,—резонировала Дора.—Умный человекъ всегда знаетъ, что онъ дѣлаетъ, а дураки—дураки всегда охотники жениться. Видь, вы вотъ, полагаю, не женитесь?

— Нѣтъ-съ, не женюсь,—отвѣчалъ, немного покраснѣвъ, Долинскій.

— А-а, то-то и есть. Даже вонъ въ краску васъ бросило при одной мысли, а скажите-ка, отчего вы не женитесь? оттого, что вы не хотите попасть въ дураки?

— Нѣтъ, оттого, что я женатъ,—еще болѣе покраснѣвъ и засмѣявшись, отвѣчалъ Долинскій.

Дорушка быстро откинулась, значительно закусилась своею нижнюю губку и, вспрыгнувъ съ своего мѣста, юркнула за драпировку.

Долинскій обтиралъ выступившій у него на лбу потъ и смѣялся самымъ веселымъ, искреннимъ смѣхомъ. Анна Михайловна сидѣла совершенно перекофуженная и ворочала что-то въ своей рабочей корзинкѣ. Щеки ея до самыхъ ушей были покрыты густымъ пунцовымъ румянцемъ.

Секунды три длилась тихая пауза.

— Нѣтъ, это ужъ чортъ знаетъ что такое! — крикнула изъ-за драпировки Дорушка голосомъ, въ которомъ звучали и насилие сдерживаемый смѣхъ, и досада.

— Да, все это оттого, что ты всегда знаешь, что ты дѣлаешь! — тихо проговорила съ упрекомъ Анна Михайловна.

Долинскій опять разсмѣялся и вслѣдъ затѣмъ послышался несдержанный смѣхъ самой Доры. Аннѣ Михайловнѣ тоже измѣнила ея фizioномія, она улыбнулась и съ упрекомъ проронила:

— Чудо, какъ умно!

— Что жъ, *«чудо, какъ умно!»* — заговорила, появляясь между лапами драпировки, смѣющаяся Дора.

— Очень умно, — повторила Анна Михайловна.

— Да развѣ же я виновата, — оправдывалась Дора: — что насталъ такой вѣкъ, что никакъ не напасешься? Кто ихъ знаетъ, какъ они такъ женятся, что это по нимъ незамѣтно! Ну, чего, ну, что это вы женились и не рассказываете объ этомъ пріятномъ происшествіи? — обратилась она къ смѣющемуся Долинскому и сама расхохоталась снова.

— Да нѣтъ, это вы вышиваете, — продолжала она, махнувъ ручкой.

— Ну, не вѣрьте.

— И не вѣрю, — отвѣчала Дора. — Мнѣ даже этакъ удобно.

— Что это, не вѣрить?

— Конечно; а то, Господи, что же это въ самомъ дѣлѣ за напасть така! Опять бы надо во второй разъ передъ однимъ и тѣмъ же господиномъ извиняться. Не вѣрю.

— Да совершенно не въ чемъ-съ извиняться. Вы мнѣ только доставили искреннее удовольствіе посмѣяться, какъ я давно не смѣялся, — отвѣчалъ Долинскій.

Хозяйки, по-русски, оставили Долинскаго у себя отобѣдать, потомъ вмѣстѣ ходили гулять и продержали его до полночи. Дорушка была умна, рѣзва и весела. Долинскій не замѣтилъ, какъ у него прошелъ цѣлый день съ новыми знакомыми.

— Вы, Дарья Михайловна, бываете когда-нибудь и грустны? — спросилъ онъ ее, прощаясь.

— Ой, ой, и какъ еще! — отвѣчала за нее сестра.

— И тогда ужъ не смѣетесь?

— Черной тучею смотреть.

— Грозна и величественна бываю. Приходите почаще, такъ я вамъ доставлю удовольствіе видѣть себя въ мрачномъ настроеніи, а теперь adieu, mon plaisir, спать хочу, — сказала Дорушка и, дружески взявъ руку Долинскаго, закричала портьеру: «откройте».

ГЛАВА ПЯТАЯ. Кое-что о чувствахъ.

Прошелъ мѣсяцъ, какъ нашъ Долинскій познакомился съ сестрами Прохоровыми. Во все это время не было ни одного дня, когда бы они не видались. Ежедневно, аккуратно въ четыре часа, Долинскій являлся къ нимъ, и они вмѣстѣ обѣдали, вмѣстѣ гуляли, читали, ходили въ театры и на маленькіе балки, которые очень любила наблюдать Дора. Анна Михайловна, съ своими хлопотами о закупкахъ для магазина, часто уклонялась отъ такъ-называемаго Дорою «шлянья» и предоставляла сестрѣ мыкаться по Парижу съ однимъ Долинскимъ. Знакомство этихъ трехъ лицъ въ этотъ промежутокъ времени, дѣйствительно, перешло въ самую короткую и искреннюю дружбу.

— Чудо, какъ весело мы теперь живемъ! — восклицала Дора.

— Это правда, — отвѣчалъ необыкновенно повеселѣвшій Несторъ Игнатьевичъ.

— А все, вѣдь, мнѣ всѣмъ обязаны.

— Ну, конечно-съ, вамъ, Дарья Михайловна.

— Разумѣется; а не будь вы такой пентюхъ, все могло бы быть еще веселѣе.

— Что жъ я, напримѣръ, долженъ бы дѣлать, если бъ не имѣлъ чина пентюха?

— Это вы не можете догадаться, что бы вы должны дѣлать? Вы, милостивый государь, даже изъ вѣжливости должны бы въ которую-нибудь изъ насъ влюбиться, — говорила ему не разъ, расшалившись, Дорушка.

— Не могу, — отвѣчалъ Долинскій.

— Отчего это не можете? Какъ бы весело-то было, чудо?

— Да вотъ видѣть чудесь-то я именно и боюсь.

— Э, лучше скажите, что просто у васъ, батюшка мой, вкуса нѣтъ, — шутила Дора.

— Ну, какъ тебѣ не стыдно, Дора, уши, право, вянуть слушать, что ты только врешь, — останавливала ее въ такихъ случаяхъ скромная Анна Михайловна.

— Стыдно, мой другъ, только красть, лѣниться да обманывать, — обыкновенно отвѣчала Дора.

Мрачное настроеніе духа, въ которомъ Дорушка, по ея собственнымъ словамъ, была *грозна и величественна*, во

все это время не приходило къ ней ни разу, но она иногда очень упорно молчала часъ и другой, и потомъ вдругъ разрѣшалась вопросомъ, показывавшимъ, что она все это время думала о Долинскомъ.

— Скажите мнѣ, пожалуйста, вы, въ самомъ дѣлѣ, женаты?—спросила она его однажды послѣ одного такого раздумья.

— Безъ всякихъ шутокъ, —отвѣчалъ ей Долинскій.

Дорушка пожала плечами.

— Гдѣ же теперь ваша жена?—спросила она опять послѣ нѣкоторой паузы.

— Моя жена? Моя жена въ Москвѣ.

— И вы съ ней не видались четыре года?

— Да, вотъ скоро будетъ четыре года.

— Что жъ это значить? вы съ нею, вѣроятно, разошлись?

— Дора!—остановила Анна Михайловна.

— Что жъ тутъ такого обиднаго для Нестора Игнатьича въ моемъ вопросѣ? Дѣло ясное, что если люди по собственной волѣ четыре года кряду другъ съ другомъ не видятся, такъ они другъ друга не любятъ. Любя — нельзя другъ къ другу не рваться.

— У Нестора Игнатьича здѣсь дѣла.

— Нѣтъ, что жъ, Анна Михайловна, я, вѣдь, вовсе не вижу нужды секретничать. Вопросъ Дарьи Михайловны меня нисколько не смущаетъ: я, дѣйствительно, не въ ладахъ съ моей женою.

— Какое несчастіе, — проговорила съ искреннимъ участіемъ Анна Михайловна.

— И вы твердо рѣшились никогда съ нею не сходить-ся?—допрашивала, серьезно глядя, Дора.

— Скорѣе, Дарья Михайловна, земля сойдется съ небомъ, чѣмъ я съ своей женою.

— А она любитъ васъ?

— Не знаю; полагаю, что нѣтъ.

— Что жъ, она измѣнила вамъ, что ли?

— Дора! Ну, да что жъ это, наконецъ, такое!—сказала, порываясь съ мѣста, Анна Михайловна.

— Не знаю я этого, и знать объ этомъ не хочу, —отвѣчалъ Долинскій:—какое мнѣ до нея теперь дѣло, она вольна жить какъ ей угодно.

— Значить, вы ее не любите?—продолжала съ прежнимъ спокойствіемъ Дорушка.

— Не люблю.

— Вовсе не любите?

— Вовсе не люблю.

— Это вамъ такъ кажется, или вы въ этомъ увѣрены?

— Увѣренъ, Дарья Михайловна.

— Почему жъ вы увѣрены, Несторъ Игнатьичъ?

— Потому, что... я ее ненавижу.

— Гм! ну, этого еще иногда бываетъ маловато, люди иногда и ненавидятъ, и презираютъ, а все-таки любятъ.

— Не знаю; мнѣ кажется, что даже и слова *ненавидѣть* и *любить* въ одно и то же время вмѣстѣ не вяжутся.

— Да, разсуждайте тамъ, вяжутся или не вяжутся; что вамъ за дѣло до словъ, когда это случается на дѣлѣ; нѣтъ, а вы попробовали ли себя спросить, что если бъ ваша жена любила кого-нибудь другого?

— Ну-съ, такъ что же?

— Какъ бы вы, напримѣръ, смотрѣли, если бы ваша жена цѣловала своего любовника, или... такъ, вышла, что ли бы, изъ его спальни?

— Дора! да ты, наконецъ, рѣшительно несносна! — воскликнула Анна Михайловна и, вставши съ своего мѣста, подошла къ окошку.

— Смотрѣлъ бы съ совершеннымъ спокойствіемъ, — отвѣчалъ Долинскій на послѣдній вопросъ Дорушки.

— Да, ну, если такъ, то это хорошо! Это, значитъ, дѣло капитальное, — протянула Дора.

— Но смѣшно только, — отозвалась съ своего мѣста Анна Михайловна: — что ты придаешь такое большое значеніе ревности.

— Гадкому чувству, которое свойственно только пустымъ, щепетильно-самолюбивымъ людишкамъ, — подкрѣпилъ Долинскій.

— Толкуйте, господа, толкуйте; а отчего, однако, это гадкое чувство переживаетъ любовь, а любовь не переживаетъ его никогда?

— Но, тѣмъ не менѣе, все-таки оно гадко.

— Да я же и не говорю, что оно хорошо; я только хотѣла пробовать имъ вашу любовь, и теперь очень рада, что вы не любите вашей жены.

— Ну, а тебѣ что до этого? — укоризненно качая головою, спросила Анна Михайловна.

— Мнѣ? Мнѣ ничего, я за него радуюсь. Я вовсе не желаю ему несчастья.

— Какія ты сегодня глупости говорила, Дора,— сказала Анна Михайловна, оставшись одна съ сестрою.

— Это ты о Долинскомъ?

— Да, разумеется. Почему ты знаешь, какая его жена? Можетъ-быть, она самая прекрасная женщина.

— Нѣтъ, этого не можетъ быть: онъ не такой человѣкъ, чтобы могъ бросить хорошую женщину.

— Да откуда ты его знаешь?

— Ахъ, Господи Боже мой, развѣ я дура, что ли?

— Ну, а Богъ его знаетъ, какой у него характеръ?

— Дѣтскій; да, впрочемъ, какой бы ни былъ, это ничего не значитъ: умъ и сердце у него хорошия, — это все, что нужно.

— Нѣтъ; а ты пресентиментальная особа, Аня,—начала, укладываясь въ постель, Дорушка. — У тебя все какъ бы такъ, чтобы и волкъ наѣлся, и овца бѣ была цѣлою.

— А, конечно, это всего лучше.

— Да, очень даже лучше, только, къ несчастію, вотъ досадно, что это невозможно. Ужъ ты повѣрь мнѣ, что его жена—волкъ, а онъ—овца. Въ немъ есть что-то такое до безпредѣльности мягкое, кроткое, этакое, знаешь, какъ будто жалкое, мужской умъ, чувства простыя и теплыя, а при всемъ этомъ онъ дитя,—правда?

— Да, кажется. Мнѣ и самой иногда очень жаль его почему-то.

— А, видишь! Мы—чужія ему, да намъ жаль его, а ей не жаль. Ну, что жъ это за женщина?

Анна Михайловна вздохнула.

— Страшный ты человѣкъ, Дора,—проговорила она послѣ минутнаго молчанія.

— Повѣрь, Аничка, — отвѣчала, приподнявшись съ подушки на локоть, Дора:—что вотъ этакое твое мягкосердечіе-то иной разъ можетъ заставить тебя сдѣлать болѣе несправедливости. А по-моему, лучше кого-нибудь спасать, чѣмъ надъ цѣлымъ свѣтомъ охать.

— Я живу сердцемъ, Дора, и, можетъ-быть, очень дурно увлекаюсь, но ужъ такая я родилась.

— А я развѣ не сердцемъ живу, Аня? — отвѣтила Дорушка и заслонила рукою свѣчку.

— А, вѣдь, онъ очень хорошъ, — сказала черезъ нѣсколько минутъ Дора.

— Да, у него довольно хорошее лицо, — тихо отвѣчала Анна Михайловна.

— Нѣтъ, онъ просто очаровательно хорошъ.

— Да, хорошъ, если хочешь.

— Какіе-то притягивающіе глаза, — произнесла послѣ короткой паузы Дора, шуря на огонь свои собственные глазки, и молча задула свѣчу.

— Люблю такія тихія, покорныя лица, — досказала она, ворочаясь впотьмахъ съ подушкой.

— Ну, что это, Дора, сто разъ повторить про одно и то же! Спи, сдѣлай милость, — отвѣчала ей Анна Михайловна.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Романъ чуть не прерывается въ самомъ началѣ.

Доходилъ второй мѣсяцъ знакомству Долинскаго съ Прохоровыми, и сестры стали собираться назадъ въ Россію. Долинскій помогать имъ въ ихъ сборахъ. Онъ сдалъ комиссіонеру всѣ покупки, которыя нужно было переслать Аннѣ Михайловнѣ черезъ всѣ таможенные мытарства въ Петербургъ; даже помогать имъ укладывать чемоданы; самъ направилился на разныя мелкія порученія и вообще разставался съ ними, какъ съ самыми добрыми и близкими друзьями, но безъ всякой особенной грусти, безъ горя и досады. Отношенія его къ обѣимъ сестрамъ были совершенно ровны и одинаковы. Если съ Дорушкой онъ себя чувствовалъ нѣсколько веселѣе и самъ оживлялся въ ея присутствіи, зато каждое слово, сказанное тихимъ и симпатическимъ голосомъ Анны Михайловны, вѣяло на него какимъ-то невозмутимымъ, святымъ покоемъ, и Долинскій чувствовалъ силу этого спокойнаго вліянія Анны Михайловны не менѣе, чѣмъ энергическую натуру Доры.

Дорушка не заводила болѣе рѣчи о бракѣ Долинскаго, и только разъ, при какомъ-то разсказѣ о бракѣ, совершившемся изъ благодарности, или изъ какого-то другого весьма почтеннаго, но безстрастнаго чувства, сказала, что это ужъ изъ рукъ вонъ глупо.

— Но благородно, — замѣтила сестра.

— Да, знаешь, ужъ именно до подлости благородно, до самоубійства.

— Самопожертвованіе!

— Нѣтъ, Аня, — глупость, а не самопожертвованіе. Изъ самопожертвованія можно дать отрубить себѣ руку, отказаться отъ наслѣдства, можно сдѣлать самую безумную вещь, на которую нужна минута, пять, десять... ну, даже хоть сутки, но хроническое самопожертвованіе на цѣлую жизнь, нѣтъ-съ, это невозможно. Вотъ вы, Несторъ Игнатьичъ, тоже не изъ состраданія ли женились? — отнеслась она къ Долинскому.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ Долинскій, стараясь сохранить на своемъ лицѣ какъ можно болѣе спокойствія.

Анна Михайловна и Дорушка обѣ пристально на него посмотрѣли.

— Пожалуй, что и да, мой батюшка; отъ него и это могло статься, — произнесла нѣсколько комическимъ тономъ Дора.

Долинскій самъ разсмѣялся и сказалъ:

— Нѣтъ, право, нѣтъ, я не такъ женился.

За день до отъѣзда сестеръ изъ Парижа, Долинскій принесъ къ нимъ нѣсколько эстамповъ, вложенныхъ въ папку и адресованныхъ: *Ильѣ Макаровичу Журавкѣ, по 11-й линіи, домъ Клемента.*

— Скажите, какой скромникъ! — воскликнула Дорушка, прочитавъ адресъ. — Скоро два мѣсяца знакомы и ни разу не сказалъ, что онъ знаетъ Илью Макаровича.

— Развѣ и вы его знаете?

— Кого? Журавку? это нашъ другъ, — отозвалась Анна Михайловна. — Я его кума, дѣтей его крестила. У насъ даже есть портреты его работы.

— Какъ же онъ мнѣ ничего не говорилъ о васъ?

— Изъ ревности, — вмѣшалась Дорушка. — Онъ, вѣдь, бѣдный Ильюша, влюбленъ въ Аню.

— Право?

— По уши.

Послѣдній день Долинскій провелъ у Прохоровыхъ съ самаго утра. Вмѣстѣ пообѣдавъ, они сѣли въ нѣсколько опустѣвшей комнатѣ, и всѣмъ имъ разомъ стало очень не-весело.

— Ну, помните, дитя мое, все, чему я васъ учила, — по-пугала Дорушка, глядя Долинскаго по головѣ.

— Слушаю-съ, — отвѣчалъ Долинскій.

— Не хандрите, работайте и самое главное—непремѣнно влюбитесь.

— Послѣдняго только, самаго-то главнаго, и не обѣщаю. Отчего?

— Смысла не вижу.

— Какой же вамъ надо смыслъ для любви? Развѣ любовь сама по себѣ не есть смыслъ,—смыслъ жизни.

— Я не могу любить, Дарья Михайловна, права не имѣю давать въ себѣ мѣста этому чувству.

— Это право принадлежить каждому живущему.

— Не совсѣмъ-съ. Напримѣръ, въ какой мѣрѣ можетъ пользоваться этимъ правомъ человѣкъ, обязанный жить и трудиться для своихъ дѣтей?

— А, такъ и эта прелесть есть въ вашемъ положеніи?

— У меня двое дѣтей.

— Да, это кое-что значить.

— Нѣтъ, это *очень много* значить, — отозвалась Анна Михайловна.

— Н-н-ну, не знаю, отчего такъ ужъ очень много. Можно любить и своихъ прежнихъ дѣтей, и женщину.

— Да, если бы любовь, которая, какъ вы говорите, сама по себѣ есть цѣль-то, или главный смыслъ нашей жизни, не налагала на насъ извѣстныхъ обязанностей.

— Что-то не совсѣмъ понятно.

— Очень просто! всей моей заботливости едва достааетъ для однихъ моихъ дѣтей, а если ее придется еще раздѣлить съ другими, то всѣмъ будетъ мало. Вотъ почему у меня и выходитъ, что нельзя любить, слѣдуетъ бѣжать отъ любви.

— Да это дико! это просто дико!

— И очень честно, очень благородно,—вмѣшалась Анна Михайловна.—Съ этой минуты, Несторъ Игнатьичъ, я васъ еще болѣе уважаю и радуюсь, что мы съ вами познакомились. Дора сама не знаетъ, что она говорить. Лучше одному тянуть свою жизнь, какъ ужъ Богъ ее устроилъ, нежели видѣть около себя кругомъ несчастныхъ, да слышать упреки, видѣть страдающія лица. Нѣтъ, Боже васъ спаси отъ этого!

— Нѣтъ, извините, господа, это вы-то, кажется, не знаете, что говорите! Любовь, деньги, обезпеченія... фу, какой противоестественный винегретъ! Все это очень умно,

звучно, чувствительно, а самое главное то, что все это *se sont des* пустяки. Кто ведетъ свои дѣла умно и рѣшительно, тотъ все это отлично уладить, а вы, милашечки мои, сами неудобъ какая-то, оттого такъ и разсуждаете.

— Дарья Михайловна смотритъ на все очень ужъ молодо, смѣло черезчуръ, снисходительно,—проговорилъ Долинскій, относясь къ Аннѣ Михайловнѣ.

— Крылышки у нея еще не помяты,—отвѣчала Анна Михайловна.

— Именно; а пуганая ворона, какъ говорить пословица, и куста боится.

— Вотъ, вотъ, вотъ! Это—самое лучшее средство разрѣшать себѣ все пословицами, то-есть чужимъ умомъ! Ну, и поздравляю васъ, и оставайтесь вы при своемъ, что *вороны куста боятся*, а я буду при томъ, что *соколу лѣсъ не страшенъ*. Вѣдь, это тоже пословица.

Долинскій простился съ Прохоровыми у вагона сѣверной желѣзной дороги и они дали слово иногда писать другъ другу.

— Прощайте, пуганая ворона!—крикнула изъ окна Дорошка, когда вагоны тронулись.

— Летите, летите, мой смѣлый соколъ.

Посмотрѣвъ вслѣдъ уносившемуся поѣзду, Долинскій обернулся, и въ эту минуту особенно тяжело почувствовалъ свое одиночество, почувствовалъ его сильнѣе, чѣмъ во всѣ протекшіе четыре года. Не тихая тоска, а какое-то зло на свое сиротство, желчная раздражительная скука охватила его со всѣхъ сторонъ. Онъ заѣхалъ на старую квартиру Прохоровыхъ, чтобы взять оставленные тамъ книги, и пустыя комнаты, которые мела француженка, окончательно его сдавили; ему стало еще хуже. Долинскій зашелъ въ кафе, выпилъ два грога и, возвратясь домой, заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Опять онъ оставался въ Парижѣ одинъ-одинѣшенекъ, утомленный, разбитый и безотрадно-смотрящій на свое будущее.

«Вернуться бы ужъ, что ли, самому въ Россію?» подумалъ онъ, лежа на другое утро въ постели.

«Да какъ вернуться? того гляди, исторію сдѣлаетъ. Нѣтъ ужъ,—размышлялъ онъ, переворачивая, по своему обыкновенію, каждый вопросъ со всѣхъ сторонъ:—нужно имѣть

надъ собою власть и мыкать здѣсь свое горе. Все же это достойнѣе, чѣмъ не устоять противъ скуки и опять рисковать попасться въ какую-нибудь гадкую исторію».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Дора знаетъ, что дѣлаетъ.

Такъ попрежнему скучно, тоскливо и одиноко прожилъ Долинскій еще полгода въ Парижѣ. Въ эти полгода онъ получилъ отъ Прохоровыхъ два или три малозначащія письма съ шутливыми приписками Ильи Макаровича Журавки. Письма эти радовали его, какъ доказательства, что тамъ, на Руси, у него все-таки есть люди, которые его помнятъ; но, читая эти письма, ему становилось еще грустнѣе, что онъ оторванъ отъ родины и, какъ изгнанникъ какой-нибудь, не смѣетъ въ нее возвратиться безъ опасенія для себя большихъ непріятностей.

Наконецъ, въ одинъ прекрасный день, Несторъ Игнатьевичъ получилъ письмо, которое сначала его поразило, а потомъ весьма порадовало и дало ему толчокъ, котораго давно ждала его робкая, нерѣшительная натура.

Письмо это сначала до конца было писано Доружкою, безъ всякой сторонней приписки.

«Несторъ Игнатьевичъ (писала Дора Долинскому)! Я никакъ не могу себя опредѣлить, очень умно или до крайности глупо я поступаю, что пишу къ вамъ это письмо; но не могу удержаться и все-таки пишу его. Когда я сказала моимъ и вашимъ друзьямъ, то-есть Анѣ и Ильѣ Макаровичу, что васъ непременно надо немедленно извѣстить о томъ, о чемъ вы теперь узнаете изъ этого письма, то они подняли такой гвалтъ, что съ ними не стоило спорить и приходилось бы отказаться отъ всякаго намѣренія посвятить васъ въ ваши же собственные дѣла. Но мой грѣшный разумъ и тайный голосъ моего сердца, которыхъ я привыкла слушаться, склонили меня къ преступленію противъ Ани и Ильи Макаровича. Я пишу вамъ это письмо тайно отъ нихъ и прошу васъ это хорошенько запомнить.

«Дѣло идетъ, конечно, о васъ и заключается въ томъ, что вашихъ дѣтей, на воспитаніе которыхъ вы высылаете деньги, уже четвертый годъ не существуетъ на свѣтѣ, а жена ваша тоже около года живетъ въ Эмсѣ съ старымъ

богачомъ, откупщикомъ Штульцемъ. Дѣти ваши почти обоимъ разомъ умерли отъ крупа, вскорѣ послѣ вашего отъѣзда изъ Москвы, а у вашей жены за границую родился новый ребенокъ, на котораго откупщикъ Штульцъ (какой-то задушевный пріятель родственниковъ вашей жены) далъ очень серьезную сумму. Говорятъ, что этою суммою на цѣлую жизнь прочно обезпечены и мать, и ребенокъ.

«Всѣ эти аккуратно и достоверно собранныя свѣдѣнія привезъ намъ Илья Макаровичъ, который на-дняхъ ѣздитъ въ Москву реставрировать какую-то вновь открытую изъ-подъ старой штукатурки допотопную фреску. Обстоятельства эти мнѣ показались очень важными для васъ, и я настаивала, чтобы извѣстить васъ обо всемъ этомъ подробно; но и сестра, а за нею и милѣйшій другъ нашъ Журавка завопили: «нельзя! невозможно! это все нужно исподволь, да другими путями, *чтобы не сразить* васъ и не попасть самимъ въ сплетники». Я не могла съ ними совладѣть, но и не могла съ ними согласиться, потому что все это, мнѣ кажется, должно имѣть для васъ очень большое и, по моему, не совсѣмъ грустное значеніе. А для того, чтобы на свѣтѣ не было сплетенъ, я думаю, самое лучшее дѣло—какъ можно болѣе сплетничать. Это одно только можетъ отучить людей распускать запечные слухи. Хочу думать, Несторъ Игнатьевичъ, что я васъ понимаю и не дѣлаю ошибки, посылая къ вамъ это конфиденціальное посланіе.

«Пребываю къ вамъ благосклонная

Дора».

PS. Нашъ независимый Илья Макаровичъ продолжаетъ все болѣе и болѣе терять независимость отъ своей Граціаллы и приходитъ къ намъ довольно рѣдко и то урывкомъ».

Въ отвѣтъ на это письмо Долинскій написалъ Дорѣ: «Вы прекрасно сдѣлали, Дарья Михайловна, что послушались самихъ себя и извѣстили меня о происшествіяхъ въ моей семьѣ. Сразить меня это никакъ не могло. Дѣтей, разумѣется, жалко, но если подумать, что ихъ могло ожидать при семейномъ разладѣ родителей, то, можетъ-быть, для нихъ самихъ лучше, что они умерли въ самые ранніе годы. А что касается до моей жены, то я былъ всегда увѣренъ, что она устроится самымъ лучшимъ и выгоднымъ для нея образомъ. Я очень радъ за нее и не сомнѣваюсь,

что она поведетъ свои дѣла прекрасно. Для меня же теперь исчезаютъ препятствія къ возвращенію на родину, и я черезъ мѣсяцъ надѣюсь лично поблагодарить васъ за оказанную мнѣ услугу».

— Да ты, стало-быть, въ самомъ дѣлѣ, иногда знаешь, что дѣлаешь,—сказала Анна Михайловна, когда Дора, получивъ письмо Долинскаго, сама открыла свой секретъ.

Не прошло и мѣсяца, какъ одинъ разъ, густыми осенними сумерками, Журавка влѣзъ въ маленькую столовую Анны Михайловны, гдѣ сидѣли хозяйка и Дора, и закричалъ:

— Неудобъ наше пріѣхало.

— Долинскій! Гдѣ жъ онъ?—спросили вмѣстѣ обѣ сестры.

Въ эту же минуту въ темной рамѣ дверей показалась фигура безъ облика; но, взглянувъ на эту фигуру, и Дорушка, и Анна Михайловна разомъ закричали: «Несторъ Игнатьевичъ, это вы?»

— Я, Анна Михайловна, — отвѣчалъ Долинскій, цѣлуя руки обѣихъ сестеръ.

— Когда пріѣхали?

— Сегодня въ четыре часа.

— А теперь шесть; это очень мило, — похвалила Дорушка. — А мы васъ здѣсь, знаете, какъ прозвали? «Неудобъ».

Долинскій махнулъ рукой и сказалъ:

— Ужъ это хоть не спрашивай — Дарья Михайловна выдумала.

— Пф! сразу, шельмецъ, узналъ, — воскликнулъ Журавка, и тотчасъ же, нагнувшись къ уху Анны Михайловны, прошепталъ:

— Вы намъ, кумушка, чаинка дадите, а я тѣмъ часомъ тутъ слетаю; всего на одну минуточку слетаю и ворочусь; дѣлишко есть у Пяти Угловъ.

— Летите, летите, — отвѣчала ему Анна Михайловна, и художникъ юркнулъ.

Обѣ хозяйки были необыкновенно радушны съ Долинскимъ. Онъ его внимательно разспрашивали, какъ ему жилось, что онъ думалъ, что видѣлъ?

Долинскій давно не чувствовалъ себя такъ хорошо: словно онъ къ самымъ добрымъ, къ самымъ теплымъ роднымъ пріѣхалъ. Подали свѣчи и самоваръ; Дорушка сѣла за чай, а Анна Михайловна повела Долинскаго показать ему свою квартиру.

Квартира Анны Михайловны помѣщалась въ одномъ изъ лучшихъ домовъ на Владимірскомъ проспектѣ. Эта квартира состояла изъ шести прекрасныхъ комнатъ въ бельэтажѣ, съ параднѣйшимъ подъѣздомъ съ улицы. Самая большая комната съ подъѣзда была занята магазиномъ. Здѣсь стояли шкапы, шифоньерки, подставки и два огромныхъ, дорогихъ трюмо. За большимъ орѣховымъ шкапомъ, устроеннымъ по размѣрамъ этой комнаты и раздѣлявшимъ ее на двѣ ровныя половины, помѣщался длинный липовый столъ и около него шесть или восемь такихъ же чистенькихъ, некрашенныхъ, липовыхъ табуреточекъ. Половина этого отдѣленія комнаты была еще разъ передѣлена драпировкою изъ зеленого коленкора, за которою стояли три кровати, закрытыя недорогими, сѣрыми, байковыми одѣялами. Здѣсь была спальня трехъ небольшихъ дѣвочекъ, отданныхъ ихъ родными Аннѣ Михайловнѣ для обученія мастерству. Когда Анна Михайловна ввела за собою своего гостя въ это зашкапное отдѣленіе, на Долинскаго чрезвычайно благопріятно подѣйствовала представившаяся ему картина. Надъ чистымъ липовымъ столомъ, заваленнымъ кучею тюля, газа, лентъ и матерій, висѣла огромная мѣдная лампа, освѣщавшая весь столъ. За столомъ, на табуреткахъ, сидѣли четыре очень опрятныя, миловидныя дѣвушки и три дѣвочки, одѣтыя, какъ институтки, въ одинаковыя люстриновыя платья съ бѣлыми передниками. Въ одномъ концѣ стола, на легкомъ деревянномъ креслѣ съ рѣшетчатою деревянною спинкой, сидѣла небольшая женская фигурка съ взбитымъ хохломъ и чертообразными мохрами напередѣ сѣтки.

— Это моя помощница, *mademoiselle Alexandrine*, — отрекомендовала Анна Михайловна эту фигурку Долинскому.

Mademoiselle Alexandrine тотчасъ же, очень ловко и съ большимъ достоинствомъ, удостоила Долинскаго легкаго поклона, и такъ произнесла свое *bonsoir, monsieur*, что Долинскій не вообразилъ себя въ Парижѣ только потому, что глаза его въ эту минуту остановились на невозможныхъ архитектурныхъ украшеніяхъ трехъ другихъ дѣвушекъ, очевидно стремившихся, во что бы то ни стало, не только догнать, но и далеко превзойти и хохоль, и чертообразность сѣтки, всегда столь ненавистной русской швеѣ «фран-

цуженки». Дѣвочки были острижены въ кружокъ и не могли усвоить себѣ заманчивой прически; но у одной изъ нихъ волосѣнки на лбу были подрѣзаны и торчали, какъ у самаго благочестиваго раскольника. Это постриженіе надъ нею совершила Дора, чтобы освободить молодую русскую франтиху отъ воска, съ помощію котораго она старалась выстроить себѣ французскій хохоль на остриженной головкѣ. Въ другомъ концѣ стола, противъ кресла, на которомъ сидѣла *mademoiselle Alexandrine*, стояло точно такое же другое пустое кресло. Это было мѣсто Доры. Никакихъ атрибутовъ старшинства и превосходства не было замѣтно возлѣ этого мѣста, даже подножная скамейка возлѣ него стояла простая, деревянная, точно такая же скамейка, какія стояли подъ ногами дѣвушекъ и ученицъ. Единственное преимущество этого мѣста заключалось въ томъ, что прямо противъ него, надъ чернымъ карнизомъ драпировки, отдѣлявшей спальню дѣвочекъ, помѣщались довольно большіе часы въ черной деревянной рамкѣ. По этимъ часамъ Даша вела рабочій порядокъ мастерской. Сестра Анны Михайловны не любила высказывать по дверному звонку и торчать въ магазинѣ, что, напротивъ, очень нравилось *mademoiselle Alexandrine*. Поэтому, продажею и пріемомъ заказовъ преимущественно завѣдывала французенка и сама Анна Михайловна, а Дора сидѣла за рабочимъ столомъ и дирижировала работою, и выходила въ магазинъ только въ крайнихъ случаяхъ, такъ сказать, на особенно важные консиліумы. На ея же попеченіи были и три ученицы. Она не только имѣла за ними главный общій надзоръ, но она же наблюдала за тѣмъ, чтобы эти оторванные отъ семьи дѣти не терпѣли много отъ грубости и невѣжества другихъ женщинъ, по натурѣ хотя и не злыхъ, но утратившихъ подъ ударами чужого невѣжества всю собственную мягкость. Кромѣ того, Дора, по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ, учила этихъ дѣвочекъ грамотѣ, счисленію и рассказывала имъ, какъ умѣла, о Богѣ, о людяхъ, объ исторіи и природѣ. Дѣвочки боготворили Дарью Михайловну; взрослые мастерицы тоже очень ее любили и довѣряли ей всѣ свои тайны, требующія гораздо большаго секрета и вниманія, чѣмъ мистериі иной свѣтской дамы, или тайны тѣхъ безплотныхъ нимфъ, которыя «такъ непорочны, такъ умны и такъ благочестія полны», что какъ мелкіе потоки текутъ въ боль-

шую рѣку, такъ и онѣ катятся неуклонно въ одну великую тайну: добыть себѣ во что бы то ни стало богатаго мужа и роскошно пресыщаться всѣми благами жизненнаго пира, бросая честному труду обглоданную кость и презрительное снисхожденіе. Изъ четырехъ дѣвушекъ этой мастерской особеннымъ расположеніемъ Доры пользовалась Анна Анисимовна. Это была та единственная дѣвушка, у которой надо лбомъ не было французскаго хохла. Аннѣ Анисимовнѣ было отъ роду лѣтъ двадцать восемь; она была высокая и довольно полная, но весьма граціозная блондинка, съ голубыми, рано померкшими глазами и характерными углами губъ, которыя, въ сочетаніи съ немного выдающимся подбородкомъ, придавали ея лицу выраженіе твердое, честное и рѣшительное. Анна Анисимовна родилась крѣпостною дѣвочкою, выучена швейному мастерству на Кузнецкомъ мосту въ Москвѣ и отпущена своею молодою барыней на волю. Имѣя девятнадцать лѣтъ, она совсѣмъ близко познакомилась съ однимъ молодымъ, заматавшимся купеческимъ сыномъ и мѣсяца черезъ два приняла своего милаго въ свою маленькую комнатку, которую нанимала неподалеку отъ магазина, гдѣ работала. Три года она работала безъ отдыха, что называется, не покладывая рукъ, денно и нощно. Въ эти три года Богъ далъ ей трехъ дѣтей. Анна Анисимовна кормила и дѣтей, и любовника, и ни на что не жаловалась. Наконецъ, кончилъ ея милый курсъ покаянія, получилъ радостное извѣстіе о смерти самодура-отца и удралъ, обѣщая Аннѣ Анисимовнѣ не забывать ее за хлѣбъ и соль, за любовь вѣрную и за дружбу. О женитьбѣ, или хотя о чемъ-нибудь другомъ существеннѣе словесной благодарности, и рѣчи не было. Анна Анисимовна сама тоже не сказала ни о чемъ подобномъ ни слова. Приходили съ тѣхъ поръ Аннѣ Анисимовнѣ не разъ крутыя времена съ тремя дѣтьми, и знала Анна Анисимовна, что забывшій ее милый живетъ богато, губернаторовъ принимаетъ, чуть пару въ банѣ шампанскимъ не поддаетъ, но никогда ни за что она не хотѣла ему напомнить ни о дѣтяхъ, ни о старомъ долгѣ. «Самъ не помнить, такъ и не надо; значить, совѣсти нѣтъ», говорила она, и еще сильнѣе разрывалась надъ работою, которою и питала, и обогрѣвала дѣтей своею отверженной любви. Просила у Анны Анисимовны одного ея мальчика въ сыновья бездѣтная купеческая семья, обѣ-

щала сдѣлать его наслѣдникомъ всего своего состоянія— Анна Анисимовна не отдала.

— Счастье у своего ребенка отнимаете, — говорили ей дѣвушки.

— Ничего, — отвѣчала Анна Анисимовна: — зато совѣсти не отниму; не выучу бѣдныхъ дѣвушекъ обманывать, да дѣтей своихъ пускать по-міру.

Этой Аннѣ Анисимовнѣ Дорушка оказывала наибѣйшее уваженіе и своимъ примѣромъ заставляла другихъ уважать.

Мертвая блѣдность нѣкогда прекраснаго, рано отцвѣтшаго лица и крайняя простота наряда этой дѣвушки невольно остановили на себѣ мимолетное вниманіе Долинскаго, когда изъ противоположныхъ дверей вошла съ свѣчою въ рукахъ Дорушка и спросила:

— Правда, хорошо у насъ, Несторъ Игнатьичъ?

— Прекрасно, — отвѣтилъ Долинскій.

— Вотъ, тамъ мой тронъ, или, лучше сказать, мое президентское мѣсто; а это все моя республика. Аня вѣрно уже познакомила васъ съ *mademoiselle Alexandrine*?

Долинскій отвѣчалъ утвердительно.

— Ну, а я еще познакомлю васъ съ прочими: это—Полинька; видите, она у насъ совсѣмъ перфская красна-дѣвица, и если у васъ есть хоть одна капля вкуса, то вы въ этомъ должны со мною согласиться; Полинька, нечего, нечего закрываться! Сама очень хорошо знаешь, что ты красавица. Это, — продолжала Дора: — это Оля и Маша, отличающіяся замѣчательною неразрывностью своей дружбы и потому называемыя «симпатичными попугаями» (дѣвушки засмѣялись); это все мелкота, пока еще не успѣвшая ничѣмъ отличиться, — сказала она, указывая на маленькихъ дѣвочекъ: — а это Анна Анисимовна, которую мы всѣ уважаемъ и которую совѣтую уважать и вамъ. Она—самый честный человѣкъ, котораго я знаю.

Долинскій нѣсколько смѣялся и протянулъ Аннѣ Анисимовнѣ руку; дѣвушка торопливо положила на столъ свою работу и съ неловкою застѣнчивостью подала Долинскому свою исколотую иглою руку.

— Ну, пойдемте дальше теперь, — позвала Анна Михайловна.

Хозяйка и гость вышли за двери, которыми за минуту

вошла Дора, и вслѣдъ за ними изъ мастерской послышался дружный, веселый смѣхъ нѣсколькихъ голосовъ.

— Ужасныя сороки и хохотушки,—проговорила, идя-впередъ со свѣчою, Дорушка:—а зато народъ все прейскренній и пресердечный.

Тотчасъ за мастерскою у Анны Михайловны шель небольшой коридоръ, въ одномъ концѣ котораго была кухня и черный ходъ на дворъ, а въ другомъ двѣ большія, свѣтлыя комнаты, которыя Анна Михайловна хотѣла кому-нибудь отдать, чтобы облегчить себѣ плату за весьма дорогую квартиру. Посрединѣ коридора была дверь, которою входили въ ту самую столовую, куда Журавка ввела сумерками къ хозяйкамъ Долинскаго. Эта комната служила сестрамъ въ одно и то же время и залой, и гостиною, и столовой. Въ ней были четыре двери: одна, какъ сказано, вела въ коридоръ; другая—въ одну изъ комнатъ, назначенныхъ внаймы, третья—въ спальню Анны Михайловны, а четвертая—въ уютную комнату Доры. Вся квартира была меблирована не роскошно и не бѣдно, но съ большимъ вкусомъ и комфортно. Все здѣсь давало чувствовать, что хозяйки устраивались тутъ для того, чтобы жить, а не для того, чтобы принимать гостей и заботиться выказываться предъ ними съ какой-нибудь изящной стороны. Это жилье дышало тою спокойною простотою, которая сразу даетъ себя чувствовать и которую, къ сожалѣнію, все рѣже и рѣже случается встрѣчать въ наше суетливое и суетное время.

— Очень хорошо у насъ, Несторъ Игнатьевичъ?—спрашивала Дора, когда всѣ усѣлись за чай.

— Очень хорошо,—соглашался съ нею Долинскій.

Здѣсь нѣтъ мебели богатой,
Нѣтъ ни бронзы, ни картинъ,
И хозяинъ, слава Богу,
Здѣсь не знатный господинъ —

проговорила Дора и съ послѣдними словами сердечно поцѣловала свою сестру.

— Дорого только,—сказала Анна Михайловна.

— Э! полно, пожалуйста, жаловаться. Отдадимъ двѣ комнаты, такъ вовсе не будетъ дорого. За эти комнаты всякій охотно дастъ триста рублей въ годъ.

— Это даже дешево,—сказалъ Долинскій.

— Но вѣдь подите же съ нами! — говорила Дора. — На-

няли квартиру съ тѣмъ, чтобы кому-нибудь эти двѣ комнаты уступить, а перешли сюда, и баста; вотъ третій мѣсяцъ не можемъ рѣшиться. Мужчинѣ боимся, женщинѣ еще болѣе, а дѣти на наше горе не нанимаютъ; ну, кто же намъ виновать, скажите пожалуйста?

— Ты,—отвѣчала Анна Михайловна:—сбила меня. Послушалась ее, наняла эту квартиру; правда, она очень хороша, но велика совсѣмъ для насъ.

Изъ коридора показался Илья Макаровичъ.

— А какъ вы, люди, мыслите? Я... какъ бы это вамъ помудренѣе выразиться?—началь, входя, художникъ.

— Крошечку выпилъ,—подсказала Дора.

— Да-съ... въ этомъ въ самомъ густѣ.

— Объ этомъ и говорить не стоило,—сказала, разсмѣявшись, Дора.

Всѣ взглянули на Илью Макаровича, у котораго на щекахъ пылалъ румянецъ и волосы слиплись на потномъ челѣ.

— Нельзя, Несторка пріѣхалъ, — проговорилъ, икнувъ, Журавка.

— Никакъ нельзя,—поддержала серьезно Дора.

Всѣ еще болѣе засмѣялись.

— Да ужъ такъ-съ!—ленеталъ художникъ.—Вы сдѣлайте милость... не того-съ... не острите. Я иду, бацъ на уголѣ этакій каламбуръ.

— Хорошій человѣкъ встрѣчается,—сказала Дора.

— Да-съ, именно хорошій человѣкъ встрѣчается и...

— И говоритъ, давай, говоритъ, выпьемъ! — снова подсказала Дора.

— И совсѣмъ не то! Денкера приказчикъ, это... — Журавка икнулъ и продолжалъ: — Денкера приказчикъ, говорить, просилъ тебя привезти къ нему; портретченко, говорить, жены хочеть тебѣ заказать. Ну, вѣдь, волка, я думаю, ножки кормятъ; такъ это я говорю?

— Такъ.

— Я, разумѣется, и пошелъ.

— И, разумѣется, выпилъ.

— Ну, и выпили, и работу взялъ. Вѣдь нельзя же!.. А тутъ вспомнилъ, Несторка тутъ меня ждетъ! Другъ, говорю, ко мнѣ пріѣхалъ неожиданно; позвольте, говорю, мнѣ въ долгъ пару бутылъchenокъ шампанскаго. И ужъ извините,

кумушка, двѣ бутылочки мы разопьемъ! Вотъ онѣ, канашки французскія! — воскликнулъ Журавка, торжественно вынимая изъ-подъ пальто двѣ засмоленные бутылки.

Всѣ глядѣли, посмѣиваясь, на Илью Макаровича, на лицѣ котораго выражалось полнѣйшее блаженство опьянѣнія.

— Хорошаго, должно быть, о васъ мнѣнія остался этотъ Денкеревъ приказчикъ, — говорила Дора.

— А что же такое?

— Ничего; пришелъ говорить о заказѣ, сейчасъ натянулся и еще въ долгъ пару бутылоченокъ выпросилъ.

— Да, двѣ; и вотъ онѣ здѣсь; вонъ онѣ, заморскія, засмоленные... Нельзя, Дарья Михайловна! Вы еще молоды; вы еще писанія не понимаете.

— Нѣтъ, понимаю, — шутила Дора. — Я понимаю, что дома вамъ нельзя, такъ вы вотъ...

— Тсс! тс, тс, тс... нѣтъ, ей-Богу же для Несторки. Несторка... вамъ вѣдь онъ ничего, а мнѣ онъ другъ.

— И намъ другъ.

— Ну, нѣтъ-съ, вы погодите еще! Я его отъ бѣды, отъ чорта оторвалъ, а вы... нѣтъ... вы...

— «А вы... нѣтъ... вы», — передразнила, смѣшно криляясь, Дора и добавила: — совсѣмъ пьянъ, голубчикъ!

— А это развѣ худо, худо? Ну, я и на то согласенъ; на то я художникъ, чтобъ все худое дѣлать. Правда, Несторъ Игнатьичъ? Канашка ты, шельмецъ ты!

Журавка обнялъ и поцѣловалъ Долинскаго.

— Вотъ видишь, — говорилъ, освобождаясь изъ дружескихъ объятий, Долинскій: — теперь толкуешь о дружбѣ, а какъ я совсѣмъ разбитый ѣхалъ въ Парижъ, такъ, небось, не вздумалъ меня познакомить съ Анной Михайловной и съ mademoiselle Дорой.

— Не хотѣлъ, братишка, не хотѣлъ; тебѣ было нужно тогда уединеніе.

— Уединеніе! Все вздоръ, вретъ, просто отъ ревности не хотѣлъ васъ знакомить съ нами, — разбивала художника Дора.

— Отъ ревности? Ну, а отъ ревности, такъ и отъ ревности. Вы это навѣрное знаете, что я отъ ревности его не хотѣлъ знакомить?

— Навѣрное.

— Ну, и очень прикрасно, пусть такъ и будетъ,—отвѣчалъ художникъ, налегая на букву и въ умышленно портимомъ словѣ прекрасно.

— Да, и очень прикрасно, а мы вотъ теперь съ Несторомъ Игнатычемъ вмѣстѣ жить будемъ,—сказала Дора.

— Какъ это вмѣстѣ жить будете?

— Такъ; Аня отдаетъ ему тѣ двѣ комнаты.

— Да вы это со мною шутите, смѣетесь, или просто говорите?—вопросилъ съ эффектомъ Журавка.

— А вотъ отгадайте?

— Я и съ своей стороны спрошу васъ, Дарья Михайловна, вы это шутите, смѣетесь, или просто говорите? — сказала Долинскій.

Изъ шутки вышло такъ, что Анна Михайловна, послѣ нѣкотораго замѣшательства и нѣсколькихъ минутъ колебанья, уступила просьбѣ Долинскаго и въ самомъ дѣлѣ отдала ему свои двѣ свободныя комнаты.

— И очень прикрасно! — возглашалъ художникъ, когда переговоры кончились въ пользу перехода Долинскаго къ Прохоровымъ.

— А прикрасно, — говорила Дора: — по крайней мѣрѣ, будетъ хоть съ кѣмъ въ театръ пойти.

— Прикрасно, прикрасно,—отвѣчалъ Журавка шутя, но съ тѣнью нѣкоторой, хотя и легкой, но худо скрытой досады.

Послѣ уничтоженія принесенныхъ Ильею Макаровичемъ двухъ бутылеченокъ, онъ началъ высказываться нѣсколько яснѣе:

— Если бъ я былъ холостой, — заговорилъ онъ: — ужъ тебѣ бъ, братишку, тутъ не жить.

— Да вы же развѣ женаты?

— Пфъ! не женаты! да вѣдь я же ей вексель выдалъ.

Этого событія между Ильею Макаровичемъ и его Граціалю до сихъ поръ никто не вѣдалъ. Извѣстно было только, что Илья Макаровичъ былъ помѣшанъ на свободѣ любовныхъ отношеній и на итальяночкахъ. Счастливый случай свелъ его, гдѣ-то въ Неаполѣ, съ довольно безобразной синьорой Луизой, которую онъ привезъ съ собою въ Россію, и долго не переставалъ кстати и некстати кричать о ея художественныхъ талантахъ и страстной къ нему привязанности. Поэтому извѣстіе о векселѣ, взятомъ съ него итальянкою, заставило всѣхъ очень смѣяться.

— Фу, Боже мой! да вѣдь это только для того, чтобъ я не женился,—оправдывался художникъ.

Дорогою, по пути къ Васильевскому острову, Журавка все твердила Долинскому:

— Ты только смотри, Несторъ... ты, я знаю... ты человѣкъ честный...

— Ну, ну, говори яснѣе,—требовалъ Долинскій.

— Онъ... вѣдь это я тебѣ говорю... пфъ! это божественныя души!.. чистота, искренность... довѣрчивость...

— Да ну, что ты сказать-то хочешь?

— Не... обезпокой какъ-нибудь, не оскорби.

— Полно, пожалуйста.

— Не скомпрометируй.

— Ну, ты, я вижу, въ самомъ дѣлѣ пьянъ.

— Это, другъ, ничего, пьянъ я, или не пьянъ—это мое дѣло; пьянъ да уменъ, два угодыя въ немъ, а ты имъ... братомъ будь. Минутъ пять пріатели проѣхали молча, и Журавка опять началъ:

— Потому что, что жъ хорошаго...

— Фу, надоѣлъ совсѣмъ! что я самъ будто не знаю, — отговорился Долинскій.

— А знаешь, братъ, такъ и помни. Помни, что кто за довѣріе заплатитъ не хорошо, тотъ подлецъ, Несторъ Игнатьичъ.

— Подлецъ, Илья Макаровичъ,—шутя отвѣчалъ Долинскій.

Оба пріателя весело разсмѣялись и распростились у гостиныцы, тотчасъ за Николаевскимъ мостомъ.

На другой день, часу въ двѣнадцатомъ, Долинскій переѣхалъ къ Прохоровымъ и прочно водворился у нихъ на жительство.

— Вчера Илья Макаровичъ цѣлую дорогу все читалъ мнѣ нотацию, какъ я долженъ жить у васъ,—разсказывалъ за вечернимъ чаемъ Долинскій.

— Онъ большой нашъ другъ и, къ несчастію его, совершенно слѣпой Аргусъ,—отвѣчала Дора.

— Онъ рѣдкій человѣкъ и любить насъ чрезмѣрно, — проговорила Анна Михайловна.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Пансіонеръ.

Несторъ Игнатьевичъ зажилъ такъ, какъ еще не жилось ему ни одного дня съ самаго выхода изъ отцовскаго дома. Постоянная внутренняя тревога и недовольство и собою, и

всѣмъ окружающимъ, совершенно его оставили въ домѣ Анны Михайловны. Аккуратный какъ часы, но необременительный, какъ несносная дисциплина, порядокъ въ жизни его хозяекъ возвратилъ Долинскаго къ своевременному труду, который смѣнялся своевременнымъ отдыхомъ и возможными удовольствіями. Всякій день неизмѣнно, въ восемь часовъ утра, ему приносили въ его комнату стаканъ кофе со свѣжею булкою; въ два часа Доружка звала его въ столовую, гдѣ былъ приготовленъ легкій завтракъ, потомъ онъ проходилъ съ Дорою (которой была необходима прогулка) отъ Владимірской до Адмиралтейства и назадъ; въ пять часовъ садились за столъ, въ восемь пили вечерній чай и въ двѣнадцать ровно расходились по своимъ комнатамъ.

Въ недѣлю раза два Долинскій съ Дорою бывали въ театрѣ. Дни у нихъ проходили за дѣломъ, но вечерами они не отказывали себѣ въ роздыхъ и нѣкоторыхъ удовольствіяхъ. Жизнь шла живо, ровно, безъ скуки, безъ задержки.

Пансіонеръ совершенно привыкъ къ порядкамъ своего пансіона и удивлялся, какъ могъ онъ жить иначе столько лѣтъ сряду!

Со смертію своей благочестивой матери, Несторъ Игнатьевичъ разлучился съ стройною домашнею жизнью. Жизнь у дяди, въ которой поверхъ всего плавало и все застилало собою эгонистическое самовластіе его тетки, оставила въ немъ одни тяжелыя воспоминанія. Воспоминанія о семейной жизни съ женою и тещею, уничтожившими своею требовательностію всякую его свободу и обращавшими его въ раба жениной суетности и своекорыстія, были еще отвратительнѣе. Съ тѣхъ поръ Несторъ Игнатьевичъ велъ студенческую жизнь въ Латинскомъ кварталѣ Парижа, то-есть жилъ бездомовникомъ и отличался отъ прочихъ, истинныхъ студентовъ только развѣ тѣмъ, что немножко чаще ихъ просиживалъ вечера дома за книгою и рѣже таскался по ресторанамъ, кафе и баламъ Прадо. Впрочемъ, не смотря на это, Несторъ Игнатьевичъ все-таки совсѣмъ отучился во время встать, во-время лечь и въ свое время погулять. Обращать свѣтлый день въ скучную ночь, и скучную ночь въ бѣдный радостями день для него не составляло ничего необыкновеннаго. Онъ зналъ, что ему будетъ скучно на балѣ, потому что всѣ удовольствія этого бала можно было всегда

разсказать впередъ — и все-таки онъ шелъ отъ скуки на балъ и отъ скуки зѣвалъ здѣсь, пока не пустѣла зала. Отъ скуки онъ валялся въ постели до самаго вечера; между тѣмъ позарѣзъ нужно было изготовить срочную корреспонденцію, и потомъ вдругъ садился, читать листы различныхъ газетъ, брошюръ и работалъ напролетъ цѣлыя ночи. Огромный расходъ силъ и постоянная тревога, происходящая оттого, что работа врывалась въ сроки отдыха, а отдыху посвящалось время труда, вовсе не обращали на себя вниманія Долинскаго.

— Все равно, какъ ни живи,—все скучно,—говаривалъ онъ себѣ, когда нестройность жизни напоминала ему о себѣ утомленіемъ, расстройствомъ нервной системы, или неудачею догнать бесполезно потерянное время въ работѣ.

Телерь онъ не могъ надивиться, какъ въ былое время у него недоставало досуга написать въ недѣлю двухъ довольно короткихъ корреспонденцій, когда нынче онъ свободно велъ порученный ему цѣлый отдѣлъ газеты и на все это не требовалось ни одной безсонной ночи. Несторъ Игнатьевичъ не только успѣвалъ кончить все къ шести часамъ вечера, когда къ нему приходилъ разсылный изъ редакціи, но даже и изъ этого времени у него почти всегда оставалось нѣсколько свободныхъ часовъ, которые онъ могъ употребить по своему произволу. Съ шести часовъ онъ обыкновенно сидѣлъ въ столовой и что-нибудь читалъ своимъ хозяйкамъ. Анна Михайловна любила чтеніе, хотя въ послѣднее время за хлопотами и недосугами читала далеко меньше, чѣмъ Дора. Эта перечитала Богъ-знаетъ сколько и, обладая неимовѣрною памятью, обо всемъ имѣла собственное, иногда не совсѣмъ вѣрное, но всегда вполне независимое мнѣніе.

Гостей у Анны Михайловны и у Дорушки бывало немного; даже можно сказать, что, кромѣ Ильи Макаровича, у нихъ почти никто не бывалъ, но къ Долинскому кое-кто таки-навертывался, особенно изъ газетчиковъ. По семейному образу жизни, который Долинскій велъ у Прохоровыхъ, его знакомые незамѣтнымъ образомъ становились и знакомыми его хозяйкѣ. Газетчики для Дорушки были народъ совершенно новый и она очень охотно съ ними знакомилась, но потомъ еще скорѣе начинала тяготиться этимъ знакомствомъ и старалась отъ нихъ отдѣливаться. Особенною ея антипа-

тією были два молодые газетчика: Спиридонъ Меркуловичъ Вырвичъ и Иванъ Ивановичъ Шпандорчукъ. Это были люди того нехитраго разбора, который въ настоящее время не представляетъ уже никакого интереса. Нынче на нихъ смотрятъ съ тѣмъ же равнодушіемъ, съ какимъ смотрятъ на догорающій домъ, около котораго обломаны всѣ постройки и огонь ничему по сосѣдству сообщить не можетъ; но было другое, *старое* время, года три-четыре назадъ, когда и у насъ въ Петербургѣ и даже частію въ просторной Москвѣ на Неглинной безъ этихъ людей, какъ говорятъ, и вода не святилась. Было это доброе, простодушное время, когда въ извѣстныхъ слояхъ петербургскаго общества нельзя было повернуться, не сталкиваясь съ Шпандорчукомъ или Вырвичемъ, и когда многими нехитрыми людьми умъ и нравственные достоинства человѣка опредѣлялись тѣмъ, какъ этотъ человѣкъ относится къ Шпандорчукамъ и Вырвичамъ. Такое положеніе заставляетъ насъ нѣсколько оторваться отъ хода событій и представить читателямъ образцы, можетъ быть, весьма скудныхъ размѣровъ, выражающихъ отношеніе Доры, Анны Михайловны и Долинскаго къ этому рѣдкостному явленію петербургской цивилизаціи.

И Шпандорчукъ, и Вырвичъ въ существѣ были люди незлые и даже довольно добродушные, но недалекіе и безтактные. Оба они, прочитавъ извѣстный тургеневскій романъ, начали называть себя нигилистами. Дора тоже прочла этотъ романъ и при первомъ словѣ кетати сказала:

— Нѣтъ, вы совсѣмъ не нигилисты.

— Какъ это, Дарья Михайловна?

— Да такъ, не нигилисты, да и только.

— Какъ же, когда мы сами говоримъ вамъ, что мы въ Бога не вѣруемъ и мы нигилисты.

— Сами вы можете говорить, что вамъ угодно, а все-таки вы не то, что тутъ названо нигилистомъ.

— Такъ что же мы такое по-вашему?

— Богъ васъ, господа, знаетъ, что вы такое!

— Вотъ это-то и есть; вотъ такіе-то люди, какъ мы, и называются нигилистами.

— Знаете, по-моему, какъ называются такіе люди, какъ вы?—спросила, смѣясь, Дора.

— Нѣтъ, не знаемъ; скажите, пожалуйста.

— А не будете сердиться?

— Сердиться глупо. Всякая свобода — нашъ первый принципъ.

— Такъ видите ли, такіе люди, какъ вы, называются *скучные люди*.

— А! а вамъ веселья хочется.

— Да не веселья, но помилуйте, что же это цѣлую жизнь сообщать, въ видѣ новостей, то, что каждому человѣку давно очень хорошо извѣстно: «А знаете ли, что мужикъ тоже человѣкъ? А знаете ли, что женщина тоже человѣкъ? А знаете ли, что богачи давятъ бѣдныхъ? А знаете ли, что человѣкъ долженъ быть свободенъ? Знаете ли, что цивилизація навдумывала пропасть здоровъ?» — Вѣдь это-жъ, согласитесь, скучно! Кто-жъ этого не знаетъ, и какой же умный человѣкъ со всѣмъ этимъ давно не согласенъ? И главное дѣло, что все-то вы насъ учите, учите... Право, даже страшно подумать, какіе мы, должно быть, всѣ умные скоро подѣлаемся! А въ самомъ-то дѣлѣ, все это—нуль; на все это жизнь дунетъ—и все это разлетѣлось; все выйдетъ совсѣмъ не такъ, какъ написано въ рецептѣ.

— Да вотъ, то-то и есть, Дарья Михайловна, что вы и сами выходите нигилистка.

— Я! Боже меня сохрани! — отвѣчала Дора, и какъ бы въ доказательство тотчасъ же перекрестилась.

— Да что же дурного быть нигилисткой?

— Ничего особенно дурного, и ничего особенно хорошаго, только на что мнѣ мундиръ? я не хочу его. Я хочу быть свободнымъ человѣкомъ, я не люблю зависимости.

— Да это и значить быть независимой. Вы сами не знаете, что говорите.

— Благодарю за любезность, но не вѣрю ей. Я очень хорошо знаю, что я такое. У меня есть совѣсть и, какой случился, свой царь въ головѣ, и, кромѣ ихъ, я ни отъ кого и ни отъ чего не хочу быть зависимой, — отвѣчала съ раздувающимися ноздрями Дора.

— Крайнее свободолубіе!

— Самое крайнее.

— Но можно найти еще крайнѣе.

— Напримѣръ, можно даже стать въ независимость отъ здраваго смысла.

— А что-жъ! Я, пожалуй, лучше соглашусь и на это! Лучше же быть независимой отъ здраваго смысла, и такъ

ужь и слыть дуракомъ или дурой, чѣмъ зависѣть отъ этихъ господъ, которые всѣхъ учать. Моя душа не дудка, и я не позволю на ней играть никому,—говорила она въ пылу горячихъ споровъ.

— Ну, а что же будетъ, если вы, въ самомъ дѣлѣ, наконецъ, станете независимы отъ здраваго смысла? — отвѣчали ей.

— Что? Свезутъ въ сумасшедшій домъ. Все же, говорю вамъ, это гораздо лучше, чѣмъ цѣлый вѣкъ слушать учителей, сбиться съ толку и сдѣлаться пѣшкой, которую, пожалуй, еще другіе, чего добраго, слушать станутъ. Я жизни слушаюсь.

— Да вѣдь странны вы, право! Теорію вѣдь жизнь же выработала,—убѣждали Дору.

— Нѣтъ-съ; ужь это извините, пожалуйста; этому я не вѣрю! Теорія—сочиненіе, а жизнь—жизнь. Жизнь—это то, что есть, и то, что всегда будетъ.

— Значить, у васъ человѣкъ—рабъ жизни?

— Извините, у меня такъ: думай что хочешь, а дѣлай что долженъ.

— А что же вы должны?

— Должна? Должна я прежде всего работать и какъ можно больше работать, а потомъ не мѣшать никому жить свободно, какъ ему хочется,—отвѣчала Дора.

— А не должны вы, напримѣръ, еще позаботиться о человѣческомъ счастьѣ?

— То-есть какъ же это о немъ позаботиться? Кому я могу доставить какое-нибудь счастье—я всегда очень рада; а всѣмъ, то-есть цѣлому человечеству, ничего не могу сдѣлать: ручки не доросли.

— Эхъ-съ, Дарья Михайловна! — ручки-то у всякаго доросли, да желанья мало.

— Не знаю-съ, не знаю. Для этого нужно очень много знать, вообще надо быть очень умнымъ, чтобъ не подѣлать еще худшей безтолочи.

— Такъ вы и рѣшаете быть въ сторонкѣ?

— Мимо чего пойду, то сдѣлаю — позволенія ни у кого просить не стану, а то, говорю вамъ, надо быть очень умной.

— Несторъ Игнатычъ! да полноте же, батюшка, отмалчиваться! Какія же, наконецъ, ваши на этотъ счетъ мнѣнія?—затягивали Долинскаго.

— Это, господа, вѣдь все вещи рѣшенныя: «ищите прежде всего царствія Божія и правды Его, а вся сія приложатся вамъ».

— Фу ты, какой онъ! Такъ отъ него и преть моралью! Что это за царствіе, и что это за правда?

— Правда? Внутренняя правда—*быть*, а не *казаться*.

— А царствіе?

— Да что-жъ вы меня разспрашиваете? Сами возрастъ имате; чтите и разумѣйте.

— Это о небѣ.

— Нѣтъ о землѣ.

— Обѣтованной, по которой потечетъ медъ и млеко?

— Да, конечно, обѣ обѣтованной, гдѣ нѣсть ни рабъ, ни свободъ, но всяческая и во всѣхъ одинъ духъ, одно желаніе любить другого, какъ самого себя.

— Я за васъ, Несторъ Игнатьичъ!—воскликнула Дора.

— Да и я, и я!—шумѣлъ Журавка.

«И я»,—говорили хорошіе глаза Анны Михайловны.

— Широко это, очень широко, батюшка Несторъ Игнатьичъ,—замѣчалъ Вырвичъ.

— Да какъ же вы хотите, чтобы такая міровая идея была узка, чтобы она, такъ сказать, въ аптечную корбочку, что ли, укладывалась?

— То-то вотъ отъ ширины-то ея ей и не удастся до сихъ поръ воплотиться-то; а вы поуже, пояснѣе формулируйте.

— Да любви мало-съ. Вы говорите: идея не воплощается до сихъ поръ потому, что она очень широка, а посмотрите, не оттого ли она не воплощается, что любви нѣтъ, что все и во имя любви-то дѣлается безъ любви вовсе.

Дорушка заплескала ладонями.

Эти споры Доры съ Вырвичемъ и съ Шпандорчукомъ обыкновенно затягивались долго. Дора давно терпѣть не могла этихъ споровъ, но, по своей страстной натурѣ, все-таки опять увлекалась и опять при первой встрѣчѣ готова была спорить снова. Шпандорчукъ и Вырвичъ тоже не упускали случая сказать ей нарочно что-нибудь почуднѣй и снова втянуть Дорушку въ споры. За глаза же они надъ ней посмѣивались и называли ее «*философствующей воздержкой*».

Дора съ своей стороны тоже была о нихъ не очень выгоднаго мнѣнія.

— Что это за люди? — говорила она Долинскому: — все

вычитанное, все чужое, взятое напрокатъ, и своего рѣшительно ничего.

— Да чего вы на нихъ сердитесь? Они сколько видѣли, сколько слышали, столько и говорятъ. Все ихъ несчастье въ томъ, что они мало знаютъ жизнь, мало видѣли.

— И еще меньше думали.

— Ну, думать-то они, пожалуй, и думаютъ.

— Такъ какъ же ни до чего путнаго не додумаются?

— Да вѣдь это... Ахъ, Дарья Михайловна, и вы-то еще мало знаете людей!

— Это и не удивительно; но удивительно, какъ они другихъ учатъ, а сами какъ дѣти лепечутъ! Я, по крайней мѣрѣ, нигдѣ не видная и ничего не знающая человѣчица, а вѣдь это... видите... разсуждаютъ совсѣмъ будто какъ большіе!

Долинскій и Дора вмѣстѣ засмѣялись.

— Нѣтъ, а вы вотъ что, Несторъ Игнатьичъ, даромъ что вы такой тихоня, а прехитрый вы человѣкъ. Что вы никогда почти не хотите меня поддержать передъ ними? — говорила Дора.

— Да не въ чемъ-съ, когда вы и сами съ ними справляетесь. Я бы вѣдь такъ не соспорилъ, какъ вы.

— Отчего это?

— Да оттого, что за охота съ ними спорить? Вы вѣдь ихъ ничѣмъ не урезоните.

— Ну-съ?

— Ну-съ, такъ и говорить не стоитъ. Что мнѣ за радость открывать передъ ними свою душу! Для меня что очень дорого, то для нихъ ничего; васъ вотъ все это занимаетъ серьезно, а имъ лишь бы слова выпускать; вы убѣждаетесь или разубѣждаетесь въ чемъ-нибудь, — а они много-что если зарядятся какимъ-нибудь впечатлѣніемъ, а то все такъ...

— Это, выходитъ, значитъ, что я глупо поступаю, споря съ ними?

Долинскій тихо улыбнулся.

— Ммм! какой любезный! — произнесла Дора, бросивъ ему въ лицо хлѣбнымъ шарикомъ.

— Вы думаете, что для нихъ ошибаться въ чемъ-нибудь — очень важная вещь? Жизни не будетъ стоить: скажетъ: *ошибся*, да и дѣло къ сторонѣ; не изболитъ сердцемъ, и тѣломъ не похудѣетъ.

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ, Несторъ Игнатьичъ! кому жъ, однако, вѣрить-то остается? А вѣдь нужно же кому-нибудь вѣрить, хочется, наконецъ, вѣрить! — говорила задумчиво Дора.

— Вѣруйте смѣлѣе въ себя, идите бодрѣе въ жизнь; жизнь сама покажетъ, что дѣлать: нужно имѣть умъ и правила, а не росписаніе, — успокоивалъ ее Долинскій, и у нихъ перемѣнялся тонъ и заходила долгая, живая бесѣда, кончая которую, Даша всегда говорила: — зачѣмъ эти люди мѣшаютъ намъ говорить?

Долинскій самъ чувствовать, что очень досадно, зачѣмъ эти люди мѣшаютъ ему говорить съ Дорой, а эти люди являлись къ нимъ довольно рѣдко и разъ отъ разу посѣщенія ихъ становились еще рѣже.

— Ну, какое сравненіе разговаривать, напримѣръ, съ ними, или съ простодушнымъ Ильею Макаровичемъ? — спрашивала Дора. — Это — человѣкъ, онъ живетъ, сочувствуетъ, любитъ, страдаетъ, однимъ словомъ, *несетъ жизнь*; а тѣ, точно кукушки, по чужимъ гнѣздамъ прыгають; точно ученье скворцы сверкочуть: «дай скворушкѣ кашки!» И еще такія-то кукушки хотять, чтобы всѣ ихъ слушали. Нечего сказать, хорошо бы стало на свѣтѣ! Вышло бы, что ни одной твари на землѣ нѣтъ глупѣе, какъ люди.

— Это мы вамъ обязаны за такое знакомство, — шутила она съ Долинскимъ. — Къ намъ прежде такія птицы не залетали. А, впрочемъ, ничего — это очень назидательно.

— А не спорить я все-таки не могу, — говорила она въ заключеніе.

Вырвичъ и Шпандорчукъ пробовали заводить съ Дорушкой рѣчь о стѣсненности женскихъ правъ, но она съ перваго же слова осталась къ этому вопросу совершенно равнодушною. Развиватели дали ей прочесть нѣсколько статей, касавшихся этого предмета; она прочла всѣ эти статьи очень терпѣливо и сказала:

— Пожалуйста, не носите мнѣ больше этого сора.

— Неужто, — говорили ей: — вы не сочувствуете и тому, что люди бьются за васъ же, бьются за ваши же естественныя права, которые у васъ отняты?

— Я очень довольна моими правами; я нахожу, что у меня ихъ ровно столько же, сколько у васъ, и отнять ихъ у меня никто не можетъ, — отвѣчала Дора.

— А вотъ не можете быть судьей.

— И не хочу; мнѣ довольно судить самоё себя.

— А другихъ вы судите чужимъ судомъ?

— Нѣтъ, своимъ собственнымъ.

— Спорщица! Когда ты перестанешь спорить! — останавливала сестру Анна Михайловна, обыкновенно не принимавшая личнаго участія въ заходившихъ при ней длинныхъ спорахъ.

— Не могу, Аня, за живое меня задѣваютъ эти молодыя фразы, — горячо отвѣчала Дора.

— Но позвольте, вѣдь вы могли бы пожелать быть врагомъ? — возражалъ ей Шпандорчукъ.

— Могла бы.

— И вамъ бы не позволили.

— Совершенно напрасно не позволили бы.

— А все-таки вотъ взяли бы, да и не позволили бы.

— Очень жаль, но я бы нашла себѣ другое дѣло. Не только свѣта, что въ окнѣ.

— Ну, хорошо-съ, — ну, положимъ, вы можете себѣ создать такое другое независимое положеніе, а тѣ, которыя не могутъ?

— Да о тѣхъ и говорить нечего! Кто не умѣетъ стать самъ, того не поставите. Бѣлинскій прекрасно говоритъ, что тому нѣтъ спасенія, кто въ слабости своей натуры носитъ своего врага.

— Ахъ, да оставьте вы, сдѣлайте милость, въ покоѣ вашего Бѣлинскаго! Помилуйте, что жъ это, приговоръ, что ли, что сказалъ Бѣлинскій?

— Въ этомъ случаѣ, да — приговоръ. Попробуйте-ка отнять независимость у меня, у моей сестры, или у Анны Анисимовны! Не угодно ли?

— Что за Анна Анисимовна?

— А, это счастливое имя имѣетъ честь принадлежать совершенно независимой швеѣ изъ нашего магазина.

Дорушка любила ставить свою Анну Анисимовну въ примѣръ, и охотно рассказывала ея несекретную исторію.

— Вотъ видите! — говорили ей послѣ этого разсказа развѣватели: — а легко зато этой Аннѣ Анисимовнѣ?

— Ну, госнода, простите меня великодушно! — запальчиво отвѣчала Дора. — Кто смотритъ, легко ли ему, да еще выгодно ли ему отстоять свою свободу, тотъ ея не стѣбитъ и даже говорить о ней не долженъ.

— Да, женщина, почти каждая — раба; она раба и въ семьѣ, раба въ обществѣ.

— Потому что она большей частью раба по натурѣ.

— То-есть какъ это? Не можетъ жить безъ опеки?

— *Не хочетъ-съ*, не хочетъ сама себѣ помогать, продаетъ свою свободу за кареты, за положеніе, за прочія глупыя вещи. Раба! Всякій, кто дорожить чѣмъ-нибудь больше чѣмъ свободой — рабъ. Не все ли равно, женщина раба мужа, мужъ рабъ чиновъ и мѣстъ, вы рабы вашего либерализма, соболи, бобры — всѣ равны!

— Даже досюда идти!

— А еще бы! Вѣдь вы не смѣете быть не либераломъ?

— Потому что мы убѣждены...

— Убѣждены! — съ улыбкой перебивала Дора. — Не смѣете, просто не смѣете. Не знаете, чѣмъ дѣлать; не знаете, за что зацѣпиться, если васъ выключать изъ либераловъ. Отъ жизни даже отрекаетесь.

— Вотъ то-то, Дарья Михайловна, — говорили ей: — не знаете вы, сколько труда въ послѣднее время положено за женщину.

— Это правда. Только я, господа, объ одномъ жалѣю, что я не писательница. Я бы всѣ силы мои употребила растолковать женщинамъ, что всѣ ваши о насъ попеченія... просто для насъ унижительны.

— Да что жъ, Дарья Михайловна, *унижительно*, вы говорите? Позвольте вамъ замѣтить, что въ настоящемъ случаѣ вы нѣсколько неосторожно увлеклись вашимъ самолюбіемъ. Мы хлопочемъ вовсе и не о васъ — то-есть не только не о васъ лично, а и вообще не объ однѣхъ женщинахъ.

— А о себѣ — я это такъ и догадывалась.

— Да хотя бы-съ и о себѣ! Пора, наконецъ, похлопотать и о себѣ, когда на насъ ложится весь трудъ и тяжесть заработка; а женщины живутъ въ тягость и себѣ, и другимъ — ничего не дѣлаютъ. Вопросъ женскій — общій вопросъ.

— Да то-то вотъ; пожалуйста, хоть не называйте же вы этого вопроса *женскимъ*.

— А какъ же прикажете его называть въ вашемъ присутствіи?

— *Барыньскій, дамскій* — однимъ словомъ какъ тамъ хотите, *только не женскій*, потому что, если дѣло идетъ о томъ, чтобъ русская женщина трудилась, такъ она, рус-

ская-то женщина, monsieur Шпандорчукъ, всегда трудилась и трудится, и трудится нерѣдко гораздо больше своихъ мужчинъ. А это вы говорите о барышняхъ, о дамахъ — такъ и не называйте же ихняго вопроса нашимъ *женскимъ*.

— Мы говоримъ вообще о развитой женщинѣ, которая въ наше время не можетъ себя добыть хлѣба.

— *Развившаяся до того, что не можетъ добыть себя хлѣба!* Ха-ха-ха!..

Дѣвушка неудержимо расхохоталась.

— Не смѣшите, пожалуйста, людей, господа! Эти ваши такимъ манеромъ развившіяся женщины, не въ наше только время, а во всякое время будутъ безъ хлѣба.

— Нѣтъ-съ, это немножко не такъ будетъ. А, впрочемъ, гдѣ же эти ваши и не-дамы, и не-барышни, и ужъ, разумѣется, тоже и не судомойки же, а женщины?

— А-а! это, господа, ужъ ищите, да-съ, ищите, какъ голодный хлѣба ищетъ. Женщина вѣдь стоитъ того, чтобъ ее поискать повнимательнѣе.

— Но гдѣ-съ? гдѣ?

— А-а! вотъ то-то и есть. Помните, какъ Кречинскій говорить о деньгахъ: «деньги вездѣ есть, во всякомъ домѣ, только надо знать, гдѣ онѣ лежатъ; надо знать, какъ ихъ взять». Такъ точно и женщины: вездѣ онѣ есть, въ каждомъ общественномъ кружочкѣ есть женщины, *только нужно изъ уметь найти!* — проговорила Дорушка, стучая внушительно ноготкомъ по столу.

— Да и о чемъ собственно рѣчь-то? — вмѣшался Долинскій. — Если объ общемъ счастьи, о мужскомъ и о женскомъ, то я вовсе не думаю, чтобы женщины стали счастливыѣ, если мы ихъ завалимъ работою и заботою; а мужчина, который, дѣйствительно, *любитъ* женщину, тотъ самъ охотно возьметъ на себя все тяжелѣйшее. Чтѣ тамъ ни вводите, а полюбя женщину, я все-таки стану заботиться, чтобы ей было легче, такъ сказать, чтобъ ей было лучше жить, а не буду производить надъ ней опыты, сколько она вытянетъ. Мнѣ же пріятно видѣть ее счастливою и знать, что это и для нея устроилъ!

— Да-съ, это прекрасно, только съ одной стороны — со стороны поэзіи; а вы забываете, что есть и другія точки, съ которыхъ можно смотрѣть на этотъ вопросъ: напримѣръ, съ точки хлѣба и брюха.

Долинскій нѣсколько смутился словомъ «брюхо», и отвѣчалъ:

— То-есть вы хотите сказать: со стороны денегъ; ну, что же-съ! Если женщина даетъ вамъ счастье, создаетъ ваше благополучіе, то неужто она не участвуетъ такимъ образомъ въ вашемъ трудѣ и не имѣетъ права на вашъ заработокъ? Она вашъ половинщикъ во всемъ—въ горѣ и радостяхъ. Какъ вы расцѣните на рубли вліяніе, которое хорошая женщина можетъ имѣть на васъ, освѣжая вашъ духъ, поддерживая въ васъ бодрость, успокоивая васъ лаской, однимъ словомъ—утѣшая васъ своимъ присутствіемъ и поднимая васъ и на работу, и на мысль, и на все хорошее? Можетъ-быть, не половина, а восемь десятыхъ, даже все почти, что вы заработаете, будетъ принадлежать ей; а не вамъ, несмотря на то, что это будетъ заработано вашими руками.

— Все же, я думаю, согласитесь вы, что нужно развить въ женщинѣ вкусъ, то-есть я хотѣлъ сказать, развить въ ней любовь и къ труду, и къ свободѣ, чтобъ она умѣла цѣнить свою свободу и ни на что ее не промѣнивала.

— Да противъ этого никто ничего не говоритъ. Давай имъ Богъ и этой любви къ свободѣ, и умѣнья честно достигать ее—одно другому ничуть не мѣшаетъ.

— Кто цѣнитъ свою свободу, тотъ ни на что ее и такъ не промѣняетъ, тотъ и самъ отстоитъ ее и совсѣмъ не по вашимъ рецептамъ,—равнодушно сказала Дора.

— А вы забываете наши милые законы, — заговорилъ, перемѣняя тонъ, Шпандорчукъ.

— Очень они мнѣ нужны, ваши законы! Я сама себѣ законъ. Не убиваю, не краду, не буяню — какое до меня дѣло закону?

— Ну, а если вы полюбите и законъ станетъ вамъ поперекъ дороги?

— Чтò за вздоръ такой вы сказали! Гдѣ же есть для любви законы? Люблю—вотъ и все.

— И какъ же будете поступать?

— Какъ укажетъ мое чувство.—Нѣтъ, всѣ вы, господа—рабы,—заканчивала Дора.

Съ нею обыкновенно никто изъ спорящихъ не соглашался и даже нерѣдко ставили Дорунку въ затруднительное положеніе заученными софизмами, но всего чаще она

на-голову побиwała своею живою и простою рѣчью всѣхъ своихъ ученыхъ противниковъ, и Несторъ Игнатьевичъ ликовалъ за нее, молча похаживая по оглашенной споромъ комнатѣ.

— Бѣдовая эта ученая швейка!—говорили о ней ея новыя знакомыя.

— Да, разсуждаетъ!

— Придетъ, братъ, видно, точно, шекспировское время, что мужикъ станетъ наступать на ногу дворянину и не будетъ извиняться. Я, разумѣется, понимаю *дворянина мысли*.

— Ну, еще бы!

— Надъ ней, однако, очень бы стоило поработать прилежно,—заклучилъ Вывичъ.

— Очень жаль, что вы безъ системы все читаете,—поучительно заявлялъ онъ ей одинъ разъ.

— Напротивъ, спросите Нестора Игнатьича: я его, я думаю, замучила, заставляя переводить себѣ.

— Несторъ Игнатьичъ—извѣстный старовѣръ.

— А какая же новая-то есть вѣра?—спросилъ сквозь зубы Долинскій.

— Вѣра въ лучшихъ людей и въ лучшее будущее.

— Это самая старая вѣра и есть,—также нехотя и равнодушно отвѣчалъ Долинскій.

— Да-съ, да это не о томъ, а о томъ, что Дарья Михайловна съ вами, я думаю, въ чемъ вѣдь упражняется? Все того же Шекспира, небось, заставляеть себѣ переводить?

— Русскихъ журналовъ я болѣе не читаю,—отвѣчала за Долинскаго Дора.

— Это за что такая немилость?

— Нечего читать. Своихъ прежнихъ писателей я всѣхъ знаю, а новыхъ... да и новыхъ, впрочемъ, знаю.

— Даже не читавши!

— А это васъ удивляетъ? Тутъ ничего нѣтъ такого удивительнаго. Дѣло очень извѣстное: всѣ вѣдь почти они на одинъ фасонъ! одинъ говоритъ: пусть женщина отдается по первому влеченію, другой говоритъ— пусть никому не отдается; одинъ учитъ, какъ наживать деньги, другой—говорить, что деньги наживать нечестно, что надо жить совсѣмъ иначе, а самъ живетъ еще иначе. Все одна докучная басня: «жили-были кутыль да журавль; накопили они

себѣ стожокъ сѣнца, поставили посередѣ поляца, не ска-
зать ли вамъ опять съ конца?» зарядила сорока «Якова»,
и съ тѣмъ до всякаго.

— А у вашего Шекспира?

— А у моего Шекспира? А у моего Шекспира — вотъ
что: я вотъ сегодня устала, забила свою голову всякой
дрязгой домашней, а прочла Ричарда — и это меня освѣ-
жило; а прочитай я какую-нибудь вашу статью, или нраво-
ученіе въ лицахъ — я бы только разозлилась, или еще
больше устала.

— Въ Ричардѣ Третьемъ—жизнь!.. О, разумъ!—къ тебѣ
взываю. Что это такое, эта Анна? Уродъ невозможный. Жи-
вая на небо летитъ за мертвымъ мужемъ, и тутъ же на
шею вѣшается его убійца. Помилуйте, развѣ это возможно.

— Иль палецъ выломить *любя*, какъ леди Перси,—вста-
вилъ съ своей стороны Шпандорчукъ.

— Да... и палецъ выломить,—спокойно отвѣчала Дора.

— Такъ ужъ, послѣдовательно идя, почему-жъ не свер-
нуть *любя* и голову?

— Да... свернуть и голову.

— Любя!

Дорушка помолчала и, посмотрѣвъ на обоихъ оппонен-
товъ, медленно проговорила, качая своею головкою:

— Эхъ, господа, господа! Какія у васъ должны быть
крошечныя-крошечныя страстинки-то!—Она приложила па-
лецъ къ концу ногтя своего мизинца и добавила: — вотъ
этакія должно быть, чупунныя, малюсенькія; меньше во-
робьянаго носка.

— Прекрасно-съ! ну, пусть тамъ страсти, такъ и стра-
сти; но зачѣмъ же въ небо-то было лѣзть?

— Да что вы такъ этого неба боитесь? Не беспокойтесь,
пожалуйста, никто живьемъ ни въ небо не вскочить, ни
въ землю совсѣмъ не закопается.

Журавка обыкновенно фыркалъ, пыхалъ, подпрыгивалъ
и вообще ликовалъ при этихъ спорахъ. Вывичъ и Шпан-
дорчукъ одинъ или два раза круто поспорили съ нимъ о
значеніи художества и вообще говорили объ искусствѣ не-
уважительно. Илья Макаровичъ былъ плохой діалектикъ;
онъ не могъ соспорить съ ними, и зато питалъ къ нимъ
всегдашнюю затаенную злобу.

Чуть, бывало, онъ завидитъ ихъ еще изъ окна, какъ

сейчасъ же завертится, забѣгаетъ, потираетъ свои руки и кричитъ: «волхвы идутъ! волхвы, гадатели! сейчасъ будутъ намъ будущее предсказывать».

Съ появленіемъ Вырвича и Шпандорчука, Журавка стихалъ, усаживался въ уголокъ и только тихонько пофыркивалъ. Но зато, пересидѣвъ ихъ и дождавшись, когда они уйдутъ, онъ тотчасъ же вскакивалъ и шумѣлъ безпошадно.

— Кошлачки! кошлачки!—говорилъ онъ о нихъ:—отличные кошлачки!—Славные такіе, все какъ на подборъ шершавенькіе, все сѣренькіе, такіе, что хоть выжми ихъ, такъ ничего живого не выйдетъ... То-есть,—добавлялъ онъ, киняться и волнуясь:—то-есть вотъ, что называется, ни вкуса, ни радости, oprичъ самой гадости... Торчатъ на свѣтъ, какъ вывѣтрѣлыя шишки еловыя... Тьфу, вы сморчки ненавистныя!

Долинскій всей душой сочувствовалъ Дорѣ, но влѣдствие ея молодости и дѣтскаго ея положенія при нѣжной, страстно ее любящей сестрѣ, онъ привыкъ смотрѣть на нее только какъ на богато-одаренное дитя, у котораго все еще... не устоялось и бродить. Онъ очень любилъ Дору и съ удовольствіемъ исполнялъ каждое ея желаніе, но ко многимъ ея требованіямъ относился какъ къ капризамъ ребенка и даже исполнялъ ихъ съ снисходительной улыбкой. Дорушка, при всемъ своемъ умѣ и прочихъ хорошихъ качествахъ, дѣйствительно, иногда позволяла себѣ немножко покапризничать, и материнское снисхожденіе Анны Михайловны къ этимъ капризамъ упрочивало за ея сестрою положеніе дитяти. Въ поведеніи Дорушки такіе случаи своего рода грѣшки и странности, и Анна Михайловна не безъ основанія говаривала, что Дора про себя самой поетъ романсъ:

«То безъ рѣчей, то говорлива,

«То холодна, то жжетъ въ ней кровь».

Отношенія Долинскаго къ Аннѣ Михайловнѣ были совершенно иныя. Это было что-то въ родѣ благоговѣйнаго почитенія. Долинскій даже перемѣнялся въ лицѣ, когда Анна Михайловна относилась къ нему съ вопросомъ. Онъ смотрѣлъ на нее какъ на что-то неприкосновенное, высшее обыкновенной женщины; разговаривалъ съ нею онъ, не сводя своего взора съ ея прекрасныхъ глазъ; держался передъ

нею какъ передъ идоломъ: ни слова необдуманнаго, ни шуточки веселой—словомъ, ничего такого, что онъ даже позволялъ себѣ въ присутствіи одной Доры—онъ не могъ сдѣлать при Аннѣ Михайловнѣ. Если Анна Михайловна, которая любила походить въ сумерки по комнатамъ, заводила съ Долинскимъ рѣчь о дѣлахъ, онъ весь обращался въ слухъ, во вниманіе, и Анна Михайловна скоро стала чувствовать безотчетное влеченіе о всѣхъ своихъ нуждахъ и заботахъ поговорить съ Несторомъ Игнатьевичемъ. Въ его бесѣдѣ не было ни энергической порывчивости Доры, ни верхолетной суетливости Ильи Макаровича, и слова Долинскаго ближе ложились къ сердцу тихой Анны Михайловны, чѣмъ слова сестры и художника. Въ чувствѣ Долинскаго къ Аннѣ Михайловнѣ преобладало именно благоговѣнное поклоненіе высокимъ и скромнымъ достоинствамъ этой женщины, а вмѣстѣ и глубокая, нѣжная любовь, чуждая всякаго знакомства съ страстью. Анна Михайловна очень уважала въ Долинскомъ хорошаго человѣка, жалѣла о его разбитой жизни и... ей нравилось то робкое благоговѣніе къ ней, которое она внушила этому человѣку безъ всякаго умысла, но котораго, однако, не могла не замѣтить и которымъ не отказывало себѣ иногда скромно любоваться ея женское самолюбіе.

Такъ прошелъ цѣлый годъ. Всѣ были счастливы, всѣмъ жилось хорошо, всѣ были довольны другъ другомъ. Илья Макаровичъ, забѣгая раза два въ недѣлю хватить водчонки, говорилъ Долинскому:

— Спасибо тебѣ, Несторка, отлично, братецъ, ты себя ведешь, отлично!

Ильѣ Макаровичу и даже проникательной Дорѣ и въ умъ не приходило пощупать Анну Михайловну или Долинскаго съ ихъ сердечной стороны. А тѣмъ временемъ ихъ тихія чувства крѣпли и крѣпли.

Задумалъ Долинскій, по Дорушкиному же подстрекательству, написать небольшую повѣсть. Писалъ онъ неспѣшно, довольно долго, и по мѣрѣ того, что успѣвалъ написать между своей срочной работой, читалъ по кусочкамъ Аннѣ Михайловнѣ и Дорушкѣ.

Сначала Дора, внимательно слѣдившая за медленно подвигавшеюся повѣстью, не замѣчала въ ней ничего, кромѣ ея красоть или недостатковъ въ выполненіи; но вдругъ вни-

маніе ея стало останавливаться на сильномъ сходствѣ характера самого симпатичнаго женскаго лица повѣсти съ дѣйствительнымъ характеромъ Анны Михайловны. Еще немножко позже она замѣтила, что ея всегда ровная и спокойная сестра слѣдитъ за ходомъ повѣсти съ страшнымъ вниманіемъ; увлекается, дѣлая замѣчанія; горячо спорить съ Дорою и просто дрожить отъ радости при каждой удачной сценкѣ. Дописала Долинскій повѣсть до конца и стала выправлять ее и окончателью приготавливать къ печати. Черезъ недѣлю онъ прочелъ ее всю разомъ въ совершенно отдѣланномъ видѣ.

— Да это у васъ живая Аня списана! — вскрикнула, по окончаніи чтенія, Дора.

Анна Михайловна и Долинскій смутились.

Дора посмотрѣла на нихъ обоихъ и не заводила объ этомъ болѣе рѣчи; но дня два была какъ-то задумчивѣе обыкновеннаго, а потомъ опять вошла въ свою колею и шутила.

— Вотъ погоди, скоро его какой-нибудь пріятель отваляетъ за эту повѣсть, — говорила она Аннѣ Михайловнѣ, когда та въ десятый разъ просматривала напечатанную въ журналѣ повѣсть Долинскаго.

— За что же? — вся вспыхнувъ и потерявшись, спросила Анна Михайловна.

— Будто ругаютъ за что-нибудь. Такъ, просто, потому что это ничего не стоитъ.

Дорушка замѣтила, что сестра ея поражена мыслью о томъ, что Нестора Игнатьевича могутъ разбранить, обидѣть и вообще не пожалѣть его, когда онъ самъ такой добрый, когда онъ самъ такъ искренно всѣхъ жалѣеть.

— Гм! такъ, видно, этому дѣлу и быть, — произнесла Дора, долго посмотрѣвъ на Анну Михайловну и тихонько выходя изъ комнаты.

— Что ты, Дорушка, сказала? — спросила ее вслѣдъ сестра.

— Что такъ этому и быть.

— Какому, душка, дѣлу?

— Да никакому, мой другъ! Я такъ себѣ, Богъ знаетъ, что сболтнула, — отвѣчала Дорушка и, возвратясь, поцѣловала сестру въ лобъ и ласково разгладила ея волосы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Мальчикъ Бобна.

Прошло очень немного времени, какъ Дорѣ представился новый случай наблюдать сестру по отношенію къ Долинскому.

Одинъ разъ, въ самый ясный погожій осенній день, позднимъ утромъ, такъ часовъ около двѣнадцати, къ Аннѣ Михайловнѣ забѣжалъ Журавка, а черезъ нѣсколько минутъ, какъ по сигналу, явились Шпандорчукъ и Вывичъ, и у Доры съ ними, за кофе, къ которому они сошлись было въ столовую, закинулъ какой-то ожесточенный споръ. Чтобы положить конецъ этому пренію и не потерять рѣдкаго въ эту пору хорошаго дня, Долинскій, допивъ свою чашку, тихонько вышелъ и возвратился въ столовую въ пальто и въ шляпѣ: на одной рукѣ его была перекинута драповая тальма Доры, а въ другой онъ бережно держалъ ея сѣренькую касторовую шляпу съ черными марабу. Замѣтивъ Долинскаго, Дора улыбнулась и сказала:

— Pardon, господа, мой вѣрный пакъ готовъ.

— Да-съ, готовъ, — отвѣтилъ Долинскій: — и полагаетъ, что его благородной госпожѣ будетъ гораздо полезнѣе теперь пройтись по свѣжему воздуху, чѣмъ спорить и киняться.

— Кажется, вы правы, — произнесла Дора, оборачиваясь къ нему спиною для того, чтобы тотъ могъ надѣть ей тальму, которую держалъ на своей рукѣ.

Долинскій раскрылъ тальму и уже поднесъ ее къ Доринымъ плечамъ, но вдругъ остановился и, поднявъ вверхъ одинъ палецъ, тихо произнесъ:

— Тсс!

Все посмотрѣли на него съ нѣкоторымъ удивленіемъ, но никто не сказалъ ни слова, а между тѣмъ Долинскій швырнулъ въ сторону тальму, торопливо подошелъ къ двери, которая вела въ рабочую комнату и, притворивъ ее безъ всякаго шума, схватилъ Дорушку за руку и, весь дрожа всѣмъ тѣломъ, сказалъ ей:

— Вызовите Анну Анисимовну въ мои комнаты! Да сейчасъ! сейчасъ вызовите!

— Что такое?! — спросила удивленная Дора.

— Зовите ее оттуда! — отвѣчалъ Долинскій, крѣпко подернувъ Дорину руку.

— Да что? что?

Вмѣсто отвѣта Долинскій взялъ ее за плечи и показалъ рукою на фронто́нъ высокаго надворнаго флигеля.

— Ахъ!—произнесла чуть слышно Дорушка и побѣжала къ комнатамъ Долинскаго.—Душенька! Анна Анисимовна!—говорила она идучи:—подите ко мнѣ, мой дружочекъ, съ иголочкой въ Несторъ Игнатьевича комнату.

По коридорчику вслѣдъ за Дашей прошумѣло ситцевое платье Анны Анисимовны.

Между тѣмъ, всѣ столпились у окна, а Долинскій, шепнувъ имъ:—Видите, Бобка на карнизѣ!—выбѣжалъ и, снова возвратись черезъ секунду, проговорилъ, задыхаясь:—Богаради, чтобъ не было шума! Анна Михайловна! Пожалуйста, чтобъ ничто не привлекало его вниманія!

Сказавъ это, Долинскій исчезъ за дверью и въ это мгновеніе какъ-то никому не пришло въ голову ни остановить его, ни спросить о томъ, что онъ хочетъ дѣлать, ни подумать даже, что онъ можетъ сдѣлать въ этомъ случаѣ.

Общее вниманіе было занято карнизомъ. По узкому деревянному карнизу, крытому зеленымъ листовымъ желѣзомъ и отдѣляющему фронто́нъ флигеля и бѣлевую сушильню отъ верха третьяго жилого этажа, преспокойнымъ образомъ, весело и граціозно ползъ самый маленькій, трехлѣтній сынъ Анны Анисимовны, всеобщій фаворитъ Борисушка, или Бобка. Онъ ползъ на четверенькахъ по направленію отъ слухового окна, изъ котораго онъ выбрался, къ острому углу, подъ которымъ крыша соединяется съ фронтономъ. Передъ нимъ, въ нѣсколькихъ шагахъ разстоянія, подпрыгивалъ и взмахивалъ связанными крылышками небольшой сизый голубокъ, котораго ребенокъ все старался схватить своею пухленькою ручкою. Голубокъ не дѣлалъ никакой попытки разомъ отдѣлаться отъ своего преслѣдователя; чуть ребенокъ, подвинувшись на колѣночкахъ, распускалъ надъ нимъ свою ручку, голубокъ встрепенался, взмахивалъ крылышками, показывая свои бѣленкія подмышки, припрыгивалъ два раза, потомъ дѣлалъ своими красненькими ножками два вершковыхъ шага, и опять давалъ Бобкѣ подползать и изловчаться. Голубокъ отодвигался, и Бобка сейчасъ же заносилъ ножонку впередъ и осторожно двигался на четверенькахъ. Тонкіе желѣзные листы, которыми былъ покрытъ полусгнившій карнизъ, гнулись и подъ маленькимъ тѣломъ

Бобки и, гнувшись, шумѣли; а изъ-подъ нихъ на землю потихоньку сыпалась гнилая пыль гнилого карниза. Бобки оставалось два шага до соединенія карниза съ крышею, гдѣ онъ непременно бы поймалъ своего голубя, и откуда бы еще непременно полетѣлъ съ нимъ вмѣстѣ съ десяти-саженной высоты на дворовую мостовую. Гибель Бобки была неизбежна, потому что голубь бы непременно удалялся отъ него тѣмъ же аллюромъ до самого угла соединенія карниза съ крышей, гдѣ мальчикъ ни за что не могъ ни разогнуться, ни поворотиться; надѣяться на то, чтобы ребенокъ догадался двигаться задомъ, было довольно трудно, да и всякій, кому въ дѣтствѣ случалось путешествовать по такъ-называемымъ «кошачьимъ дорогамъ», тотъ, конечно, пойметъ, что такой фортель былъ для Бобки совершенно невозможенъ. Еще двѣ-три минуты, или какой-нибудь шумъ на дворѣ, который бы заставилъ его оглянуться внизъ, или откуда-нибудь сердобольный совѣтъ, или крикъ ужаса и состраданія—и Бобка бы непременно оборвался и легъ бы съ разможеннымъ черепомъ на гладкихъ голышахъ почти передъ самымъ окномъ, у котораго работала его бѣдная мать.

Но на Бобкино счастье во дворѣ никто не замѣтилъ его воздушнаго путешествія. И Журавка, выбѣжавшій вслѣдъ за Долинскимъ, совершенно напрасно, тревожно стоя подъ карнизомъ, грозилъ пальцемъ на всѣ внутреннія окна дома. Даже Анны Михайловны кухарка, рубившая котлетку прямо противъ окна, изъ котораго видно было каждое движеніе Бобки, преспокойно работала сѣлкой и расцѣвала:

Полюбила я любовничка,
Канцелярскаго чиновничка;
По головкѣ его гладила,
Волоса ему помадила.

Долинскій, выйдя изъ комнаты, духомъ перескочилъ дворикъ и въ одно мгновеніе очутился на чердакѣ за деревяннымъ фронтономъ.

— Бобка!—позвалъ онъ потихоньку сквозь доску, стараясь говорить какъ можно спокойнѣе и какъ разъ у мальчиковой головы.

— А!—отозвался на знакомый голосъ юный Блондень.

— Гляди-ка сюда!—продолжалъ Долинскій, имѣя въ виду

привлечь глаза мальчика къ стѣнѣ, чтобы онъ дагѣе не трогался и не глянулъ какъ-нибудь внизъ...

— Говабъ повзааетъ,—говорилъ, весь сіяя, Бобка.

— Вижу; а ты гляди-ко, Бобка, какъ я его, шельму, сейчасъ изловлю!

— Ну, ну, ну, лови! — отвѣчалъ мальчикъ, и самъ воззрился въ одно мѣсто на нижней доскѣ фронтона.

— Ты только смотри, Бобка, не трогайся, а я уже его сейчасъ.

Мальчикъ отъ радости оскалилъ бѣленькіе зубенки и закусилъ большой палецъ своей лѣвой руки.

Въ это же мгновеніе, въ слуховомъ окнѣ показалась прелестная голова Долинскаго. Красивое, дышащее добротою и кротостью лицо его было оживлено свѣжею краскою спокойной рѣшимости; волнистые волосы его разсыпались отъ вѣтра и легкими, тонкими прядями прилипали къ лицу, покрывающемуся отъ страха крупными каплями пота. Черезъ мгновеніе вся его стройная фигура обрисовалась на сѣромъ фонѣ выпѣвшаго фронтона, и прежде чѣмъ желѣзные листы загромыхали подъ его ногами, лѣвая рука Долинскаго ловко и крѣпко схватила ручонку Бобки. Правую рукою онъ сильно держался за край слухового окна и въ одну секунду бросилъ въ него мальчика, и вслѣдъ за нимъ прыгнулъ туда самъ.

Все это произошло такъ скоро, что когда Долинскій съ Бобкою на рукахъ проходилъ черезъ кухню, кухарка еще не кончила пѣсню про любовничка, канцелярскаго чиновничка, и разсказывала, какъ она

Напойла его мятою,
Обложила кругомъ ватою.

— Ахъ, скверный ты мальчикъ! — нервно вскрикнула Анна Михайловна при видѣ Бобки.

— Насилу поймалъ,—говорилъ весело Долинскій.

— Боже мой, какой страхъ былъ!

Изъ коридора выбѣжала блѣдная Анна Анисимовна: она было сердито взяла Бобку за чубокъ, но тотчасъ же разжала руку, схватила мальчика на руки и страстно впиалась губами въ его розовыя щеки.

— Миндаль вамъ за спасеніе погибавшаго,—проговорилъ шутливо Вывичъ, подавая Долинскому выколупнутую съ булки поджаренную миндалину.

Анна Михайловна вспыхнула.

— Страшно! у васъ голова могла закружиться, -- говорила она, обращаясь къ Долинскому.

— Нѣтъ, это вѣдь одна минута; не надо только смотрѣть внизъ, — отвѣчалъ Долинскій, спокойно кладя на столъ поданную ему миндалинку, и съ этими словами ушелъ въ свою комнату, а оттуда вмѣстѣ съ Дашею прошелъ черезъ магазинъ на улицу.

Черезъ часа полтора, когда они возвратились домой, Дора застала сестру въ ея комнатѣ, сильно встревоженною.

— Что это такое съ тобою?—спросила она Анну Михайловну.

— Ахъ, Дорунка, не можешь себѣ вообразить, какъ меня разбѣсили!

— Ну?

— Да вотъ эти господа ненавистные. Только что вы ушли, какъ начали они разсуждать, слѣдовало или не слѣдовало Долинскому снимать этого мальчика, и просто вывели меня изъ терпѣнія.

— Рѣшили, что не слѣдовало?

— Да! Рѣшили, что дворника надо было послать; потомъ стали увѣрять меня, что здѣсь никакого страха нѣтъ и никакого риска нѣтъ; потомъ ужъ опять, какъ-то опять стало выходить, что рискъ былъ, и что потому-то именно не слѣдовало рисковать собой.

— Да вѣдь они ничѣмъ не рисковали, у окошка стоя. Жаль, что я ушла, не послушала рѣчей умныхъ.

— Ужъ именно! И что только такое тутъ говорилось!.. И о развитіи, и о томъ, что отъ гибели одного мальчика человечеству не стало бы ни хуже, ни лучше; что истинное развитіе обязываетъ человѣка беречь себя для жертвъ болѣе важныхъ, чѣмъ одна какая-нибудь жизнь, и все такое, что просто... разстроили меня.

— Что ты даже взялась за гофманскія капли?

— Ну, да.

— Успокойся, моя Софья Павловна, твой Молчалинъ живъ; ни лбомъ не треснулся о землю, ни затылкомъ, — проговорила Дора, развязывая передъ зеркаломъ ленты своей шляпы.

— И ты тоже! — нетерпѣливо сказала Анна Михайловна.

— Господи, да что такое за «не тронь-меня» этот Долинский.

— Не Молчалинъ онъ, а я не Софья Павловна.

— Пожалуйста, прости, если неловко пошутила. Я не знала, что съ тобой на его счетъ ужъ и пошутить нельзя, — сухо проговорила, выходя изъ комнаты, Дора.

Черезъ минуту Анна Михайловна вошла къ Дорушкѣ и молча поцѣловала ея руку; Дора взяла обѣ руки сестры и обѣ ихъ поцѣловала также молча.

Въ очень короткое время Анна Михайловна удивила Дору еще болѣе поступкомъ, который прямо не свойственъ былъ ея характеру. Анна Михайловна и Дора какъ-то случайно знали, что Шпандорчукъ и Вывичъ частенько заимствовали у Долинскаго небольшими деньжонками и что должны эти частію кое-какъ отдавались пополамъ съ грѣхомъ, а частію не отдавались вовсе и возрастали до цифръ, хотя и небольшихъ, но все-таки для рабочаго человѣка кое-что значащихъ. Было извѣстно также и то, что Долинскій иногда самъ очень сбивается съ копейки и что въ одну изъ такихъ минутъ онъ самымъ мягкимъ и деликатнымъ образомъ попросилъ ихъ, не могутъ ли они ему отдать что-нибудь; но отвѣта на это письмо не было, а Долинскій пересталъ даже напоминать пріятелямъ о долгѣ. Эта деликатность злила необыкновенно самолюбиваго Шпандорчука; ему непременно хотѣлось отомстить за нее Долинскому, хотѣлось хоть какой-нибудь гадостью расквитаться съ нимъ въ долгъ и, поспорившись, уничтожить всякую мысль о какой бы то ни было расplatѣ. Но поспориться съ Несторомъ Игнатьевичемъ бывало гораздо труднѣе, чѣмъ помириться съ глупой женщиной. Шпандорчукъ пробовалъ ему и кивать головою, и подавать ему два пальца, и полунасмѣшливо отвѣчать на его вопросы, но Долинскій хорошо зналъ, сколько все это стоитъ, и не удостоивалъ этихъ продѣлокъ никакого вниманія. Шпандорчуку даже видъ Долинскаго сталъ ненавистенъ.

— Какое это у васъ лицо, гляжу я?—говорилъ одинъ разъ, прощаясь съ нимъ, Вывичъ.

— Какое лицо?—спросилъ, не понимая вопроса, Долинскій.

— Да я не знаю, что такое, а Шпандорчукъ что-то увѣряетъ, что у Долинскаго, говоритъ, совсѣмъ неблагопріостойное лицо какое-то дѣлается.

Вывичъ откровенно захохоталъ.

— А это вѣрно господинъ Шпандорчукъ не чувствуетъ ли себя передъ Несторомъ Игнатьевичемъ въ чемъ-нибудь... несправнымъ?—тихо вмѣшалась Анна Михайловна.—Всѣ пустые люди,—продолжала она:—у которыхъ очень много самолюбія и есть какіе-то слѣды совѣсти, а нѣтъ ни искренности, ни желанія поправиться, всегда кончаютъ этимъ, что ихъ раздражаютъ лица, напоминающія имъ объ ихъ собственной гадости.

Все это Анна Михайловна проговорила съ такимъ холоднымъ спокойствіемъ и съ такимъ достоинствомъ, что Вывичъ не нашелся сказать въ отвѣтъ ни слова, и красненькій-раскрасненькій молча вышелъ за двери.

— Вотъ, братъ, отдѣлала тебя!—началъ онъ, являясь домой, и рассказалъ всю эту исторію Шпандорчуку.

— Кто васъ проситъ сообщать мнѣ такія мерзости!—взвизгнувъ Шпандорчукъ, неистово вскакивая съ постели.—Я ей, негодяйкѣ, просто... уши оболтаю на Невскомъ!—зарѣшилъ онъ, перекрутивъ и бросивъ на полъ коробочку изъ-подъ зажигательныхъ спичекъ.

Съ этихъ поръ ни Вывичъ, ни Шпандорчукъ не показывались въ домѣ Анны Михайловны, и послѣдній, встрѣчаясь съ нею, всегда поднималъ носъ какъ можно выше, по недостатку смѣлости заодно смотрѣлъ въ сторону.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Интересное домино.

Была зима. Святки наступили. Долинскому кто-то подарилъ семейный билетъ на маскарады дворянскаго собранія. Дорупка во что бы то ни стало хотѣла быть въ этомъ маскарадѣ, а Аниѣ Михайловнѣ, наоборотъ, смерть этого не хотѣлось, и она всячески старалась отговорить Дашу. Для Долинскаго было все равно: ѣхать ли въ маскарадъ или просидѣть дома.

— Охота тебѣ, право, Дора!—отговаривалась Анна Михайловна.—Въ благородномъ собраніи бываетъ гораздо веселѣе—да не ѣздишь, а тутъ что? Кого мы знаемъ?

— Я? я знаю цѣлый десятокъ франтихъ и всѣ ихъ грязные романы, и нынче всѣ ихъ перепутаю. Ты знаешь эту барыню, которая какъ взойдетъ въ магазинъ—сейчасъ вотъ

такъ начинается водить носомъ по потолку? Сегодня она потерпѣть самое страшное пораженіе.

— Полно вздоры затѣвать, Дора!

— Нѣтъ, пожалуйста, поѣдемъ.

И поѣхали.

О томъ, какъ заль сіялъ, гремѣли хоры и волновалась маскарадная толпа, не стоить рассказывать: всему этому есть ужъ очень давно до подробности вѣрно составленныя описанія.

Дорушка какъ только вошла въ первую залу, тотчасъ же впиалась въ какого-то конногвардейца и исчезла съ нимъ въ густой толпѣ. Анна Михайловна прошлась раза два съ Долинскимъ по заламъ и стала искать укромнаго уголка, гдѣ бы можно было усесться поспокойнѣе.

— Душно мнѣ — уже устала; терпѣть я не могу этихъ маскарадовъ, — жаловалась она Долинскому, который отыскалъ два свободныхъ кресла въ одномъ изъ менѣе освѣщенныхъ угловъ.

— Я тоже не большой ихъ почитатель, — отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Духота, давка и всякаго вздора наслушаешься — только и хорошаго.

— Ну, вѣдь для этого же вздора, Анна Михайловна, собственно и ѣздить.

— Не понимаю этого удовольствія. Я, знаете, просто... боюсь масокъ.

— Бойтесь!

— Да, дерзкія онѣ... имъ все нипочемъ... Не люблю.

— Зато можно многое сказать, чего не скажешь безъ маски.

— Также не люблю и говорить съ незнакомыми.

— Да и съ знакомыми такъ какъ-то совѣмъ иначе говорится.

— Да это въ самомъ дѣлѣ. Отчего бы это?

Разсуждая, почему и отчего подъ маскою говорится совѣмъ не такъ, какъ безъ маски, они сами незамѣтно заговорили иначе, чѣмъ говаривали внѣ маскарада.

Прошелъ часъ-другой, голубое домино Доры мелькало въ толпѣ: изрѣдка оно, проносясь мимо сестры и Долинскаго, ласково кивало имъ головою и опять исчезало въ густой толпѣ, гдѣ ее неотступно преслѣдовали разные фешенбель-

ные господа и грандіозныя черныя домино. Дора была въ ударѣ и бросала на всѣ стороны самыя ѣдкия шпильки, постоянно увеличивавшія гонявшійся за нею хвостъ. Анна Михайловна тоже развеселилась и не замѣчала времени. Несмотря на то, что онѣ видѣлись съ Долинскимъ каждый день и, кажется, могли бы затрудняться въ выборѣ темы для разговора, особенно занимательнаго, у нихъ шла самая оживленная бесѣда. По поводу нѣкоторыхъ припомненныхъ ими здѣсь извѣстныхъ маскарадныхъ интригъ, они незамѣтно перешли къ разговору объ интригѣ вообще. Анна Михайловна возмущалась противъ всякой любовной интриги и относилась къ ней презрительно, Долинскій еще презрительнѣе.

— Ужъ если случится такое несчастіе, то лучше нести его прямо,—разсуждала Анна Михайловна. Долинскій былъ съ нею согласенъ во всѣхъ положеніяхъ и на эту тему.— Или бороться,—говорила Анна Михайловна; Долинскій и здѣсь былъ снова согласенъ и не ставилъ борьбу съ долгомъ, съ привычнымъ уваженіемъ къ извѣстнымъ правиламъ, ни въ вину, ни въ порицаніе. Борьба всегда говорить за хорошую натуру, неспособную перешвыривать всѣмъ, какъ попало, между тѣмъ, какъ обманъ...

— Гадость ужасная!—съ омерзѣніемъ произнесла Анна Михайловна.—Странно это,—говорила она черезъ нѣсколько минутъ:—какъ люди мало цѣнятъ то, что въ любви есть самаго лучшаго, и спѣшатъ падать какъ можно грязнѣе.

— Таковъ ужъ человѣкъ, да можетъ быть его въ этомъ даже нельзя слишкомъ и винить.

— Нѣтъ, все это очень странно... ни борьбы, ни увѣренности, что мы любимъ другъ въ другъ... что-то все-таки высшее... человѣческое... Неужто-жъ ужъ это въ самомъ дѣлѣ только шутество! неужто ужъ такъ нельзя любить?

Анна Михайловна выговорила это съ затрудненіемъ, и она бы вовсе не выговорила этого Долинскому безъ маски.

— Какъ же нельзя, если мы и въ литературѣ, и въ жизни встрѣчаемъ множество примѣровъ такой любви?

— Ну, не правда ли, всегда можно любить чисто? Ну, что эти волненія крови... интриги...

— Да, мнѣ кажется, что вы совершенно правы.

— Какъ, Несторъ Игнатьичъ, «кажется»? Я вѣрю въ это,—отвѣчала Анна Михайловна.

— Да, конечно... Борьба... а не выйдешь из этой борьбы победителемъ, то все-таки знаешь, что я — человекъ, я спорилъ, боролся, но не совладѣлъ, не устоялъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ? — Чистая, чистая любовь и борьба — вотъ настоящее наслажденіе: «блѣднѣть и гаснуть... вотъ блаженство».

— Долинскій, здравствуй! — произнесло, остановясь передъ ними, какое-то черное, кружевное домино.

Несторъ Игнатьевичъ посмотрѣлъ на маску и никакъ не могъ догадаться, кто бы могъ его знать на этомъ аристократическомъ маскарадѣ.

— Давай свою руку, несчастный страдалецъ! — звало его пискливымъ голосомъ домино.

Долинскій отказался, говоря, что у него есть своя очень интересная маска.

— Лжешь, совсѣмъ не интересная, — пищало домино. — Я ее знаю — совсѣмъ не интересная. Пора ужъ вамъ наскучить другъ другу.

— Иди, иди себѣ съ Богомъ, маска, — отвѣчала Долинскій.

— Нѣтъ, я хочу идти съ тобою, — настаивало домино.

Долинскій едва-едва могъ отдѣлаться отъ привязчивой маски.

— Вы не знаете, кто это такая? — спросила Анна Михайловна.

— Рѣшительно не знаю.

— Долинскій! — опять запищала та же маска, появляясь съ другой стороны подъ руку съ другою маскою, покрытою звѣзднымъ покрываломъ.

Несторъ Игнатьевичъ оглянулся.

— Оставь же, наконецъ, на минутку свое сокровище, — начала, смѣясь, маска.

— Оставь меня, пожалуйста, въ покоѣ.

— Нѣтъ, я тебя не оставляю; я не могу тебя оставить, мой милый рыцарь! — рѣшительно отвѣчала маска. — Ты мнѣ очень дорогъ, пойми ты — дорогъ мнѣ, Долинскій.

Маски слегка хихикали.

— Ахъ, ужъ оставь его! Онъ радъ бы, видишь ли, и самъ идти съ тобою, да не можетъ, — каргавило звѣздное покрывало.

— Ты думаешь, что она его причаровала?

— О, вѣтъ! Она не чаровница. Она его просто пришила—*пришила его*,—отвѣчало, громко разсмѣявшись, звѣздное покрывало, и обѣ маски побѣжали.

— Пойдемте, пожалуйста, ходить... Гдѣ Дора?—говорила нѣсколько смущенная Анна Михайловна, еще болѣе смущенному Долинскому.

Они встали и пошли; но не успѣли сдѣлать двадцати шаговъ, какъ снова увидѣли тѣ же два домино, шедшія навстрѣчу имъ подъ руки съ очень молодымъ конногвардейцемъ.

— Пойдемте отъ нихъ,—сказала оробѣвшая Анна Михайловна и, дернувъ Долинскаго за руку, повернула назадъ.

— Чего она насъ такъ боится?—спрашивало, наговая ихъ сзади, черное домино у звѣзднаго покрывала.

— Она не сшила мнѣ къ сроку панталонъ,—издѣвалось звѣздное покрывало, и обѣ маски вмѣстѣ съ конногвардейцемъ залились.

— Возьмемъ его приступомъ!—продолжало шутить за спиною у Анны Михайловны и Долинскаго звѣздное покрывало.

— Возьмемъ,—соглашалось домино.

Долинскій терялся, не зная, что ему дѣлать, и тревожно искалъ глазами голубого домино Доры. — Вотъ... Чортъ знаетъ, что я могу, что я долженъ сдѣлать? Еслибъ Дора! ахъ, если бѣ она! Онъ посмотрѣлъ въ глаза Аннѣ Михайловнѣ—глаза эти были полны слезъ.

— Ну, бери!—произнесло сквозь смѣхъ заднее домино и схватило Долинскаго за локоть свободной руки.

Въ то же время звѣздное покрывало ловко отодвинуло Анну Михайловну и взялось за другую руку Долинскаго.

Несторъ Игнатьевичъ слегка рванулся: маски вистѣли крѣпко, какъ хорошо принявшіеся пѣявки, и только захотали.

— Ты не думаешь ли драться?—спросило его покрывало.

Долинскій, ничего не отвѣчая, только оглянулся; конногвардеецъ, сопровождавшій полонившихъ Долинскаго масокъ, рассказывалъ что-то лейбъ-казацкому офицеру и старичку самой благонамѣренной наружности. Всѣ они трое помирали со смѣха и смотрѣли въ ту сторону, куда маски увлекали Нестора Игнатьевича. Пунцовый бантъ на капюшонѣ Анны Михайловны робко жался къ стѣнѣ за колоннадою.

— Пустите меня Бога-ради!—просить Долинскій и вобронуть руками тихо, но гораздо посерьезнѣе.

— Послушай, Долинскій, будь паничка, не дурачься, а не то, *mon cher*, самъ пожалѣешь.

— Дѣлайте, что хотите, только отстаньте отъ меня теперь.

— Ну, хорошо, иди, а мы сдѣлаемъ скандалъ твоей маскѣ.—Долинскій опять оглянулся. Одинокая Анна Михайловна попрежнему жалась у стѣны, но изъ ближайшихъ дверей показался голубой капюшонъ Доры. Конногвардеецъ съ лейбъ-казакомъ и благонамѣреннымъ старичкомъ попрежнему веселились. Лицо благонамѣренного старичка показалось что-то знакомымъ Долинскому.

«Боже мой! — вспомнилъ онъ: — да это, кажется, благодѣтель Азовцовыхъ—откупщикъ», и, оглянувшись на вистѣвшее у него на правомъ локтѣ черное домино, Долинскій проговорилъ строго:

— Юлія Петровна, это вы мнѣ дѣлаете такіе сюрпризы?

Онъ узналъ свою жену.

— Ну, пойдемте же, куда вамъ угодно и, пожалуйста, говорите скорѣе, что хотите вы отъ меня — безсовѣстная вы, ненавистная женщина!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Звѣздочка счастья.

Анна Михайловна, встрѣтивъ Дору, упросила ее тотчасъ же уѣхать съ маскарада.

— Я совсѣмъ нездорова—голова страшно разболѣлась,—говорила она сестрѣ, скрывая отъ нея причину своего настоящаго разстройства.

— Позовемъ же Долинскаго,—отвѣчала Дора.

— Нѣтъ, Богъ съ нимъ—пусть себѣ повеселится.

Сестры пріѣхали домой, слегка закусили и разошлись по своимъ комнатамъ.

Долинскій позвонилъ съ чернаго входа часа черезъ два или даже нѣсколько болѣе. Кухарка отперла ему дверь, подала спички и опять повалилась на кровать.

Спички оказались вовсе ненужными. На столѣ въ столовой горѣла свѣча и стояла тарелка, покрытая чистою салфеткою, подъ которой лежалъ ломоть хлѣба и кусокъ жареной индѣйки.

Несторъ Игнатьевичъ взглянулъ на этотъ ужинъ и, дунувъ на свѣчку, тихонько прошелъ въ свою комнату.

Минутъ черезъ пять кто-то очень тихо постучался въ его двери.

Долинскій, азартно шагавшій взадъ и впередъ, остановился.

— Можно войти,—тихо произнесъ за дверью голосъ Анны Михайловны.

— Сдѣлайте милость,—отвѣчалъ Долинскій, смущаясь и оглянувъ порядокъ своей комнаты.

— Отчего вы не закусили? — спросила, входя тоже нѣсколько смущенная, Анна Михайловна.

— Сытъ,—благодарю васъ за вниманіе.

Анна Михайловна, очевидно, пришла говорить не о закускѣ, но не знала съ чего начать.

— Садитесь, пожалуйста,—вы устали,—отнесся къ ней Долинскій, подвигая кресло.

— Что это было за явленіе такое? — спросила она, опускаясь въ кресло и стараясь спокойно улыбнуться.

— Боже мой! я просто теряю голову,—отвѣчалъ Долинскій.—Я былъ причиною, что васъ такъ тяжело оскорбила эта дрянная женщина.

— Нѣтъ... что до меня касается, то... вы, пожалуйста, не думайте объ этомъ, Несторъ Игнатьичъ. Это — совершенный вздоръ.

— Я далъ бы дорого—о, я дорого бы далъ, чтобы этого вздора не случилось.

— Эта маска была ваша жена?

— Почему вы это подумали?

— Такъ какъ-то, сама не знаю. У меня было нехорошее предчувствіе, и я не хотѣла ни за что ѣхать—это все Даша упрямая виновата.

— Пожалуйста, забудьте этотъ возмутительный случай,—упрашивалъ Долинскій, протягивая Аннѣ Михайловнѣ свою руку.— Иначе это убьетъ меня; я... не знаю, право... я уйду Богъ-знаетъ куда: я просто хотѣлъ уѣхать, хоть въ Москву, что ли.

— Очень мило,—прошептала, качая съ упрекомъ головою, Анна Михайловна.—Вы лучше скажите мнѣ, не было ли съ вами чего дурного?

— Ничего. Она хочетъ съ меня денегъ, и я ей обѣщалъ.

— Какая странная женщина!

— Богъ съ ней, Анна Михайловна. Мнѣ только стыдно... больно... кажется, сквозь землю бы пошелъ за то, что вынесли вы сегодня. Вы не повѣрите, какъ мнѣ это больно...

— Вѣрю, вѣрю, только успокойтесь и забудьте этотъ нехорошій вечеръ,—отвѣчала Анна Михайловна, подавая Долинскому свои обѣ руки.—Вѣрьте и вы, что изъ всего, что сегодня случилось, я хочу помнить одно: вашу боязнь за мое спокойствіе.

— Боже мой! да что же у меня остается въ жизни, кромѣ вашего спокойствія.

Анна Михайловна взглянула на Долинскаго и молча встала.

— Позвольте на одно слово,—попросилъ ее Долинскій.

Анна Михайловна остановилась.

— Вы не сердитесь?—спросилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Я увѣрена, что вы не можете сказать ничего такого, что бы меня разсердило,—отвѣчала Анна Михайловна.

— Я васъ всегда очень уважалъ, Анна Михайловна, а сегодня, когда мнѣ показалось, что я болѣе не буду васъ видѣть, не буду слышать вашего голоса, я убѣдился, я понялъ, что я страстно, глубоко васъ люблю, и я рѣшился... уѣхать.

— Зачѣмъ? — краснѣя и взглянувъ на дверь, отвѣчала Анна Михайловна.

Долинскій молчалъ.

— Вамъ никто не мѣшаетъ... и...

— И что?

— Вы никогда не будете имѣть права подумать, что васъ любятъ меньше,—чуть слышно уронила Анна Михайловна.

Долинскій сжалъ въ своихъ рукахъ ея руку. Анна Михайловна ничего не говорила и, опустивъ глаза, смотрѣла въ землю.

Въ домѣ было до жуткости тихо и сердце билось, точно подъ самымъ ухомъ. И онъ, и она были въ крайнемъ замѣшательствѣ, изъ котораго Анна Михайловна вышла, впрочемъ, первая.

— Пустите, — прошептала она, легонько высвобождая свою руку изъ рукъ Долинскаго.

Тотъ было тихо приподнялъ ея руку къ своимъ устамъ,

по взглянулъ въ лицо Аннѣ Михайловнѣ и робко остановился.

Анна Михайловна сама взяла его за голову, тихо, беззвучно его поцѣловала и быстро отодвинулась назадъ. Приложивъ палецъ къ губамъ, она стояла въ волненіи у притолка.

— Ахъ! не надо, не надо, Бога-ради не надо! — заговорила она, торопясь и задыхаясь, когда Долинскій сдѣлалъ къ ней одинъ шагъ, и, переведа духъ, какъ тѣнь, неслышно скользнула за его двери.

Прошелъ круглый годъ; Долинскій продолжалъ любить Анну Михайловну такъ точно, какъ любилъ ее до маскараднаго случая, и никогда не сомнѣвался, что Анна Михайловна любитъ его не меньше. Ни о чемъ происшедшемъ не было и помину.

Единственною разницею въ ихъ теперешнихъ отношеніяхъ отъ прежняго было то, что они знали изъ устъ другъ друга о взаимной любви, нѣжно лелѣли свое чувство, «блѣднѣли и гасли», ставя въ этомъ свое блаженство.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Симпатическіе попугаи.

Въ теченіе цѣлаго этого года не произошло почти ничего особенно замѣчательнаго, только Доружкины симпатическіе попугаи, Оля и Маша, къ концу мясоѣда выкинули премудрительную штуку, еще болѣе упрочившую за ними названіе *симпатическихъ попугаевъ*. Въ одинъ прекрасный день онѣ сообщили Дорѣ, что онѣ выходятъ замужъ.

— *Объ вѣстѣ?* — спросила, удивясь, Дора.

— Да; такъ вышло, Дарья Михайловна, — отвѣчали дѣвушки.

— По крайней мѣрѣ, не за одного хотъ?

— Нѣтъ-съ, какъ можно?

— То-то.

Онѣ выходили за двухъ родныхъ братьевъ, наборщиковъ изъ бывшей по сосѣдству типографіи.

Затѣялась свадьба, въ устройствѣ которой Даша принимала самое жаркое участіе, и, наконецъ, въ одинъ вечеръ передъ масляницей, симпатическихъ попугаевъ обвѣнчали. Свадьба справлялась въ двухъ комнатахъ, нанятыхъ въ томъ же домѣ, гдѣ помѣщался магазинъ Анны Михайловны.

Анна Михайловна была посаженою матерью дѣвушекъ, Несторъ Игнатьевичъ посаженнымъ отцомъ, Дорушка и Анна Анисимовна — дружками у Оли и Машы. Илья Макаровичъ былъ въ эту пору боленъ и не могъ принять въ торжествѣ никакого личнаго участія, но прислать дѣвушкамъ по парѣ необыкновенно изящно-разрисованныхъ вѣнчальныхъ свѣчъ, бѣлаго пѣтуха съ краснымъ гребнемъ и бѣлую курочку.

Магазинъ въ этотъ день закрыли ранѣе обыкновеннаго, и всѣ столпились въ немъ около Дашы, подъ надзоромъ которой передъ большими трюмо происходило одѣванье невестъ.

Даша была необыкновенно занята и оживлена; она хлопотала обо всемъ, начиная съ башмака невестъ и до каждаго бантика въ ихъ головныхъ уборахъ. Наряды были подарены невестамъ Анной Михайловной и частью Дорой, изъ ея собственнаго заработка. Она также сдѣлала на свой счетъ два самыя скромныя, совершенно одинаковыя бѣлыя платья для себя, и для своего друга — Анны Анисимовны. Дорушка и Анна Анисимовна, обѣ были одѣты одинаково, какъ двѣ родныя сестры.

— Что это за прелестное созданіе наша Дора! — заговорила Анна Михайловна, взойдя въ комнату Долинскаго, когда былъ оконченъ уборъ.

— Да, что ужъ о ней, Анна Михайловна, и говорить! — отвѣчалъ Долинскій. — Счастливый будетъ человѣкъ, кого она полюбитъ.

Анна Михайловна случайно чихнула и сказала:

— Вотъ и правда.

— Господа! Симпатическіе попугаи! — позвала, сѣбно пріотворивъ дверь и выставивъ свою головку, Дора. — Чего-жъ вы сюда забились? — Пожалуйте благословлять моихъ попугаевъ.

Кончилось благословеніе и вѣнчаніе, и начался пиръ. Анна Михайловна пробыла съ часъ и стала прощаться; Долинскій послѣдовалъ ея примѣру. Ихъ удерживали, но они не остались, боясь стѣснять своимъ присутствіемъ гостей жениховыхъ, и поступили очень основательно. Все-таки Анна Михайловна была *хозяйка*, все-таки Долинскій — *баринъ*.

Дорушка была совсѣмъ пное дѣло. Она умѣла всегда держать себя со всѣми какъ-то особенно просто, и невесты

были бы очень огорчены, если бы она оставила их торжественный ширь, ранѣе чѣмъ ему положено было окончиться по порядку.

Въ комнатахъ была изрядная давка и духота, но Дора не тяготилась этимъ, и подъ звуки плохенькаго квартета танцевала съ наборщиками двѣ кадрили.

Въ квартирѣ Анны Михайловны не оставалось ни души; даже дѣвочки были отпущены веселиться на свадьбѣ. Двери съ обоихъ подъѣздовъ были заперты, и Анна Михайловна, съ работою въ рукахъ, сидѣла на мягкомъ диванѣ въ комнатѣ Долинскаго.

Вездѣ было такъ тихо, что черезъ три комнаты было слышно, какъ кто-нибудь шмыгалъ резиновыми калошами по парадной лѣстницѣ. Красивый и очень сторожкій кинг-чарльзъ Анны Михайловны, «Риголетка», непривыкшая къ такой ранней тишинѣ, безпрестанно поднимала головку, взмахивая волнистыми ушами, и сердито рычала.

— Успокойся, успокойся, Риголеточка, — уговаривала ее Анна Михайловна, но собачка все тревожилась и насилу заснула.

— Что это за жизнь безъ Доры-то была бы какая скучная, — сказала послѣ долгой паузы Анна Михайловна, относясь къ настоящему положенію.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, какъ безъ нея тихо.

— Я тамъ было сѣла у себя, такъ даже какъ будто страшно, — молвила Анна Михайловна, и послѣ непродолжительнаго молчанія добавила: — ужасно дурная вещь одиночество!

— И не говорите. Я такъ отъ него настрадался, что до сихъ поръ, кажется, еще никакъ не отдышусь.

Анна Михайловна снова помолчала, и съ едва замѣтной улыбкой сказала:

— А ужъ, кажется, пора бы.

— Впрочемъ, человѣкъ никогда не бываетъ совершенно счастливъ, — проговорила она, вздохнувъ черезъ нѣсколько времени.

— Сердце будущимъ жить.

— А вотъ это-то и нехорошо. Вѣдь вотъ я же счастлива. Долинскій промолчалъ. Онъ стоялъ у печки и грѣлся.

— А вы, Несторъ Игнатьичъ? — спросила она, улыбнувшись и положивъ на колѣна свою работу.

— Я очень счастливъ и доволенъ.

— Чѣмъ?

— Судьбой, и чѣмъ хотите, — отвѣчалъ весело Долинскій.

— А я, знаете, чѣмъ и кѣмъ болѣе всего довольна? — Анна Михайловна нѣсколько лукаво посмотрѣла искоса на молчавшаго Долинскаго и договорила: — вами.

Долинскій шутливо поклонился.

— Въ самомъ дѣлѣ, Несторъ Игнатьичъ, — продолжала краснѣя и волнуясь, Анна Михайловна: — вы мнѣ доказали истинно и не словами, что вы меня, дѣйствительно, любите.

Долинскій также шутливо поклонился еще ниже.

— Я думала, что такъ въ наше время ужъ никто не умѣетъ любить, — произнесла она, мѣшаясь, какъ переконфуженный ребенокъ.

Долинскій подошелъ къ Аннѣ Михайловнѣ, взялъ и поцѣловалъ ея руку.

Анна Михайловна безотчетно задержала его руку въ своей.

— Вы — хорошій человекъ, — прошептала она и подняла къ его плечу свою свободную руку.

Въ это же мгновеніе Риголетка насторожила уши и съ звонкимъ лаемъ кинулась къ черному входу. Послышался сильный и нетерпѣливый стукъ.

— Посмотрите, пожалуйста, кто это? — произнесла Анна Михайловна, вздрогнувъ и скоро выбрасывая изъ своей руки руку Долинскаго.

Долинскій пошелъ въ кухню и тамъ тотчасъ же послышался голосъ Даши:

— Чего это вы до сихъ поръ не отпираете! Десять часовъ стучусь и никакъ не могу достучаться, — взыскивала она съ Долинскаго.

— Не слышно было.

— Помилуйте, мертвые бы, я думаю, услышали, — отвѣчала она, пробѣгая.

— Сестра! — позвала она.

— Ну, — откликнулась Анна Михайловна изъ комнаты Долинскаго.

Дорушка вбѣжала на этотъ голосъ и, остановясь, спросила:

— Что это ты такая?

— Какая? — мѣшаясь и еще болѣе краснѣя, проговорила Анна Михайловна.

— Странная какая-то,—проронила скороговоркой Дора и сейчас же добавила:—дай мнѣ десять рублей, у нихъ недостаетъ чего-то.

Анна Михайловна пошла въ свою комнату и достала Дашѣ десять рублей.

— Не бѣгай ты такъ, Дора, Бога ради, въ одномъ платьѣ по лѣстницамъ,—попросила она Дорушку, но та ей не отвѣтила ни слова.

Анна Михайловна, проводивъ сестру до самого порога, торопливо прошла прямо въ свою комнату и заперла за собою дверь.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Маленькія непріятности начинаютъ нѣсколько мѣшать большому удовольствію.

Послѣ сочетанія симпатическихъ попугаевъ, почти цѣлый домъ у Анны Михайловны переболѣлъ. Первая начала хворать Дорушка. Она простудилась и на другой же день послѣ этой свадьбы закашляла и захрипѣла, а на третій слегла. Стали Дорушку лѣчить, а она стала разнемогаться и, наконецъ, заболѣла самымъ серьезнымъ образомъ. Додинскій и Анна Михайловна не отходили отъ ея постели. Болѣзнь Доры была не острая, но угрожала весьма нехорошимъ. Въ домѣ это всѣ чувствовали и, кажется, только боялись произнести слово *чахотка*; но когда кто-нибудь произносилъ это слово случайно, всѣ оглядывались на комнату Дашы и умолкали. Такъ прошло около мѣсяца. Наконецъ, стало Дашѣ чуть-чуть будто полегче — Анна Михайловна простудилась и захворала. Болѣзнь Анны Михайловны была непродолжительная и неопасная. Дора во время этой болѣзни чувствовала себя настолько сильною, что даже могла ухаживать за сестрою, но тотчасъ же, какъ Анна Михайловна начала обмогаться, Дора опять сошла въ постель и еще посерьезнѣе прежнего.

— Ну, ужъ теперь, кажется, будетъ крапонецъ,—сказала она сама.

Характеръ Доры мало измѣнялся и въ болѣзни, но все-таки она жаловалась, говоря:

— Не знаете вы, господа, сколько нужно силы надъ собою имѣть, чтобы никому не надоедать и не злиться.

Иногда, впрочемъ, и Дорушка не совсѣмъ владела собою

и у нея можно было замѣчать движенія безпокойныя; которыхъ бы она, вѣроятно, не допустила въ здоровомъ состояннн. Это не были ни дерзости, ни придирки, а такъ... больная фантазія. Во время болѣзни Анны Михайловны, когда еще Дора бродила на ногахъ, она, напримѣръ, одинъ разъ ужасно разсердилась на Риголетку за то, что муткая собачка залаяла, когда она входила въ слабо-освѣщенную комнату сестры. Даша вспыхнула, схватила лежавшій на комодѣ зонтикъ и кинулась за собачкой. Риголетка изъ комнаты Анны Михайловны бросилась въ столовую, гдѣ Долинскій пилъ чай, и спряталась у него подъ стуломъ. Даша въ азартѣ достала ее изъ-подъ стула и нѣсколько разъ больно ударила ее зонтикомъ.

— Дорунка! Дарья Михайловна!—останавливать ее Долинскій.

— Даша! что это съ тобой? — слышался изъ спальни голосъ Анны Михайловны.

Даша все-таки хорошенько прибила Риголетку, и когда наказанная собачка жалобно визжала, спрятавшись въ спальнѣ Анны Михайловны, сама спокойно сѣла къ самовару.

— Ну, за что вы били бѣдную собачку?—обрезонивать ее тихо и кротко Долинскій.

— Такъ, для собственнаго удовольствія... За то, что она любить меня меньше, чѣмъ васъ,—отвѣчала запальчиво Дора.

— Достойная причина!

— Пусть не лаетъ на меня, когда я вхожу въ сестриную комнату.

— Темно было, она васъ не узнала.

— А зачѣмъ она васъ узнаетъ и не лаетъ? — возразила Даша, съ раздувающимися ноздрями.

— О, ну, Богъ съ вами! что вамъ ни скажешь, все не-впопадъ, за все вы готовы сердиться,—отвѣчалъ, покраснѣвъ, Долинскій.

— Потому что вы вздоръ все говорите.

— Ну, я замолчу.

— И гораздо умнѣе сдѣлаете.

— Даже и уйду, если хотите, — добавилъ, беззвучно смѣясь, Долинскій.

— Отправляйтесь,—серьезно проговорила Даша.—Отправляйтесь, отправляйтесь,—добавила она, своди его за руку со стула.

Несторъ Игнатьевичъ всталъ и тихонько пошелъ въ комнату Анны Михайловны. Чуть только онъ переступилъ порогъ этой комнаты, изъ-подъ кровати раздалось сердитое рычаніе напуганной Риголетки.

— Ага! исправилась?—отнесся Долинскій къ собачкѣ.— Ну, Риголеточка, утѣшь, утѣшь Дарью Михайловну еще!

Риголетка снова сердито залаяла.

— Ммм! дуракъ, настоящій дуракъ,—произнесла, смотря на Долинскаго, Дора и, соблазненная его искреннимъ смѣхомъ, сама тихонько надъ собой разсмѣялась.

Такъ время подходило къ веснѣ; Дорушка все—то вставала, то опять ложилась и все хворала и хворала; Долинскій и Анна Михайловна попрежнему тщательно скрывали свою великопостную любовь отъ всякаго чужого глаза, но, однако, тѣмъ не менѣе, никто не вѣрилъ этому пуризму, и въ мастерской, при разговорахъ объ Аннѣ Михайловнѣ и Долинскомъ, собственныя имена ихъ не употреблялись, а говорилось просто: сама и ейный.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Капризы.

Наконецъ, на дворѣ запахло гнилою гадостью; гнилая петербургская весна приближалась. Здоровье Даши со всякимъ днемъ становилось хуже. Она, видимо, таяла. Она давно уже, что говорится, дышала на ладанъ. Докторъ, который ее пользовалъ, отказался брать деньги за визиты.

— Вы мнѣ лучше платите въ мѣсяцъ,—сказалъ онъ:—я буду заѣзжать къ больной, и буду стараться ее поддерживать. Больше я ничего сдѣлать не могу.

— У нея чахотка?—спросилъ Долинскій.

— Несомнѣнная.

— Долго она можетъ жить?

Докторъ пожалъ плечами и отвѣчалъ:

— Болѣзнь въ сильномъ развитіи.

Съ четвертой недѣли поста Даша вовсе не вставала съ постели. Въ домѣ все приняло еще болѣе грустный характеръ. Ходили на цыпочкахъ, говорили шопотомъ.

— Господи! вы меня уморите прежде, чѣмъ смерть придетъ за мною,—говорила больная.—Все шушукать, да скользять безъ слѣда, точно тѣни могильныя. Да поживите

вы еще со мною! дайте мнѣ послушать человеческого голоса! дайте хоть поглядѣть на живыхъ людей!

Ухода и заботливости о Дорушкиномъ спокойствіи было столько, что они ей даже надоедали. Проснувшись какъ-то разъ ночью, еще съ начала болѣзни, она обвела глазами комнату и, къ удивленію своему, замѣтила при лампадѣ, кромѣ дремлющей на диванѣ сестры, крѣпко спящаго на плетеномъ стулѣ Долинскаго.

— Кто это, Аня?—спросила шопотомъ Дорушка, указывая на Долинскаго.

— Это Несторъ Игнатьичъ,—отвѣчала Анна Михайловна, оправляясь и подавая Дорѣ ложку лѣкарства.

Дорушка выпила микстуру и, сдѣлавъ гримаску, спросила, глядя на Долинскаго:

— Зачѣмъ эта мумія тутъ торчитъ?

— Онъ все сидѣлъ... и какъ удивительно онъ спитъ!

— Еще упадетъ и перепугаетъ.

— Бѣдняжка! три ночи онъ совсѣмъ не ложился.

— Спасибо ему,—отвѣчала тихо Дора.

— Да, преуморительный; сегодня всталъ, чтобы дать тебѣ лѣкарства, налилъ и самъ всю цѣлую ложку со сна и выпилъ.

Анна Михайловна беззвучно разсмѣялась.

— Мірское челобитье, въ лубочкѣ связанное, — проговорила, глядя на Долинскаго, Дора.

— Голубинное сердце,—добавила Анна Михайловна.

Въ другой разъ Дантъ все казалось, что о ней никто не хочетъ позаботиться, что ее всѣ бросили.

Анна Михайловна не отходила отъ сестры ни на минуту. Въ магазинѣ всѣмъ распоряжалась m-me Alexandrine, и тамъ все шло капромъ да въ кучу, но Анна Михайловна не обращала на это никакого вниманія. Она выходила изъ комнаты сестры только въ сумерки, когда мастерицы кончали работу, оставляя на это время у больной Нестора Игнатьевича. Впрочемъ, они всегда сидѣли вмѣстѣ. Анна Михайловна работала въ ногахъ у сестры, а Несторъ Игнатьевичъ читалъ вслухъ какую-нибудь книгу. Больная лежала и смотрѣла на нихъ, иногда слушая, иногда далеко летая отъ того, о чемъ разсказывалъ авторъ.

Насталъ канунъ Вербнаго воскресенья. Въ этотъ вечеръ въ магазинѣ никого не было. Мастерицы разошлись, дѣ-

вочки спали на своих постелькахъ. Все было тихо. Анна Михайловна, по обыкновенію, заготовляла на живую нитку разныя работы. Она очень спѣшила, потому что заказовъ къ празднику было множество. Несторъ Игнатьевичъ сидѣлъ за тѣмъ же столикомъ возлѣ Анны Михайловны и правилъ какія-то корректуры. Даша, казалось, спала очень покойно. За пологомъ не было слышно даже ея тихаго дыханія. Но среди всеобщей тишины, нарушаемой только черканьемъ стального пера, да шелканьемъ иглы, прокалывавшей крѣпкую шелковую матерію, больная начала что-то нашептывать. Несторъ Игнатьевичъ и Анна Михайловна перестали работать и подняли головы. Больная все шептала внятіе и внятіе. Наконецъ, она произнесла совершенно внятно:

«И схоронить въ сырую могилу.
Какъ пройдешь ты тяжелый свой путь,
Безполезно угасшую силу
И внятѣмъ не согрѣтую грудь».

Дорушка тяжело вздохнула и сказала:

— Господи! какъ глухо такъ умереть.

— Она бредитъ?—спросилъ шопотомъ Долинскій.

— Должно-быть,—шопотомъ же отвѣчала ему Анна Михайловна.

— Что вы тамъ все шепчетесь? — тихо проговорила больная.

— Что ты, Даша?—спросила ее Анна Михайловна, какъ будто не разслушавъ ея вопроса.

— Я говорю, что вы все шепчетесь, точно влюбленные, или какъ надъ покойникомъ.

— Богъ-знаетъ, что тебѣ все приходитъ въ голову! Намъ просто показалось, что ты бредишь; мы не хотѣли тебя разбудить.

— Нѣтъ, я не брежу: я не спала. Откройте мнѣ завѣсъ,—сказала Даша, ударивъ рукою по пологу.

Долинскій всталъ и откинулъ половину полога.

— Все, все отбросьте, вотъ такъ! — сказала больная. — Ну, говорите теперь, — добавила она, оправивъ на себѣ кофту.

— О чемъ прикажете говорить, Дарья Михайловна? — спросилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Не умѣете говорить! Ну, прочитайте мнѣ что-нибудь

Некрасова, я бы послушала, хоть: «гробикъ ребенку, ужинъ отцу» прочтите.

Долинскій зналъ, что Даша любила въ Некрасовѣ, и зналъ, что чтеніе этихъ любимыхъ вещей очень сильно ее волновало и вредило ея здоровью.

— Некрасова-то нѣтъ дома, — отвѣчать онъ.

— Куда же это онъ уѣхалъ?

— Я его далъ одному знакомому.

— Все врать! Какъ вы всѣ безъ меня изоврались! — говорила Даша, улыбаясь черезъ силу: — а особенно вы и Анна. Что ни ступите, то солжете. Ну, вотъ читайте мнѣ Лермонтова — я его никому не отдала, и Даша, доставъ изъ-подъ подушки роскошно переплетенное изданіе стихотвореній Лермонтова, подала его Долинскому.

— «Мцыри», — сказала Даша.

Несторъ Игнатьевичъ прочелъ «Мцыри».

— «Бояринъ Орша», — сказала больная снова, когда Долинскій дочиталъ «Мцыри».

Онъ прочелъ «Боярина Оршу», а она ему заказывала новое чтеніе. Такъ прочли «Хаджи Абрека», «Молитву», «Сказку для дѣтей» и, наконецъ, нѣсколько главъ изъ «Демона».

— Ну, довольно, — сказала Даша. — Хорошенькаго понемножку. Дайте-ка мнѣ мою книгу.

Долинскій подаль ей книжку; она вложила ее въ футляръ и сунула подъ подушку. Долго-долго смотрѣла она, облокотясь своей исхудалой ручкой о подушку, то на сестру, то на Нестора Игнатьевича; кусала свои пересмуглыя губки и вдругъ совершенно спокойнымъ голосомъ сказала:

— Поцѣлуйтесь, пожалуйста.

Анна Михайловна вспыхнула и съ упрекомъ сказала:

— Что ты это говоришь, Даша?

— Что жъ я сказала? Я сказала: поцѣлуйтесь, пожалуйста.

Долинскому и Аннѣ Михайловнѣ было до крайности неловко, и они оба не находили словъ.

— Что ты, съ ума сошла, Дора! — могла только проронить Анна Михайловна.

— Какіе вы смѣшные! — проговорила, улыбаясь, больная. — Вѣдь вы же любите другъ друга.

— Что вы это говорите? что вы говорите! — повторять

съ упрекомъ переконфуженный Долинскій, глядя на еще болѣе сконфуженную Анну Михайловну.

Больная отвернулась къ стѣнѣ, не удостоивъ этихъ упрековъ ни малѣйшаго вниманія, и, помолчавъ съ минуту, опять сказала:

— Да поцѣлуйтеся, что ли! Мнѣ такъ хочется видѣть, какъ вы любите другъ друга.

— Даша! тебѣ вѣрно хотѣлось видѣть, какъ я плачу, такъ ты какъ нельзя лучше этого достигла,—сказала полголосомъ Анна Михайловна и, сбросивъ съ колѣнъ работу, быстро вышла изъ комнаты. Слезы текли у нея по обвѣтымъ щекамъ.

Долинскій посмотрѣлъ ей влѣдъ и остался молча на своемъ мѣстѣ.

— Вотъ чудакъ! — тихо заговорила Дора и начала досадливо кусать губки. Это означало, что Даша одинаково недовольна и другими, и сама собою.

— Смѣшно! — воскликнула она черезъ минуту съ тою же досадою и съ явнымъ желаніемъ вызвать на разговоръ Долинскаго.

— Да, конекъ игрушки, а мышекъ слезки,—отвѣтилъ, не поднимая глазъ отъ бумаги, Долинскій.

Даша всыхнула.

— Э! ужъ хоть вы, по крайней мѣрѣ, перестаньте, пожалуйста, комонничать! — крикнула она запальчиво на Долинскаго.

— Что такое значить *комонничать*? Извините, пожалуйста, я даже слова такого не знаю,—отвѣчалъ сухо Долинскій.

— Русское слово.

— Никогда не слыхалъ въ моей жизни.

— Мало ли чего вы еще не слыхали въ вашей жизни!

Въ это время въ комнату снова вошла Анна Михайловна и опять спокойно сѣла за свою работу. Глаза у нея были заплаканы.

Дора посмотрѣла на сестру, слегка поморщила свой лобъ и попросила ее переложить себѣ подушки.

— Ну, а теперь уйдите отъ меня,—сказала она неоправившимся отъ смущенія голосомъ сестрѣ и Долинскому.

— Я останусь съ тобою,—отвѣчала ей Анна Михайловна.

— Нѣтъ, нѣтъ! Идите оба: «мнѣ видѣ вашъ ненавистень»,— тихо улыбаясь, шутила Дора.— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, мнѣ хочется быть одной... спать хочется. Идите себѣ съ Богомъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Присказка кончается и начинается сказка.

На третій день праздника пріѣхалъ докторъ, поговорилъ съ больною и, прописавъ ей малиновый сиропъ съ какою-то невинною примѣсью, сказалъ Аннѣ Михайловнѣ, что въ этомъ климатѣ Дашѣ остается жить очень недолго и что какъ послѣднее средство продлить ея дни, онъ совѣтуетъ немедленно повезти ее на югъ, въ Италію, въ Ниццу.

— Природа перѣдко дѣлаетъ чудеса, — утѣшалъ онъ Анну Михайловну.

— А для нея, докторъ, возможно еще такое чудо?

— Отчего нѣтъ? Природа чародѣйка, ея аптека всѣмъ богата.

— Какъ же это сдѣлать?—спрашивала Анна Михайловна Долинскаго.

— Надо ѣхать въ Ниццу.

— Да не то, что надо. Объ этомъ ужъ и говорить нечего, что надо; а какъ ее возъ? Какъ ее уговорить ѣхать?

— Въ самомъ дѣлѣ: кто же ее повезетъ? Кому съ нею ѣхать?

— Или мнѣ, или вамъ. Объ этомъ послѣ подумаемъ. Безъ меня тутъ все стало — да это Богъ съ ними, пусть все пропадетъ; а какъ ее приготовить?

— Хотите, я попробую?—вызвался Долинскій.

— Да. Очень хочу, но только надо осторожно, ловко, чтобъ не перепугать ее. Она все-таки еще, можетъ-быть, не знаетъ, что ей такъ худо.

— Лучше вмѣстѣ, заведемъ разговоръ сегодня вечеромъ.

— И прекрасно.

Но вечеромъ они разговора не завели; не завели они этого разговора и на другой, и на третій, и на десятый вечеръ. Все смѣлости у нихъ недоставало. Дашѣ, между тѣмъ, стало какъ будто полегче. Она вставала съ постели и ходила по комнатѣ. Докторъ былъ еще два раза, торопясь отправленіемъ больной въ Италію и подтрунивалъ

надъ нерѣшимостью Анны Михайловны. Приѣхавъ въ третій разъ, онъ сказалъ, что рѣшительно весны упускать нельзя и, поговоривъ съ больной въ очень удобную минуту, сказалъ ей:

— Вы теперь, слава-Богу, ужъ гораздо крѣче, *m-lle Dorothée*; вамъ бы очень хорошо было теперь поѣхать на югъ. Это бы васъ совсѣмъ оживило и разсѣяло.

Больная посмотрѣла на него долгимъ, пристальнымъ взглядомъ и сказала:

— Что жъ, я не противъ этого.

— Такъ и поѣзжайте.

— Это не отъ меня зависитъ, докторъ. Надо знать, какъ сестра, или, лучше, какъ ея средства.

— Сестра ваша совершенно согласна на эту поѣздку.

— Вы съ ней развѣ говорили?

— О! да. Давно, нѣсколько дней назадъ говорилъ.

— Что жъ это они мнѣ ни слова не сказали! Все боятся, что умру, — добавила она съ грустной улыбкой.

— Они васъ очень любятъ.

— Очень любятъ, — подтвердила задумчиво больная.

— Такъ вы поѣдете? — спросилъ ее снова докторъ.

— Пусть везутъ, пусть везутъ. Пусть, что хотятъ со мной дѣлаютъ: только пожить бы немножко.

— Поживете! — отвѣчалъ докторъ спокойно, берясь за шляпу.

— Немножко?

Докторъ протянулъ ей руку и, не отвѣчая на вопросъ, сказалъ:

— Такъ до свиданія, *m-lle Dorothée*!

Даша удержала его руку и опять спросила его:

— Такъ немножко?

— Что немножко?

— Поживу-то?

— Поживете, поживете, — отвѣчалъ докторъ, чтобы что-нибудь отвѣчать.

— Ну, а не хотите сказать правды, такъ и Богъ съ вами, — сказала Даша. — Забѣжайте жъ хоть проститься.

— Непремѣнно.

— То-то; а то вѣдь, пожалуй, ужъ не увидимся до радостнаго утра.

Докторъ ушелъ, а Даша позвала сестру, попеняла ей за

нерѣшительность и объявила, что она съ болѣющимъ удовольствіемъ готова ѣхать въ Италію.

Поездка была отложена до перваго дня, когда докторъ найдетъ Дашу способною выдержать дорогу. Изъ аптеки ей приносили всякій день укрѣпляющія лѣкарства, а Анна Михайловна, собирая ея бѣлье, платье, все осматривала, поправляла и укладывала въ особый ящикъ.

— Золотая ты моя! Точно она меня замужъ сваряжаетъ, — говорила, глядя на сестру, Даша.

Дарья Михайловна обмогалась. Хотя она еще не выходила изъ своей комнаты, но докторъ надѣялся, что она на дняхъ же будетъ въ состояніи выѣхать за границу. Вечеромъ въ тотъ день, когда докторъ высказалъ свое мнѣніе, Анна Михайловна сидѣла у конца письменнаго стола въ комнатѣ Нестора Игнатьевича. Она сводила счеты и безпрестанно надъ ними задумывалась. Денегъ было мало. Дашина болѣзнь и зашедшіе во время этой болѣзни безпорядки серьезно разстроили дѣла Анны Михайловны, державшіяся только ея неусынными заботами и бережливостью.

— Ну, что? — спросилъ Долинскій, види, что рука Анны Михайловны провела черту и подписала итогъ.

— Плохо, — улыбаясь, отвѣтила Анна Михайловна.

— Сколько же?

— Всего въ сборѣ около тысячи рублей, около двухъ тысячъ въ долгахъ; тѣхъ теперь и думать нечего собрать. Изъ тысячи, четыреста сейчасъ надо отдать, рублей триста надо здѣсь на мѣсяцъ...

Въ это время за дверью кто-то запѣлъ медвѣдя, какъ поютъ его маленькія дѣти, когда они думаютъ кого-нибудь испугать:

«Я скрипу-скрипу медвѣдь,
Я на липовой ногѣ,
Въ сафьяномъ сапогѣ».

— Кто бы это? — сказали въ одинъ голосъ оба, и Долинскій пошелъ къ двери.

Не успѣлъ онъ взяться за ручку, какъ дверь сама открылась и ему предстала Дорушка, въ бѣломъ пеньюарѣ и въ большихъ теплыхъ вязаныхъ сапогахъ. Въ одной рукѣ она держала свѣчку, а другою опиралась на палочку.

— Дарья Михайловна, что вы это дѣлаете? — вскрикнулъ

Несторъ Игнатьевичъ:—вѣдь вамъ еще не позволено выходить.

— Молчите, молчите,—запыхавшись и грозя пальчикомъ, отвѣчала Даша. —Послѣ будете разсуждать, а теперь да-вайте-ка мнѣ поскорѣй кресло. Да не туда, а вонъ къ камину. Ну, вотъ такъ. Теперь подбросьте побольше угля и одѣньте меня чѣмъ-нибудь теплымъ—я все зябну.

Несторъ Игнатьевичъ поставилъ Дашѣ подъ ноги скамейку, набросалъ въ каминъ изъ корзины новаго кокса, а Анна Михайловна взяла съ дивана бѣличій халатъ Долинскаго и одѣла имъ больную.

— Ишь, какой онъ нѣжкоха! Какой у него халатикъ мягенькій,—говорила Даша, проводя ручкой по нѣжному бѣличьему мѣху.—И какъ тутъ все хорошо! И въ мастерской такъ хорошо, и вездѣ... вездѣ будто какъ все новое стало. Какъ я вылежалась-то, Боже мой, руки-то, руки-то, посмотрите, Несторъ Игнатьичъ? Видите?—спросила она, поставивъ свои ладони противъ камина:—насквозь свѣтятся.

— Поправитесь, Дорушка,—сказалъ Долинскій.

— А?

— Поправитесь, я говорю.

Даша глубоко вздохнула и проговорила:

— Да, поправляюсь.

— Чего ты на меня такъ смотришь? —спросила она сестру, которая забылась и не умѣла скрыть всего страданія, отразившагося въ ея глазахъ, устремленныхъ на угасающую Дашу. — Не смотри такъ, пожалуйста, Аня, это мнѣ непріятно.

— Я такъ, Даша, задумалась.

— О чемъ тебѣ думать?

— Такъ, о дѣлахъ.

Вышла маленькая пауза.

— Сколько я въ нынѣшнемъ году заработала? —проговорила Даша, глядя на огонь.—Рублей двадцать?

— Что это тебѣ вздумалось, Даша?

— А на лѣчение мое, я думаю, Богъ знаетъ сколько вышло?

— Да я не считала, Даша, и что это тебѣ приходитъ въ голову.

— Нѣтъ, ничего, я такъ это.

— Даша, Даша, какъ тебѣ не грушно, за что ты меня

обижаешь? Неужто ты думаешь, что мнѣ жаль для тебя денегъ?

— Кто жъ думаетъ, что тебѣ жаль? я только думаю, есть ли у тебя чего жалѣть, покажите-ка мнѣ, что вы считали?

Анна Михайловна подала Дашѣ исписанную карандашомъ бумажку.

— Что жъ это значить, денегъ почти что нѣтъ! — сказала Даша, положивъ счетъ на колѣни.

— Есть около четырехсотъ на поѣздку, — отвѣчала Анна Михайловна.

— Около семисотъ, потому что у меня есть триста.

— Вамъ же надо высылать ихъ?

Долинскій поморщился и отвѣчалъ:

— Нѣтъ, не надо.

— Какъ же не надо, когда надо?

— Надо высылать еще черезъ пять мѣсяцевъ.

— Куда ему высылать нужно? — спросила Даша, смотря въ каминъ прищуренными глазками.

Ей никто не отвѣчалъ. Несторъ Игнатьевичъ стоялъ у печи, заложивъ назадъ руки, а сестра разглаживала ногтемъ какую-то ни къ чему не годную бумажку.

— А, это пенсіонъ за безпорочную службу той барынѣ, которая все любитъ *очень*, а деньги больше всего, — сказала, подумавъ, Дора: — хоть бы передъ смертью посмотрѣть на эту особу; полтинникъ бы, кажется, при всей нынѣшней бѣдности заплатила.

— Дорушка, — вполголоса проговорила Анна Михайловна.

— Что ты?

Анна Михайловна качнула головой, показала глазами на Долинскаго. Долинскій слышалъ слово отъ слова все, что сказала Даша насчетъ его жены, и сердце его не сжалось тою мучительною болью, которою оно сжималось прежде, при каждомъ касающемся ея словѣ. Теперь при этомъ разговорѣ онъ оставался совершенно покойнымъ.

— А вы вотъ о чемъ, Дорушка, поговорите лучше, — сказалъ онъ: — кому съ вами ѣхать?

— Въ самомъ дѣлѣ, мы все толкуемъ обо всемъ, а не рѣшимъ, кому съ тобой ѣхать, Даша.

— Вѣдь паспорта нужно взять, — замѣтилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Киньте жребій, кому выпадеть это счастье, — шутила Дора. — Тебѣ, сестра, будетъ очень трудно уѣхать. Alexandre твоя, что называется, пустельга чистая. Тебѣ положиться не на кого. Все тутъ безъ тебя въ разоръ пойдетъ. Помнишь, какъ тогда, когда мы были въ Парижѣ. Такъ тогда всего на какихъ-нибудь три мѣсяца уѣзжали и въ глухую пору, а теперь... Нѣтъ, тебѣ никакъ нельзя ѣхать со мной.

— Да это что! Пусть идетъ какъ пойдетъ.

— За эту готовность цѣлую твою ручку, только вѣдь и тамъ безъ денегъ макароновъ не дадутъ, а денегъ безъ тебя брать не откуда.

Всѣ задумались.

— Вѣрно ужъ съѣздите вы съ нею, — сказала Анна Михайловна, обращаясь къ Долинскому.

— Вы знаете, что я никогда не думалъ отказываться отъ услугъ Доружки.

— Поѣдьте, мой милый! — сказала Даша, обернувшись къ нему свое милое личико и протянувъ руку.

Долинскій скоро подошелъ къ креслу больной, поцѣловалъ ее руку и отвѣчалъ:

— Поѣдьте, поѣдьте, Доружка. Я только боюсь, сумѣю ли я васъ успокоить!

— Вы не боитесь чахотки? — спросила Даша, едва удерживая своими длинными рѣсницами слезы, наполнившія ей глаза.

— Нѣтъ, не боюсь, — отвѣчалъ Долинскій.

— Ну, такъ дайте, я васъ поцѣлую. Она взяла руками его голову и крѣпко поцѣловала его въ губы.

— Женщины отсюда брать не надо. Мы вездѣ найдемъ женскую прислугу, — соображалъ Несторъ Пугачевъ.

— Не надо, не надо, — говорила Даша, махая рукой: — ничего не надо. Мы будемъ жить экономно въ двухъ комнатахъ. Можно тамъ найти квартиру въ двѣ комнаты и невысоко?

— Можно.

— Ну, вы будете работать, пишите корреспонденціи, начинайте другую повѣсть. Говорятъ, за границей хорошо писать о родинѣ. Мнѣ кажется, что это правда. Никогда родина такъ не мила, какъ тогда, когда ее не видишь. Все маленькое, все скверненькое останется, а хорошее встаетъ

и рисуется въ памяти. Будете мнѣ читать, что напишете; будемъ марать, поправлять. А я буду лѣниться, гулять, дышать теплымъ воздухомъ, смотрѣть на голубое небо, спать подъ горячимъ солнцемъ. Ахъ, вотъ я ужъ, право, какъ будто чувствую, кажется, какъ я тамъ согрѣюсь, какъ прилетитъ въ мою грудь струя новаго, ласковаго воздуха. Да скорѣй, скорѣй ужъ, что ли, везите меня съ этого «миллаго сѣвера въ сторону южную».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Дѣло темной ночи.

Черезъ три дня все было готово и на завтра назначенъ выѣздъ. Вечеромъ пили чай въ комнатѣ Дани. О чтеніи никто не думалъ, но всѣ молчали, какъ это часто бываетъ передъ разлукою у людей, которые на прощанье много-много чего-то хотѣли бы сказать другъ другу и не могутъ; мысли разсыпаются, разговоръ не вяжется. Они или не говорятъ вовсе, стараясь *насмотрѣться* другъ на друга, или говорятъ о пустякахъ, о вздорахъ, объ изломанной ногѣ у кресла, словомъ обо всемъ, кромѣ того, о чемъ бы имъ хотѣлось и слѣдовало говорить. Только опытное, испушенное жизнью ухо сумѣетъ иногда подслушать въ небрежно оброненномъ словѣ такихъ разговоровъ цѣлую идею, цѣлую цѣпь идей, топящихся въ головѣ челоуѣка, обронившаго это слово. Въ комнатѣ у Дани пробовали-было шутить, пробовали говорить серьезно, но все это не удавалось.

— Пипните чаще, — говорила Анна Михайловна, положивъ свою хорошенькую голову на одну руку, а другой мѣшая давно остывшій стаканъ чаю.

— Будемъ писать, — отвѣчалъ Долинскій.

— Не лѣнитесь, пожалуйста.

— Я буду писать аккуратно всякую недѣлю.

— Ты наблюдай за нимъ, Даша.

— За Дорушкой за самой нужно наблюдать, — отвѣчалъ, смѣясь, Долинскій.

— Ну, и наблюдайте другъ за другомъ, а главное дѣло, Нестеръ Игнатьичъ... то, что это я хотѣла сказать?.. Да, берегите, Бога-ради, Дору. Старайтесь, чтобы она не скучала, развлекайте ее...

Разговоръ опять прервался. Рано разошлись по своимъ комнатамъ. Завтра, въ восемь часовъ, нужно было ѣхать,

и Дашу раньше уложили въ постель, чтобъ она выспалась хорошенько, чтобъ въ силахъ была провести цѣлый день въ дорогѣ.

Долинскій тоже легъ въ постель, но какъ было еще довольно рано, то онъ не спалъ и просматривалъ новую книжку. Прошелъ часъ или два. Вдругъ дверь изъ коридора очень тихо скрипнула и отворилась. Долинскій опустил книгу на одѣяло и внимательно посмотрѣлъ изъ-подъ ладони.

Въ его первой комнатѣ быстро мелькнула бѣлая фигура. Долинскій приподнялся на локоть. Что это такое? спрашивалъ онъ себя, не зная, что подумать. На порогѣ его спальни показалась Анна Михайловна. Она была въ бѣломъ ночномъ пеньюарѣ, но голова ея еще не была убрана по ночному. При первомъ взглядѣ на ея лицо, видно было, что она находится въ сильнѣйшемъ волненіи, съ которымъ никакъ не можетъ справиться.

— Что вы? что съ вами?—спрашивалъ, пораженный ея посѣщеніемъ и ея разстроеннымъ видомъ, Долинскій.

— Ахъ, Боже мой!—отвѣтила Анна Михайловна, отчаянно заломивъ руки.

— Да что же такое? что?—допрашивался Долинскій.

— Ахъ, не знаю, не знаю... я сама не знаю, — проговорила со слезами на глазахъ Анна Михайловна. — Я... ничего... не знаю, зачѣмъ это я хожу... Зачѣмъ я сюда пришла? — добавила она съ страданіемъ на лицѣ и въ голосѣ, и, опустившись, сѣла въ ногахъ Долинскаго и заплакала.

— О чемъ? О чемъ вы плачете? — упрасивалъ ее Долинскій, дрожа самъ и цѣлуя съ участіемъ ея руки.

— Не знаю сама; я сама не знаю, о чемъ я плачу, — тихо отвѣчала Анна Михайловна и, спустя одну короткую секунду, вдругъ вздрогнула — страстно его обняла, и Долинскій почувствовалъ на своихъ устахъ и влажное, и горячее прикосновеніе какого-то жгучаго яда.

— Слушай! — заговорила страстнымъ шопотомъ Анна Михайловна. — Я не могу... Ты никого не люби, кромѣ меня... потому что я очень... я ужасно люблю тебя.

Долинскій дрожащею рукою обнялъ ее за талію.

— Тебя одну, всегда, весь вѣкъ, — прошепталъ онъ сохнувшимъ языкомъ.

— Мой милый! Я буду ждать тебя... ждать буду,— лепетала Анна Михайловна, страстно цѣлуя его въ глаза, щеки и губы.— Я буду еще больше любить тебя!— добавила она съ истерическою дрожью въ голосѣ и, какъ мокрый вѣнокъ, выскользнула изъ рукъ Долинскаго и пропала въ черной темнотѣ ночи.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Опять ничего не видно.

Извозничья карета, нанятая съ вечера, пріѣхала въ семь часовъ утромъ. Дашу разбудили. Анна Михайловна то бросалась къ самовару, то бралась помогать дѣвушкамъ одѣвать сестру, то входила въ комнату Долинскаго. Взойдетъ, посмотритъ по сторонамъ, какъ будто она что-то забыла, и опять выйдетъ.

— Какъ тебѣ не стыдно такъ тревожиться! — говорилъ Долинскій, взглянувъ на нее, и покачалъ головой.

— Ахъ! не говори ничего, Бога-ради, — отвѣчала Анна Михайловна и, махнувъ рукой, опять вышла изъ его комнаты.

Чаю напились молча и стали прощаться. Дѣвушки вынесли извозчику два чемодана и картонку. Даша цѣловала дѣвушекъ и особенно свою «маленькую команду». Всѣ плакали. Анна Михайловна стояла молча, блѣдная, какъ мраморная статуя.

— Прощай, сестра! — сказала, наконецъ, подойдя къ ней, Даша.

— Прощай, — тихо проговорила Анна Михайловна и начала крестить Дашу. — Лѣчись, выздоравливай, возвращайся скорѣй, — говорила она, цѣлуя сестру за каждымъ словомъ.

Сестры долго цѣловались, плакали и, наконецъ, поцѣловали другъ у друга руки.

Несторъ Игнатьевичъ подошелъ и тоже поцѣловалъ ея руку. Онъ не зналъ, какъ ему проститься съ нею при окружавшихъ ихъ дѣвушкахъ.

— Дайте, я васъ перекрещу, — сказала Анна Михайловна, улыбнувшись сквозь слезы, и, положивъ рукою символическое знаменье на его лицѣ, спокойно взяла его руками за голову и поцѣловала. Губы ея были холодны, на рѣсницахъ блестѣли слезы.

Даша вошла первая въ карету, за ней сѣла Анна Ми-

хайловна, а потомъ Долинскій съ дорожною сумкою черезъ плечо.

Дѣвушки стояли у дверей съ заплаканными глазами и говорили:

— Прощайте, Дарья Михайловна! Прощайте, Несторъ Игнатьичъ. Ворочайтесь скорѣе.

Дѣвочки плакали, заложа ручонки подъ бумажные шейные платочки, и, отирая по временамъ слезы уголками этихъ же платочковъ, ничего не говорили.

Извозчику велѣли ѣхать тихо, чтобы не трясло больную. Карета тронулась, дѣвушки еще разъ крикнули: «Прощайте!» — а Даша, высунувшись изъ окна, еще разъ перекрестила въ воздухѣ дѣвочекъ, и экипажъ завернулъ за уголъ.

На станцію пріѣхали въ-время. Долинскій отправился къ кассѣ купить билеты и сдать въ багажъ, а Анна Михайловна съ Дашею усѣлись въ уголкѣ на диванѣ въ пассажирской комнатѣ. Онѣ обѣ молчали и обѣ страдали. На прекрасномъ лицѣ Анны Михайловны это страданіе отражалось спокойно; хорошенькое личико Дашин болѣзненно подергивалось и она кусала до крови свои губки.

Подожель Долинскій и, укладывая въ сумку билеты, сказалъ:

— Все готово. Остается всего пять минутъ, — добавилъ онъ послѣ коротенькой паузы, взглянувъ на свои часы.

— Дайте мнѣ свои руки, — тихо сказала Анна Михайловна сестрѣ и Долинскому.

Анна Михайловна пристально посмотрѣла на путешественниковъ и сказала:

— Будьте, пожалуйста, благоразумны; не обманывайте меня, если случится что дурное: что бы ни случилось — все пишите мнѣ.

— Пожалуйста садитесь! — крикнулъ кондукторъ, отворяя двери на платформу.

Долинскій взялъ саквояжъ въ одну руку и подаль Дашѣ другую. Они вышли вмѣстѣ, а Анна Михайловна пошла за ними. У барьера ее не пустили и она остановилась противъ вагона, въ который вошли Долинскій съ Дорой. Усѣвшись, они выглянули въ окно. Анна Михайловна стояла прямо передъ окномъ въ двухъ шагахъ. Ихъ раздѣлялъ барьеръ и узенькій проходъ. Въ глазахъ Анны Михайловны еще дрожали слезы, но она была покойнѣе, какъ часто

успокаиваются люди въ самую послѣднюю минуту разлуки.

— Смотри же, Даша, выздоравливай, — говорила она громко сестрѣ.

— А ты не грусти, — отвѣчала ей Даша.

— Ворочайтесь оба скорѣе! Ахъ, Несторъ Игнатьичъ! я забыла спросить! что дѣлать съ письмами, которые будутъ приходить на ваше имя?

— Отвѣчай на нихъ сама, — сказала Даша.

Анна Михайловна засмѣялась.

— Да, право! что тамъ такими пустяками нарушать наше спокойствіе.

Раздался третій свистокъ, вагоны дернулись, покатались и исчезли въ густомъ облакѣ сѣраго пара.

Анна Михайловна вернулась домой довольно спокойною — даже она сама не могла надивиться своему спокойствію. Она хлопотала въ магазинѣ, распорядилась работами, обѣдала вмѣстѣ съ m-lle Alexandrine, и только къ вечеру, когда начало темнѣть, ей стало скучнѣе. Она вошла въ комнату Дашы — пусто, вошла къ Долинскому — тоже пусто. Присѣла на его креслѣ, и невыносимая тоска, словно какъ нѣжнѣйшій другъ, такъ и обняла ее изъ-за мягкой спинки. Въ глазахъ у Анны Михайловны затуманилось и зарябило.

«Какое дѣтство!» — подумала она и поспѣшно отерла слезы.

Такъ просидѣла она здѣсь больше двухъ часовъ, молча, спокойно, не сводя глазъ съ окна, и ей все становилось скучнѣе и скучнѣе. Одиночество сухимъ чувеломъ выростало въ холодномъ полумракѣ блѣсоватой полярной ночи, въ которую смотришь не то какъ въ день, не то какъ въ ночь, а будто воть глядишь по какой-то обязанности въ сѣдую грудь сонной совы. Анна Михайловна пошла въ кухню, позвала кухарку и дѣвочекъ. Съ ними она отставила пикапъ отъ дверей, соединявшихъ ея комнату съ комнатою Долинскаго, отставила комодъ отъ дверей, соединявшихъ ея спальню съ спальнею Дашы, отворила всѣ эти двери и долго-долго ходила вдоль открывшейся анфилады.

Была уже совсѣмъ поздняя ночь. Луна свѣтила во всѣ окна и Аннѣ Михайловнѣ не хотѣлось остаться ни въ одной изъ трехъ комнатъ. Тутъ она лелѣяла красавицу Дору и завивала ея локоны; тутъ онъ, со слезами въ голосъ, рассказывалъ ей о своей тоскѣ, о сухомъ одиноществѣ; а

туть... Сколько надъ собою выказано силы, сколько уваженія къ ней? Сколько времени чистый потокъ этой любви не мутился страстью, и... и зачѣмъ это онъ не мутился? *Зачѣмъ* онъ не замутился... И какой онъ... странный человекъ, право!..

Наконецъ, далеко за полночь Анна Михайловна устала; ноги болѣли и голова тоже. Она поправила лампаду передъ образомъ въ комнатѣ Дани и посмотрѣла на ея постельку, задернутую чистымъ, бѣлымъ пологомъ, потомъ вошла къ себѣ, бросила блузу, подобрала въ ночной чепецъ свою черную косу и остановилась у своей постели. Очень скучно ей здѣсь показалось.

— Тоска! — произнесла про себя Анна Михайловна и прошла въ комнату Долинскаго.

Здѣсь было также пусто и невесело. Анна Михайловна взяла подушку, бросила ее на диванъ и на свѣту тревожно заснула.

Много грезилось ей чего-то страшнаго, безпокойнаго, и въ восемь часовъ утра она проснулась, держа у груди обнятую во снѣ подушку.

Вставши, Анна Михайловна принялась за дѣло. Въ комнатѣ Нестора Игнатьевича и Дани все убрала, но все оставила въ старомъ порядкѣ. Казалось, что жильцы этихъ комнатъ только-что вышли пройтись по Невскому проспекту.

Время Анны Михайловны шло скоро. За безпрестанной работой она не замѣчала, какъ дни бѣжали за днями. Письма отъ Дани и Долинскаго начали приходить аккуратно, и Анна Михайловна была спокойна насчетъ путешественниковъ.

Сама она никуда почти не выходила и у нея никто почти не бывалъ иначе, какъ по дѣлу. Только не забывалъ Анну Михайловну одинъ Илья Макаровичъ Журавка, котораго, впрочемъ, въ этомъ домѣ никто и не считалъ гостемъ.



Часть вторая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Маленькій человекъ съ просторнымъ сердцемъ.

Въ этомъ романѣ, какъ читатель могъ легко видѣть, суди по первой части, все будутъ люди очень маленькіе — до такой степени маленькіе, что авторъ считаетъ своею обязанностью еще разъ предупредить объ этомъ читателя загодя. Пусть читатель не ожидаетъ встрѣтиться здѣсь ни съ героями русскаго прогресса, ни съ свирѣпыми ретроградами. Въ романѣ этомъ не будетъ ни уѣздныхъ учителей, открывающихъ дешевыя библіотеки для безграмотнаго народа, ни мужей, выдающихъ субсидіи любовникамъ своихъ обѣжавшихъ женъ, ни гвоздевыхъ постелей, на которыхъ какъ-то умѣютъ спать образцовые люди, ни самодуровъ-отцовъ, специально занимающихся угнетеніемъ гениальныхъ дѣтей. Все это уже описано, описывается и, вѣроятно, еще всему этому пока не конецъ. Еще на-дняхъ новая книжка одного періодическаго журнала вынесла на свѣтъ повѣсть, гдѣ снова дѣйствуетъ такой *организмъ*, который материнское молоко чуть не отравило, который чуть не заporоли въ училищѣ, но который все-таки выкарабкался, открылъ библіотеку, и сейчасъ поскорѣ посѣдѣлъ, сталъ топить горе въ водкѣ и далъ себѣ зарокъ не носить новыхъ сапогъ, а всегда съ заплатками. Благородный *организмъ* этотъ развиваетъ женщинъ, говоритъ самыя ехидныя рѣчи и все-таки сознаетъ, что онъ пришелъ въ свѣтъ не въ-время, что даже и при немъ у знакомаго этому *орга-*

низму лакея *кашковый* все-таки *могутъ отгнать голову*.
Таковы были его рѣчи.

Ни уѣзднаго учителя съ бібліотекою для безграмотнаго народа, ни сѣдого въ тридцать лѣтъ женскаго развивателя, ни образцоваго безсребренника, словомъ — ни одного гражданскаго героя здѣсь не будетъ; а будутъ люди съ слабостями, *люди дурнаго воспитанія*. И потому, кто хочетъ слушать что-нибудь про тирановъ, или про героевъ, тому лучше далѣе не читать этого романа; а кто и за симъ не утратитъ желанія продолжать чтеніе, такого читателя я долженъ просить о небольшомъ вниманіи къ маленькому человѣчку, о которомъ я непременно долженъ здѣсь кое-что поразсказать.

Самый проникательный изъ моихъ читателей будетъ тотъ, который отгадаетъ, что выступающій маленькій человѣчекъ есть не кто иной, какъ старшій нантъ знакомый Ильѣ Макаровичъ Журавка.

Несмотря на то, что мы давно знакомы съ художникомъ по нашему разсказу, здѣсь будетъ нелишнимъ сказать еще пару словъ о его теплой личности. Ильѣ Макаровичу Журавкѣ было лѣтъ около тридцати-пяти; онъ былъ бѣлокуръ, съ горбатымъ тонкимъ носомъ, очень выпуклыми близорукими глазами, довольно окладистой бородкой и такимъ курьезнымъ ретикомъ, что мало привычный къ нему человѣкъ, глядя на собранныя губки Ильѣ Макаровича, все ожидалъ, что онъ вотъ-вотъ сейчасъ свистнетъ.

Ильѣ Макаровичъ былъ чистый хохоль до самой невозможной невозможности. Онъ не только не хотѣлъ зарабатывать новаго карбованца, пока у него въ карманѣ былъ еще хоть одинъ старшій, но даже при видѣ сала или колбасы способенъ былъ забывать о цѣломъ мірѣ, и, чувствуя свою несостоятельность оторваться отъ сѣдмаго, говаривалъ: «а возьми, будьтѣ ласковы, або ковбасу отъ менѣ, або менѣ отъ ковбасы, а то або я зымъ, або вонѣ менѣ зымъ». Но несмотря на все чистокровное хохлачество Ильѣ Макаровича, судьба выпустила его на свѣтъ съ самой бѣлокурѣйшей нѣмецкой фizioноміей. Фizioномія эта была для Журавки самой несносной обидой, ибо по ней его безпрестанно принимали за нѣмца и начинали говорить съ нимъ по-нѣмецки, тогда какъ онъ относился къ доброй нѣмецкой расѣ съ самымъ глубочайшимъ презрѣніемъ и

объяснялся по-нѣмецки непозволительно гадко. Ходилъ по острову такой анекдотъ, что будто, работая что-то такое въ дрезденской галлерей, Журавка хотѣлъ объяснить своему профессору несовершенства нарисованной гдѣ-то собаки и заговорилъ:

— Herr Professor... Hund...

— Bitte sehr halten Sie mich nicht für einen Hund, — отвѣчалъ профессоръ.

— Aber ist sehr schlechter Hund... Professor, — поправлялся и выяснилъ Илья Макаровичъ.

Снисходительное великодушіе нѣмецкаго профессора изсякло; онъ поднялъ свой тевтонскій клювъ и произнесъ съ важностью:

— Ich höre Sie mich zum zehnten mal Hund nennen; erlauben Sie endlich, dass ich kein Hund bin!

Илья Макаровичъ покраснѣлъ, задвигать на носу свои очки и задумалъ-было въ тотъ же день уѣхать отъ нѣмцевъ.

Но, на несчастіе свое, этотъ маленькій человѣкъ имѣлъ слабость, свойственную многимъ даже и очень великимъ людямъ: это—слабость подвергать свои рѣшенія, составленныя въ пылу негодованія, долгому позднѣйшему раздумыванію и передумыванію. Очень многихъ людей это вредное обыкновеніе отъ одного тяжелаго гори вело къ другому, гораздо большому, и оно же сыграло презлую шутку съ Ильей Макаровичемъ.

Журавка, огорченный своимъ пассажемъ съ нѣмецкимъ языкомъ у профессора, прогулялся за городъ, напился гдѣ-то въ форштадтѣ пива и, успокоясь, возвращался домой съ новою рѣшимостью уже не ѣхать отъ нѣмцевъ завтра же, а прежде еще докончить свою копію, и тогда тотчасъ же уѣхать съ готовой работой. Идетъ этакъ Илья Макаровичъ по улицѣ, такъ сказать, нѣсколько примиренный съ нѣмцами и успокоенный—а ужъ огни вездѣ были зажжены, и видить — маленькая парикмахерская и сидитъ въ этой парикмахерской прехорошенькая нѣмочка. А Илья Макаровичъ, хоть и не любилъ нѣмцевъ, но бѣлокуренькія нѣмочки, съ личиками Гретхень и съ руками колбасницъ нашей Гороховой улицы, все-таки дошупывались до его ху-дожественнаго сердца.

Журавка остановился подъ окномъ и смотритъ, а Гретхень все сидитъ и дѣлаетъ частые штычки своей иглочкой,

да пѣть-нѣть и подниметь свою головку съ русыми кудерками и голубыми глазками.

— Ахъ, ты, шеельменокъ ты этакой; какіе у нея глазенки,—думаетъ художникъ.—Отлично бы было посмотрѣть на нее ближе. А какъ на тотъ грѣхъ, дверь изъ парикмахерской вдругъ отворилась у Ильи Макаровича подъ самымъ носомъ и высокій сѣдой нѣмецъ съ фizioноміей королевско-прусскаго вахмистра высунулся и сердито спрашиваетъ: *Was wollen Sie hier, mein Herr?*

«Чортъ бы тебя побралъ!»—подумалъ Журавка и вмѣсто того, чтобы удирать, остановился съ вопросомъ:

— Я полагаю, что здѣсь можно остричься?

Ильи Макаровичу вовсе не было никакой необходимости стричься, потому что онъ, какъ художникъ, носилъ длинную гривку, составлявшую, до введенія въ Россійской Имперіи нигилистической ереси, исключительную привилегію василеостровскихъ художниковъ. И нужно вамъ знать, что Ильи Макаровичъ такъ дорожилъ своими лохмами, что не разстался бы ни съ однимъ вершкомъ ихъ ни за какіе крендели; берегъ ихъ, какъ невѣста свою дѣвичью честь.

Но не бѣжать же было, въ самомъ дѣлѣ, Ильи Макаровичу отъ нѣмца! Во-первыхъ, это ему показалось нечестнымъ (проклятая щепетильность); во-вторыхъ, вѣдь и чортъ его знаетъ, чѣмъ такой вахмистръ можетъ швырнуть вдогонку.

— Чортъ его возьми совсѣмъ! — подстригусь немножко. Немножко только — совсѣмъ немножко, эвась... бисхенъ, лепеталъ онъ заискивающимъ снисхожденія голосомъ, идучи вслѣдъ за нѣмцемъ и уставляясь глазами на Гретхенъ.

Нѣмецъ посадилъ Илью Макаровича такъ, что онъ не могъ вполне наслаждаться созерцаніемъ своей красавицы, и вооружился гребенкой и ножницами.

— *Wie befehlen Sie Ihnen die Haare zuschneiden, mein Herr?*—спросилъ пунктуальный нѣмецъ.

— *Ja, bitte,*—твердо отвѣтилъ Ильи Макаровичъ, не сводя глазъ съ шьющей Гретхенъ.

— *Nichts über den Kamm soll bleiben?* — спросилъ нѣмецъ снова.

Ильи Макаровичъ не понялъ и сильно сконфузился: но хотѣлось ему сознаться въ этомъ при Гретхенъ.

— *Ja,*—отвѣчалъ онъ наугадъ, чтобъ отвязаться.

— Oder nichts für den Kamm? — пристасть опять вахмистръ, не приступая къ своей работѣ.

«Чортъ его знаетъ, чтѣ это такое значить», — подумалъ Журавка, чувствуя, что его всего бросило въ краску и на лбу выступаетъ потъ.

— Ja, — махнулъ онъ на смѣлость.

— Nichts über den Kamm, oder nichts für den Kamm?

«Oder» и «oder» показали Ильѣ Макаровичу, что тутъ однимъ ja не отдѣлаешься.

«Была не была», — подумалъ онъ и смѣло повторить послѣднюю часть нѣмецкой фразы: «Nichts für den Kamm!»

Нѣмецъ откашлинулся и съ особеннымъ чувствомъ, съ трескомъ высморкался въ синій бумажный платокъ гамбургскаго изготавленія и пріятельскимъ тономъ дорф-барбира произнесъ:

— Ich werde sie Ihnen ganz akkurat schneiden.

По успокоительному тону, которымъ были произнесены эти слова, Ильѣ Макаровичъ сообразилъ, что лингвистическая пытка его кончается. Онъ съ одобряющей миной отвѣчалъ твердо:

— «Recht wohl!» и, ничѣмъ не смущаемый, началъ опять любоваться своей Далилой.

Да, это была новая Далила, глядя на которую нашъ Сампсонъ не замѣчалъ, какъ жречески священнодѣйствовавшій нѣмецъ прибралъ его ganz akkurat до самаго черепа. Ильѣ Макаровичъ все смотрѣлъ на свою Гретхенъ и не замѣчалъ, что пожинцы ея отца снесли съ его головы всю его художественную красу. Когда Журавка взглянулъ въ стоявшее передъ нимъ зеркало, онъ даже не ахнулъ, но только присѣлъ книзу. Онъ былъ остриженъ подъ щетку, такъ что если бы плюнуть на ладонь и хлопнуть Ильѣ Макаровича по маковкѣ, то за стѣною можно бы подумать, что нѣмецъ поцѣловалъ его въ темя.

— Sehr hübsch! Sehr akkurat! — произнесъ нѣмецъ, окончивъ свое жреческое священнодѣйствіе и отходя полюбоваться издали своей работой.

Ильѣ Макаровичъ всталъ, заплатилъ бѣлокурой Далилѣ пять зильбергршей и бросился домой опрометью. Шляпа вертѣлась на его оголенной головѣ и безпрестанно напоминала ей о ея неслыханномъ въ васильеостровской академіи позорѣ.

— Нѣтъ, я вижу, нечего тутъ съ этими чертами дѣлать! — рѣшилъ Илья Макаровичъ, и на другой же день бросилъ свою коню и уѣхалъ отъ нѣмцевъ въ Италію, но уѣхалъ, — увы! — не съ художественной гривкой, а съ форменной стрижкой прусскаго рекрута.

Бѣдный Илья Макаровичъ стыдился убожать отъ нѣмца, а долженъ былъ болѣе полугода безстыдно лгать, что у него было воспаленіе мозга.

Характеръ у Ильи Макаровича былъ необыкновенно живой и непостоянный; легкость въ мысляхъ, какъ говорилъ Хлестаковъ, необыкновенная; ко всему этому скорость, сердечность и доброта безграничная. Илья Макаровичъ выше всего на свѣтѣ ставилъ дружбу и товарищество. Для друга и товарища онъ былъ готовъ идти въ огонь и въ воду. Однако, Илья Макаровичъ былъ очень обидчивъ и только одна Дора владѣла секретомъ раструнивать его, соблюдая мѣру, чтобы не переходить его терпѣнія. Отъ другихъ же Илья Макаровичъ всѣмъ очень скоро и очень легко обижался, но сердился рѣдко и обыкновенно довольно жалостнымъ тономъ говорилъ только:

— Ну, да, да, я знаю, что я смѣшонъ: но есть люди и смѣшнѣй меня, да надъ ними не смѣются.

Въ жизни онъ былъ довольно смѣшной человѣкъ. По суетливости и легкости въ мысляхъ, онъ, напримѣръ, вдругъ воображалъ себя механикомъ и тутъ въ его квартирѣ сейчасъ же появлялся верстакъ, чертежи, циркуль; потомъ, словно по какому-то волшебному мановенію, все это вдругъ исчезало, и у Ильи Макаровича являлось ружье за ружьемъ, англійскій пистолетъ за пистолетомъ, старинный самопалъ и, наконецъ, барочная, мѣдная пушка. Обзаводясь этимъ арсеналомъ, Илья Макаровичъ воображалъ себя Дирслейеромъ или Ласкаро. Какъ зачарованный швабскій поэтъ, сидѣлъ онъ, скорчась монсомъ, чистилъ и смазывалъ свои смертоносныя оружія, лилъ изъ свинца разнокалиберныя пули и все собирался на какую-то необыкновенную охоту. Охоты эти, впрочемъ, оканчивались всегда пальбою въ цѣль на Смоленскомъ полѣ или подстрѣливаніемъ воронъ, печально скитающихся по заживо умершимъ деревьямъ, которыя торчатъ за смоленскимъ кладбищемъ. Ружья и самопалы у Ильи Макаровича разновременно получали, одно передъ другимъ, то повышеніе въ чинахъ, то пониженіе.

— Это подлое ружьенко,—говорилъ онъ насчетъ какого-нибудь ружья, къ которому началъ имѣть личность за то, что не умѣлъ пригнать пуль къ его калибру — и опальное ружье тотчасъ теряло тесменный погонъ и презрительно ставилось въ уголъ.

Илья Макаровичъ кипятился непомѣрно и ругался съ ружьенкомъ на чемъ свѣтъ стоитъ.

— А этотъ штуцеринко бардзо добрый! — весь сия от-зывался онъ въ другой разъ о штуцерѣ, механизмъ котораго дался ему разгадать себя съ перваго раза.

И добрый штуцеринко внезапно же получалъ красивую полосу экипажнаго басона и вѣшался на стѣнѣ надъ кроватю Илья Макаровича.

Разъ Илья Макаровичъ купилъ случайно пару орловъ и одного коршуна и рѣшился заняться прирученіемъ хищныхъ птицъ. Птицы были посажены въ желѣзную клѣтку и прирученіе ихъ началось съ того, что коршунъ разодралъ Ильѣ Макаровичу руку. Вслѣдствіе этого несчастнаго обстоятельства, Илья Макаровичъ возымѣлъ къ коршуну такую же личность, какую онъ имѣлъ къ своему ружью, и все прирученіе ограничивалось тѣмъ, что онъ не оказывалъ никакого вниманія своимъ орламъ, но зато коршуна раза три въ день принимался толкать линейкой.

— Нѣтъ, она понимаетъ, подлая птица, — говорилъ онъ людямъ, увѣщевавшимъ его прекратить безполезную личность къ коршуну. — О! о! видите, якъ туляется, подлець, по клѣткѣ! — указывалъ онъ на бѣдную птицу, которая искала какого-нибудь убѣжища отъ преслѣдующей ее липейки.

Въ Италіи Илья Макаровичъ обзавелся итальянкой, m-me Луизой, тоже по скорости и по легкости мыслей, представлявшихъ ему въ итальянкахъ какихъ-то особенныхъ, художественныхъ существъ. Не прошло года, какъ Илья Макаровичъ возымѣлъ нѣкоторую личность и противъ своей Луизы; но съ Луизой было не такъ легко справиться, какъ съ ружьемъ или съ коршуномъ. Илья Макаровичъ было заезгилса, только вскорѣ осѣлъ и замолкъ. Синьора Луиза была высока, изжелта смугла, съ очень хорошими черными глазами и весьма неизящными длинными зубами. Характеръ у нея былъ смѣлый, извительный и сварливый. Большинство людей, знавшихъ семейный бытъ Журавки, во

всѣхъ домашнихъ непріятностяхъ болѣе обвиняли синьору Луизу, но въ существѣ и синьора Луиза никакъ не могла ужиться въ ладу съ Ильею Макаровичемъ. Въ ладу съ нимъ могла бы жить женщина добрая, умная и снисходительная, которая умѣла бы не плестъ всякое лыко въ строку и проходить мимо его смѣшныхъ сторонъ съ веселой шуткой, а не съ высокомерной доктриной и не ядовитымъ шиньонемъ. Конечно, синьоръ Луизъ бывало не очень весело, когда Ильа Макаровичъ послѣдній рубль, нужный завтра на базаръ, употреблялъ на покупку орловъ да коршуновъ, или вдругъ, ни уха ни рыла не смысля въ музыкѣ, обзаводился скрипкой и начиналъ парѣзывать на ней лазаревскіе концерты; но все же она слишкомъ обижала художника и не деликатно стѣсняла его свободу. По крайней мѣрѣ, она дѣлала это такъ, какъ нравственно развитая и умная женщина ни за что бы не сдѣлала.

— Надъ Ильею Макаровичемъ нельзя иногда не смѣяться, но огорчать его за его наивность очень неблагородно,—говорила Дора, когда заходила рѣчь о художникѣ.

Синьора Луиза не долюбивала ни Анну Михайловну, къ которой она ревновала своего сожителя, ни Дору, которая обыкновенно не могла удерживаться отъ самаго веселаго смѣха, когда итальянка съ отчаяніемъ разсказывала о какомъ-нибудь новомъ сумасбродствѣ Ильи Макаровича. Не смѣяться надъ этими разсказами, точно, было невозможно, и Дора не находила ничего ужаснаго въ томъ, что Ильа Макаровичъ, напримѣръ, являлся домой съ какимъ-нибудь трехрублевымъ полированнымъ столикомъ; два или три дня онъ обдувалъ, обтиралъ этотъ столикъ, не позволялъ къ нему ни притрогиваться, ни положить на него что-нибудь — и вдругъ этотъ же самый столикъ попадалъ въ немилость: Ильа Макаровичъ вытаскивалъ его въ переднюю, ставилъ на немъ сушить свои калоши или начиналъ стругать на немъ разныя палки и палочки. Дора сама была разъ свидѣтельницею, какъ Ильа Макаровичъ оптрафовалъ своего грудного ребенка. Ребенокъ захотѣлъ груди и въ отсутствіи синьоры Луизы раскричался, что называется, благимъ матомъ. Ильа Макаровичъ урезонивалъ его тихо, потомъ сталъ кипятиться, началъ угрожать ему розгами и вдругъ, вынувъ его изъ колыбели, положилъ на подушкѣ въ уголь.

Даша расхохоталась.

— Нѣтъ, его надо проучить, — оправдывался художникъ. — О! о! о! вотъ-вотъ видите! Нѣтъ, не бойтесь, оно, шельмовское дитя, все понимаетъ, — говорилъ онъ Дорѣ, когда ребенокъ замолчалъ, уставя удивленные глазки въ пестрый карнизъ комнаты.

Дора взяла наказаннаго ребенка и положила обратно въ колыбель, и никогда не переставала преслѣдовать Илью Макаровича этимъ его обдуманнѣмъ поступкомъ.

Болѣе всего у Ильи Макаровича стычки происходили за дѣтей. На Илью Макаровича иногда находило неотразимое стремленіе заниматься воспитаніемъ своего потомства, и тотчасъ двухлѣтняя дѣвочка опредѣлялась къ растиранію красокъ, трехлѣтній сынъ плавилъ свинецъ и долженъ былъ отливать пули или изучать механизмъ добраго штуцера; но синьора Луиза поднимала бунтъ и воспитаніе дѣтей немедленно же прекращалось.

Илья Макаровичъ въ качествѣ васьильеостровскаго художника также не прочь былъ выпить въ пріятельской бесѣдѣ и не прочь попотчивать пріятелей, чѣмъ Богъ послалъ, дома, но синьора Луиза смотрѣла на все это искоса и дѣлала Ильѣ Макаровичу сцены немилосердныя. Такою рѣшительною политикою синьора Луиза, однако, вполнѣ достигла только одного, чего обыкновенно легко достигаютъ сварливыя и ревнивыя женщины. Илья Макаровичъ совсѣмъ пересталъ ее любить, сталъ искусно скрывать отъ нея свои маленькія шалости, чаще началъ бѣгать изъ дома и пересталъ хвалить итальянонь. Дѣтей своихъ онъ любилъ до сумасшествія и каждый годъ хотъ по сту рублей клалъ для нихъ въ сохранную казну. Кромѣ того, онъ давно застраховалъ въ трехъ тысячахъ рублей свою жизнь и тщательно вносилъ ежегодную премію.

На сердце и нравъ Ильи Макаровича синьора Луиза не имѣла желаемаго вліянія. Онъ оставался попрежнему безпардонно добрымъ «товарищескимъ» человѣкомъ и всѣ его знакомые очень любили его попрежнему. Анну Михайловну и Дорушку онъ тоже попрежнему считалъ своими первыми друзьями и готовъ былъ для нихъ хотъ лечь въ могилу. Илья Макаровичъ всегда рвался услужить имъ, и не было такой услуги, на которую бы онъ не былъ готовъ, хотя бы эта услуга и далеко превосходила всѣ его силы и возможность.

Этотъ-то Илья Макаровичъ въ цѣломъ многолюдномъ Петербургѣ оставался единственнымъ человѣкомъ, который зналъ Анну Михайловну болѣе, чѣмъ всѣ другіе, и имѣлъ право называться ея другомъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Темная предчувствія.

Былъ пыльный и душный вечеръ. Илья Макаровичъ зашелъ къ Аннѣ Михайловнѣ съ синьорой Луизой и засидѣлись.

— Что это вы, Анна Михайловна, такіа скупыя стали? — спросилъ, поглядѣвъ на часы, художникъ.

— Чѣмъ, Илья Макаровичъ, я стала скупа? — спросила Анна Михайловна.

— Да вотъ десять часовъ, а вы и водченки не дадите.

— *Que diu?* — спросила итальянка, строго взглянувъ глазами на своего сожителя.

Илья Макаровичъ дмухнулъ два раза носомъ и пробурчалъ что-то съ весьма рѣшительнымъ выраженіемъ.

— Вотъ срамъ! Какая я, въ самомъ дѣлѣ, невнимательная! — сказала Анна Михайловна, поднявшись и идя къ двери.

— Пойдите! пойдите! — крикнулъ Илья Макаровичъ: — я вѣдь это такъ спросилъ. Если есть, такъ хорошо, а нѣтъ — и не нужно.

— Пойдите, я посмотрю въ шкафъ.

— Пойдемте вмѣстѣ! — крикнулъ Илья Макаровичъ, и засѣменилъ за Анной Михайловной.

Въ шкафъ нашлось немного водки, въ графинчикѣ, который ставили за столъ при Долинскомъ.

— Вотъ и отлично, — сказалъ художникъ. — Теперь бы кусочекъ чего-нибудь.

— Да вы идите въ мою комнату — я велю туда подать, что найдутъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ хлопотать! не надо! не надо! Вотъ это что у васъ въ банкѣ?

— Грибы.

— Маринованные! Отлично. Я вотъ грибочковъ закушу.

Илья Макаровичъ тутъ же, стоя у шкапа, выпилъ водченки и закусилъ грибочкомъ.

— Хотите еще рюмчонку? — сказала Анна Михайловна,

держа въ рукахъ графинъ съ остаткомъ водки. — Пейте, чтобъ ужъ зла не оставалось въ домѣ.

Илья Макаровичъ мыкнулъ въ знакъ согласія и, показавъ черезъ плечо рукою на дверь, за которою осталась его сожительница, покачалъ головою и помоталъ въ воздухѣ пальцами.

Анна Михайловна разсмѣялась, какъ умѣютъ смѣяться одиѣ женщины, когда хотятъ, чтобы не слышали ихъ смѣха, и вылила въ рюмку остатокъ водки.

— За здоровье отсутствующихъ! — возгласилъ Илья Макаровичъ.

— Да пейте, безтолковый, скорѣй! — отвѣчала шопотомъ Анна Михайловна, тихонько толкнувъ художника подъ руку.

Журавка какъ будто спохватился и, разомъ выливъ въ ротъ рюмку, чуть было не поперхнулся.

— А грибочки бардзо добрые, — заговорилъ онъ, громко отканиливаясь за каждымъ слогомъ.

Анна Михайловна, закрывъ ротъ батистовымъ платкомъ, смѣялась отъ всей души, глядя на «свободнаго художника, потерявшаго свободу».

— Ахтителные грибочки, — говорилъ Илья Макаровичъ, входя въ комнату, гдѣ оставалась его итальянка.

Синьора Луиза стояла у окна и смотрѣла на стѣну сосѣдняго дома.

— Пора домой, — сказала она, не оборачиваясь.

— Ту минуту, ту минуту. Вотъ только сверну сигареточку, — отвѣчалъ художникъ, доставая изъ кармана табакъ и папиросную бумажку.

Анна Михайловна вошла и положила ключи въ карманъ своего платья и сѣла.

— Чего вы торопитесь? — спросила она по-французски.

— Да вонъ, синьора приказываетъ, — отвѣчалъ по-русски и пожимая плечами Илья Макаровичъ.

— Пора, дѣти скучать будутъ. Не улягутся безъ меня, — отвѣчала синьора Луиза.

— А что-то нашъ Несторушка теперь подѣлываетъ? — спросилъ Илья Макаровичъ, котораго двѣ рюмченки, видимо, развеселили.

— А Богъ его знаетъ, — вздохнувъ, отвѣчала Анна Михайловна.

— Теперь хорошо въ Италиі!

— Да, я думаю.

— А у насъ-то какая дрянь! бррр! Колорить-то! колорить-то! Экая гадость. А пишуть они вамъ?

— Вотъ только десятый день что-то нѣтъ писемъ, и это меня очень тревожитъ.

— Не случилось ли чего съ Дарьей Михайловной?

— Богъ знаетъ. Писали, что ей лучше, что она почти совсѣмъ здорова и ни на что не жалуется, а, впрочемъ, всего надумаешься.

— Не влюбился ли Несторунка въ итальяночку какую?—посмѣивался и потирая руки, сказалъ художникъ.

Анна Михайловна слегка смѣшалась, какъ человѣкъ, котораго поймали на самой сокровенной мысли.

— Что жъ, очень умно сдѣлаетъ. Пусть себѣ влюбляется хоть и не въ итальянку, лишь бы былъ счастливъ, — проговорила она съ самымъ спокойнымъ видомъ.

— Нѣтъ, Анна Михайловна! на свѣтѣ нѣтъ лучше женщинъ, какъ наши русскія, — сказалъ, вздохнувъ, Журавка.

— Въ самомъ дѣлѣ? — спрашивала его, улыбаясь, Анна Михайловна.

— Да, право! Гдѣ всѣмъ этимъ *талянкамъ* до нашей, до русской! Наша русская какъ полюбить, такъ и пригрѣть, и приголубить, и пожалѣть, а это все...

— Qua? — спросила синьора Луиза, услыхавъ нѣсколько разъ повторенное слово «итальянка».

— Квакай, матушка, — отвѣчалъ Илья Макаровичъ, и безъ того недовольный тѣмъ, что его почти насильно уводятъ домой. — Научись говорить по-русски, да тогда и квакай; а то капусту выучилась ѣсть, вмѣсто апельсинъ, а говорить въ пять лѣтъ не выучилась. Ну, прощайте, Анна Михайловна! — добавилъ онъ, взявъ шляпу и подавъ свернутую кренделемъ руку подругѣ своей жизни.

Анна Михайловна подала руку Ильѣ Макаровичу и поцѣловала синьору Луизу, оскалившую при семъ случаѣ свои длинные зубы, закусившіе русскаго маэстро.

— Колорить-то, колорить-то какой! — говорилъ Журавка, вертясь передъ окномъ передней. — Буря, кажется, будетъ.

Ему смерть не хотѣлось идти домой.

Анна Михайловна улынулась и сказала:

— Да, въ одиннадцатой линіи, какъ говариваль Несторъ Пгнатьичъ, того и гляди, что къ ночи соберется буря.

— Да, состриль шельмецъ, чтобъ ему самому вымокнуть.

— Будетъ съ него, батюшка мой, и того, что было.

Итальянкѣ наскучилъ этотъ разговоръ, и она незамѣтно толкнула Журавку локтемъ.

— Сейчасъ, матушка! — отвѣчалъ онъ и, обратясь къ Аннѣ Михайловнѣ, спросилъ: — а что, барыня-то его бомбардируетъ?

— Нѣтъ, теперь, слава Богу, не пишетъ — успокоилась.

Анна Михайловна лгала.

— Экая егарма! — сказалъ Журавка, дмухнувъ носомъ.

— Вотъ вамъ и русская.

— Кой-чортъ это русская! Вы вотъ русская, а это чортъ, а не русская.

— Идите ужъ, полно толковать, — сказала Анна Михайловна, видя, что итальянка сердится и нѣсколько разъ еще толкнула локтемъ Журавку, который не замѣчалъ этого, слагая свой панегирикъ нѣкогда сильно захаянной имъ русской женщинѣ. — Идите, а то того и гляди, что громъ грянетъ и перекреститься не успѣте.

Журавка махнулъ рукой и потащилъ за двери свою синьору; а Анна Михайловна, проводивъ гостей, вошла въ комнату Долинскаго, сѣла у его стола, придвинула къ себѣ его большую фотографію и сидѣла какъ окаменѣлая, не замѣчая, какъ бѣлобрюхой, холодной жабой проползла надъ угрюмыми, каменными массами столицы безстыдно-наглая, петербургская лѣтняя ночь.

Часто Аннѣ Михайловнѣ выпадали такія ночи, и такъ тянулось до осени. Письма изъ-за границы начали приходить все какъ-то рѣже. Сначала, вмѣсто двухъ писемъ въ недѣлю, Анна Михайловна стала получать по одному, а тамъ письмо являлось только разъ въ двѣ недѣли и даже еще рѣже. И всѣ письма эти стали казаться Аннѣ Михайловнѣ какъ-то странными. Долинскій извѣщалъ въ нихъ, что Дорушкѣ лучше, что Дорушка совсѣмъ почти выздоровѣла, а тамъ говорилъ что-то о хорошей итальянской природѣ, о русскихъ за границей, а о себѣ никогда ни слова. Дорушка же только дѣлала прищипки подъ его письмами, и то не всегда.

«Что это значить? — думала Анна Михайловна: — До-

рушкѣ лучше, Доружка почти здорова и отъ Доружки не добьешься слова. Неужто же она меня разлюбила? Неужто Долинскій забылъ меня? Неужто они оба...»

Анна Михайловна блѣднѣла отъ своихъ догадокъ и ужасно страдала, но письма въ Италію писала ровныя, теплыя, безъ горечи и упрека. Она не писала имъ ни чаще, ни рѣже, но всякое воскресенье своими руками аккуратно бросала одно письмо въ заграничный ящикъ. Иногда вся сила ея надъ собою истощалась; горячая натура брала верхъ надъ разумомъ, и Анна Михайловна хотѣла завтра же взять паспортъ и летѣть въ Ниццу, но бессонная ночь проходила въ размысленіяхъ и утроемъ Анна Михайловна говорила себѣ:—Зачѣмъ? къ чему?—Чему быть, тому ужъ не миновать,—прибавляла она въ раздумѣ.

Такъ все и ползло, и лѣзло скучное время.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Шпилька.

Передъ новымъ годомъ у Анны Михайловны была куча хлопотъ. Отъ заказовъ некуда было дѣваться; мастерицы работали рукъ не покладывая; а Анна Михайловна немножко поблѣднѣла и сдѣлалась еще интереснѣе. Въ темно-коричневомъ шерстяномъ платьѣ, подъ самую шею, перетнутая по талии чернымъ шелковымъ поясомъ, Анна Михайловна стояла въ своемъ магазинѣ съ утра до ночи, и съ утра до ночи можно было видѣть на противоположномъ тротуарѣ не одного, такъ двухъ, или трехъ зѣвакъ, любовавшихся ея фигурою.

— Если бъ я была хоть въ половину такъ хороша, какъ эта дура, — разсуждала съ собою *m-lle Alexandrine*, глядя презрительно на Анну Михайловну: — что бы я только устроила... *Tiens! Oui, oui... une petite maisonnette et tout ça.*

Анна же Михайловна, разумѣется, ко всѣмъ поклоненіямъ своей красотѣ оставалась совершенно равнодушною.

Она держала себя съ большимъ достоинствомъ. Съ такимъ тактомъ встрѣчала она своихъ то надменныхъ, то суетливыхъ заказчицъ, такъ ловко и такими парижскими оборотами отпарировала всякое покушеніе бомонда потретировать модистку съ высоты своего величія, что засмотрѣться на нее было можно.

Въ одинъ изъ такихъ дней магазинъ Анны Михайловны

быль полонъ существами, обсуждавшими достоинство той и другой шляпки, той и другой мантилы. Анна Михайловна терпѣливо слушала пустые вопросы и отвѣчала на нихъ со вниманіемъ, щадя пустое самолюбіе и смѣшныя претензіи. Въ часъ въ дверь вошелъ почтальонъ. Письмо было изъ-за границы; адресъ написанъ Дашею.

— Je vous demande bien pardon, je dois lire cette lettre immédiatement, — сказала Анна Михайловна.

— Oh! je vous en prie, lisez! Faites moi la grâce de lire! — отвѣчала ей гостя.

Анна Михайловна отошла къ окну и поспѣшно разорвала конвертъ. Письмо все состояло изъ десяти строкъ, написанныхъ Дашиней рукою. Дорушка поздравляла сестру съ новымъ годомъ, благодарила ее за деньги и, по русскому обычаю, желала ей съ новымъ годомъ новаго счастья. На сдѣланный когда-то Анной Михайловной вопросъ: когда они думаютъ возвратиться, Даша теперь коротко отвѣчала въ *post scriptum*:

«Возвращаться мы еще не думаемъ. Я хочу еще пожить тутъ. Не хлопочи о деньгахъ. Долинскій получилъ за повѣсть, намъ есть чѣмъ жить. Въ этомъ долѣ я надѣюсь съ нимъ счастѣйся».

Долинскій только приписывалъ, что онъ здоровъ и что на-дняхъ будетъ писать больше. Этимъ давно уже онъ обыкновенно оканчивалъ свои коротенькія письма, но обѣщанныхъ большихъ писемъ Анна Михайловна никогда «на-дняхъ» не получала. Последнее письмо такъ поразило Анну Михайловну своею оригинальною краткостью, что, положивъ его въ карманъ, она подошла къ оставленнымъ ею покупательницамъ совершенно растерянная.

— Не отъ mademoiselle Доры ли? — спросила ее давняя заказчица.

— Да, отъ нея, — отвѣчала какъ могла спокойнѣе Анна Михайловна.

— Здорова она?

— Да, ей лучше.

— Скоро возвратится?

— Еще не собирается. Пусть живетъ тамъ; тамъ ей здоровѣе.

— О, да, это конечно. Россія и Италія — какое же сравненіе? — Но вамъ безъ нея большая потеря. Ты не можешь

вообразить, *chère Vera*, — отнеслась дама къ своей очень молоденькой спутницѣ: — какая это гениальная дѣвушка, эта *mademoiselle Dora*! Какой вкусъ, какая простота и отчетливость во всемъ, что бы она ни сдѣлала, а вѣдь русская! Удивительныя руки! Все въ нихъ какъ будто оживаетъ, все измѣняется. Вообще артистка.

— Гдѣ же она теперь? — спросила *m-lle Vera*.

— Въ Ниццѣ, — отвѣчала Анна Михайловна.

— Въ Ниццѣ?!

— Да, въ Ниццѣ.

— Я тоже провела это лѣто съ матерью въ Ниццѣ.

— Это *m-lle Vera* Онучина, — назвала дама дѣвушку.

Анна Михайловна поклонилась.

— Очень можетъ быть, что я гдѣ-нибудь встрѣчала тамъ вашу сестру.

— Очень немудрено.

— Съ кѣмъ она тамъ?

— Съ однимъ... нашимъ родственникомъ.

— Если это не секретъ, кто это такой?

— Долинскій.

— Долинскій, его зовутъ Несторъ Игнатьичъ?

— Да, его такъ зовутъ.

— Такъ онъ ей не мужъ?

— Нѣтъ. Съ какой стати?

— Онъ вамъ родственникъ?

— Да, — отвѣчала Анна Михайловна, проклиная эту пытливую особу, и чтобы отклонить ее отъ вопроса, сама спросила: — такъ вы знали... видѣли мою сестру въ Ниццѣ, вы ее знали тамъ?

— *Une tête d'or*! Кто же ее не знаетъ? Вся Ницца знаетъ *une tête d'or*.

— Это, вѣрно, ее тамъ такъ прозвали?

— Да, ее всѣ такъ зовутъ. Необыкновенно интересное лицо; она ни съ кѣмъ не знакома, но ее всѣ русскіе знаютъ и никто ее иначе не называетъ, какъ *une tête d'or*. Мой братъ познакомился гдѣ-то съ Долинскимъ и онъ бывалъ у насъ, а сестра ваша, кажется, совсѣмъ дикарка.

— Ну... это не совсѣмъ такъ, — произнесла Анна Михайловна и спросила:

— Здорова она на видъ?

— Кажется; но что она прекрасна, это я могу вамъ сказать навѣрно,—отвѣчала, смѣясь, незнакомая дѣвица.

— Да, она хороша,—сказала Анна Михайловна и разсѣянно спросила: — а господинъ Долинскій часто бывалъ у васъ?

— О, нѣтъ! Три или четыре раза за все лѣто, и то брать его затаскивалъ. У насъ случилось много русскихъ и Долинскій былъ такъ любезенъ, прочелъ у насъ свою новую повѣсть. А то, впрочемъ, и онъ тоже нигдѣ не бываетъ. Они всегда вдвоемъ съ вашей сестрой. Вмѣстѣ бродятъ по окрестностямъ, вмѣстѣ читаютъ, вмѣстѣ живутъ, вмѣстѣ скрываются отъ всѣхъ глазъ... кажется, вмѣстѣ дышатъ одной грудью.

— Какъ я вамъ благодарна за этотъ рассказъ!—проговорила Анна Михайловна, держась рукой за столъ, за которымъ стояла.

— Мнѣ самой очень пріятно вспомнить обворожительную tête d'or. А знаете, я черезъ мѣсяцъ опять ѣду въ Ниццу съ моей маман. Можетъ-быть, хотите что-нибудь передать имъ?

— Merci bien. Я имъ пишу часто.

Свѣтская дама съ свѣтской дѣвицей вышли.

— Какъ она забавно мѣнялась въ лицѣ,—замѣтила дѣвица.

— Ну да, еще бы! Это ея *amant*.

— Я такъ и подумала. Какой оригинальный случай.

Дамы засмѣялись.

— И въ какомъ, однако, странномъ кружкѣ вращаются эти господа!—пройдя нѣсколько шаговъ, сказала m-lle Vera.

— И, ma chère! въ какомъ же по-твоему кружкѣ имъ должно вращаться?

— А онъ уменъ,—въ раздумѣ продолжала дѣвица.

— Мало ли, мой другъ, умныхъ людей на свѣтѣ?

— И довольно интересенъ, то-есть я хотѣла сказать, довольно оригиналенъ.

Дама взглянула на дѣвицу и саркастически улыбнулась.

— Не настолько, однако, надѣюсь, интересенъ,—помытила она:—чтобъ приснился во снѣ mademoiselle Вѣрѣ.

— М-м-м-ъ... за сны свои, ma chère Barbe, никто не отвѣчаетъ,—отшутилась m-lle Вѣра, и онѣ обѣ весело разсмѣялись, встрѣтились съ знакомымъ гусаромъ и заговорили ни о чемъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Туманная даль близится и яснѣть.

Какъ только дамы вышли изъ магазина, Анна Михайловна написала къ Ильѣ Макаровичу, прося его сегодня же принести ей книжку журнала, въ которомъ напечатана послѣдняя повѣсть Долинекаго, и ждала его съ нетерпѣніемъ. Ильѣ Макаровичъ черезъ два часа прибѣжалъ изъ своей одиннадцатой линіи, немножко разстроенный и надутый, и принесъ съ собою книжку.

— Что-жъ это Несторка-то! — началъ онъ, только входя въ комнату.

— А что? — спросила Анна Михайловна, перелистывая съ нетерпѣніемъ повѣсть.

— И повѣсти вамъ не прислалъ?

— Вѣрно, у него у самого ея нѣтъ. Не скоро доходить за границу.

Ильѣ Макаровичъ заходилъ по комнатѣ и все дмухалъ сердито носомъ.

— Читали вы повѣсть? — спросила Анна Михайловна.

— Читалъ, какъ же не прочесть? — читалъ.

— Хороша?

— Хорошую написалъ повѣсть.

— Ну, и слава Богу.

— Денегъ онъ пропасть зарабатываетъ какую!

— Еще разъ слава Богу.

— А что, онъ вамъ пишетъ?

— Пишетъ, — медленно проговорила Анна Михайловна.

Ильѣ Макаровичъ опять задмухалъ.

— Водченки пропустить хотите? — спросила Анна Михайловна, не подымая глазъ отъ книги.

— Нѣтъ, чортъ съ ней! Чаинки развѣ, такъ отъ скуки — могу.

Анна Михайловна позвонила.

Подали самоваръ.

— Вы на меня не въ претензіи? — спросила она Ильѣ Макаровича.

— За что?

— Что я при васъ читаю.

— Сдѣлайте милость!

— Скучно безъ нихъ ужасно, — сказала Анна Михайловна, обваривая чай.

— И чего они тамъ сидятъ?

— Для Даши.

Илья Макаровичъ опять задмухалъ.

— Знаете, что я подозреваю? — сказалъ онъ. — Это у него все теперь эти *идеи* въ головѣ бродятъ.

— Попали пальцемъ въ небо.

Илья Макаровичъ хотѣлъ употребить дипломатическую, успокоительную хитрость и очень сконфузился, что она не удалась.

— А вотъ что, Анна Михайловна! — сказалъ онъ, пройдясь нѣсколько разъ по комнатѣ и снова остановясь передъ хозяйкой, сидѣвшей за чайнымъ столомъ, надъ раскрытою книгою журнала.

— Что, Илья Макаровичъ?

Художникъ долго смотрѣлъ ей въ глаза и, наконецъ, съ добродушнѣйшей улыбкой произнесъ:

— Махну-ка я, Анна Михайловна, въ Италію.

— Это же ради какихъ благъ?

— Еще разъ передъ старостью, небо теплое увидѣть. Душу свою обогрѣю.

— Э, не сочиняйте-ка вздоровъ! У кого душа тепла, такъ вездѣ она будетъ тепла, и подъ этимъ небомъ.

Илья Макаровичъ не умѣлъ сказать обинякомъ то, что онъ думалъ.

— Ихъ посмотрю, — сказалъ онъ прямо.

— Ну, и что жъ будетъ?

Илья Макаровичъ долго молчалъ, мѣнялся въ лицѣ и моргалъ глазами.

— Обрезонить надо человѣка; вотъ что будетъ! — наконецъ, вымолвилъ онъ съ таинственнымъ придыханіемъ.

— Это вы Долинскаго хотите обрезаживать! Онъ не мальчикъ, Илья Макаровичъ. Ему уже не двадцать лѣтъ, самъ понимаетъ, что дѣлаетъ.

— И ее, — еще тише продолжалъ художникъ.

— Ее?

Илья Макаровичъ сдѣлалъ самую строгую мину и качнулъ въ знакъ согласія головою.

— Дашу? — переспросила его Анна Михайловна.

— Ну, да.

— Не знаете вы, за что беретесь, мой милый! — отвечала, улыбувшись, Анна Михайловна.

— Слово надо сказать; одно слово иногда заставляет человека опомниться, — таинственно произнесъ художникъ.

— Кому же это вы будете говорить, что вы будете говорить, и по какому праву, наконецъ, Илья Макарычъ?

— Право! Съ подлецомъ нечего разбирать правъ!

— Пожалуйста, только не горячитесь.

— Нѣтъ-съ, я не горячусь и не буду горячиться, а я только хочу ему высказать все, что у меня накипѣло на сердцѣ, только и всего; и чортъ съ нимъ послѣ.

Анна Михайловна махнула рукой.

— Да и ей тоже-съ. Воля милости ей, а пусть слушаетъ. А ужъ я наговорю!

— Дашъ?

— Да-съ.

— О, Аркадія священная! Дашъ не слова человѣческія, а если бы громъ небесный упалъ передъ нею, такъ она... и на этотъ громъ, я думаю, не обратила бы вниманія. Что тутъ слова, когда, видите, ей меня не жалъ; а вѣдь она меня любитъ! Нѣтъ, Илья Макарычъ, когда сердце занялось пламенемъ, тутъ ужъ ничей разумъ и никакія слова не помогутъ!

— Такъ, что жъ они о себѣ теперь думаютъ! — грозно крикнулъ и привскочилъ съ мѣста Журавка.

— А ничего не думаютъ.

— Какъ же ничего не думаютъ?

— А такъ—зачѣмъ думать?

— Какъ зачѣмъ думать? Помилуйте, Анна Михайловна, да это... что же это такое вы сами-то, наконецъ, говорите?

— Я вамъ говорю, что они ничего не думаютъ.

— Да что же онъ-то такое? Послѣ этого вѣдь онъ же выходитъ подлецы!—Илья Макаровичъ въ азартѣ стукнулъ кулакомъ по столу и опять закричалъ:—подлецы!

— За что вы его такъ браните? Ну, что отъ этого поправится, или получитъ?

— Зачѣмъ же онъ сбилъ дѣвушку?

Анна Михайловна улыбнулась.

— Чего вы смѣетесь?

— Надъ вами, Илья Макарычъ! Ничего-то вы не разумѣете, хоть и въ Италиі были.

— Чего-съ я не разумѣю?

Анна Михайловна промолчала.

— Нѣтъ-съ, позвольте же, Анна Михайловна, если ужъ начали говорить, такъ вы извольте же договаривать: чего это-съ я не разумѣю?

— Да какъ вы можете утверждать, что онъ ее съ чего-нибудь сбивалъ?—сказала Анна Михайловна.

Илья Макаровичъ дмухнулъ носомъ и, помолчавъ, спросилъ:

— Такъ какъ же это по-вашему было?

— Дору никто не собьетъ и... никто Илью Макаровича ни отъ чего не удержитъ.

Журавка опять забѣгала.

— Да... однакожъ... позвольте; на что же это она бьетъ, въ чью же-съ голову она бьетъ?!—спросилъ онъ, остановившись.

— Любитъ.

— Да ну-те-жъ бо, Богъ съ вами, Анна Михайловна, что жъ будетъ изъ такой любви?

— Чтò изъ любви бываетъ—радость, счастье и жизнь.

— Да вѣдь позвольте... мы вѣдь съ вами старые друзья. Вѣдь... *вы* его, наконецъ, любите?

— Ну-съ; такъ что же далѣе?—произнесла, немного конфузясь, Анна Михайловна.

— И онъ васъ любитъ?

— Положимъ.

— Ничего не понимаю!—крикнулъ, пожавъ плечами, Илья Макаровичъ и опять ожесточенно забѣгала, мотая попеременно въ голову и повторяя съ ажитаціей:—ничего... ровно ничего не понимаю! Хоть голову мою срубайте, ничего не понимаю!

— А какъ же это вы, однако, поняли, что тамъ что-то есть?—спросила послѣ паузы Анна Михайловна съ цѣлью повѣрить свои соображенія чужими.

— Да такъ, просто. Думаю себѣ иной разъ, сидя за мольбертомъ: что онъ тамъ, наконецъ, собака, дѣлаетъ? Знаю, вѣдь онъ такой олухъ царя небеснаго; даже прекраснаго, шельма, не понимаетъ; идетъ все понурый, на женщину никогда не взглянетъ, а женщины на него, какъ муха на медъ. Душа у него такая кроткая, чистая и вся на лицѣ.

— Да,—уронила Анна Михайловна, вспоминая лицо Долинскаго и опять невинно смущаясь.

— Не полюбить-то его почти нельзя!

— Нельзя,— сказала, улыбувшись, Анна Михайловна.

— То-есть именно, я говорю, чортъ его знаетъ, каналью, ну, нельзя, нельзя.

— Нельзя, — подтвердила Анна Михайловна нѣсколько серьезнѣе.

— Ну, вотъ и думаю: чего до грѣха, свихнеть онъ Доружку!

— Ничего я не вижу отсюда, а совершенно увѣрена... Да, Илья Макарычъ, о чемъ это мы съ вами толкуемъ, а?.. развѣ они не свободные люди?

Художникъ вскочилъ и неистово крикнулъ:

— А ужъ это нѣтъ-съ! Это извините-съ, бо онъ, низкій онъ человѣкъ, долженъ былъ помнить, что онъ оставилъ!

— Эхъ, Илья Макарычъ! А еще вы художникъ и «свободный художникъ»! А молодость, а красота, а коса золотая, сердце горячее, душа смѣлая! Мало вамъ адвокатовъ?

— То-есть чортъ его знаетъ, Анна Михайловна, вѣдь въ самомъ дѣлѣ можно съ ума сойти!—отвѣчалъ художникъ, заламывая на брюшкѣ свои ручки.

— То-то и есть. Вспомните-ка ея пѣсенку:

То горделива, какъ свобода,

То вдругъ покорна, какъ раба.

— Да, да, да... то-есть именно, я вамъ, Анна Михайловна, скажу, это чортъ знаетъ что такое!

Долго Анна Михайловна и художникъ молчали. Одна тихо и неподвижно сидѣла, а другой все бѣгалъ, а то дмухалъ носомъ, то что-то вывертывалъ въ воздухѣ рукою, но, наконецъ, это его утомило. Илья Макаровичъ остановился передъ хозяйкой и тихо спросилъ:

— Ну, и что жъ дѣлать, однако?

— Ничего,—также тихо отвѣтила ему Анна Михайловна.

Художникъ походилъ еще немножко, сдѣлать на одномъ поворотѣ руками жестъ недоумѣнія и произнесъ:

— Прощайте, Анна Михайловна.

— Прощайте. Вы домой прямо?

— Нѣтъ, забѣгу въ Палкинъ, водченки хвачу.

— Что жъ вы не сказали, здѣсь бы была водченка, — спокойно говорила Анна Михайловна, хотя лицо ея то-и-то дѣло покрывалось пятнами.

— Нѣтъ, ужъ тамъ выпью,—разсуждалъ Журавка.

— Ну, прощайте.

— А написать ему можно? — шопотом спросил художник, снова возвращаясь въ комнату въ шинели и калошахъ.

— Ни, ни, ни! Чужая собака подъ столъ, знаете по-словницу? — отвѣчала Анна Михайловна, стараясь держаться шутилаго тона.

— Господи Боже мой! Какая вы дивная женщина! — воскликнулъ восторженно Журавка.

— Такая, которую всегда очень легко забыть, — отшутилась Анна Михайловна.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Немнѣшко назадъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Долинскій съ Дарьей Михайловной отъѣхали отъ петербургскаго амбаркадера варшавской желѣзной дороги, они проводили свое время въ слѣдующихъ занятіяхъ: Дорушка утерла набѣжавшія слезы и упрямно смотрѣла въ окошко вагона. Природа ее занимала, или просто молчать ей хотѣлось, — глядя на нее рѣшить было трудно. Долинскій тоже молчалъ. Онъ попробовалъ-было заговорить съ Дашей, но та кинула на него бѣглый взглядъ и ничего ему не отвѣтила. Подъѣзжая къ Острову, Даша сказала, что она устала и дальше ѣхать не можетъ. Отыскали въ гостиницѣ номеръ съ передней. Долинскій приготовилъ чай и спросилъ ужинать.

Даша ни къ чему не притронулась.

— Ну, такъ ложитесь спать, — сказала ей Долинскій.

— Да, я спать хочу, — отвѣчала Даша.

Она легла на кровати въ комнатѣ, а Долинскій завернулся въ шинель и легъ на диванчикъ въ передней.

Они оба молчали. Даша была не то печальна, не то угрюма; Долинскій приписывалъ это слабости и болѣзненной раздраженности. Онъ не безпокоилъ ее никакими вопросами.

— Прощайте, моя милая нянюшка! — слабо проговорила черезъ перегородку Даша, полежавъ минутъ пять въ постели.

— Прощайте, Дорушка. Спите спокойно.

— Вамъ тамъ скверно, Несторъ Игнатьичъ?

— Нѣтъ, Дорушка — хорошо.

— Потерпите, мой милый, ради меня, чтобы было по чемъ вспомнить.

— Спите, Дорушка.

Больная провела ночь очень покойно и проснулась утромъ довольно поздно. Долинскій нашелъ женщину, которая помогла Дашѣ одѣться, и велѣлъ подать завтракъ. Даша кушала съ аппетитомъ.

— Несторъ Игнатьичъ! — сказала она, окончивая завтракъ:— вотъ сейчасъ вамъ будетъ испытаніе, какъ вы понимаете наставленія моей сестры. Что она приказала вамъ на мой счетъ?

— Беречь васъ.

— А еще?

— Служить вамъ.

— А еще?

— Ну, что жъ еще?

— Еще, еще?

— Право, не знаю, Дарья Михайловна.

— Вотъ память-то!

— Да что же? — она просила исполнять ваши желанія и только.

— Ну, наконецъ-то! *Исполнять мои желанія*, а у меня теперь есть желаніе, которое не входило въ наши планы: исполните ли вы его?

— Что же это такое, Дорушка?

— Свезите меня въ Варшаву. Смерть мнѣ хочется по-смотреть поляковъ въ ихъ городѣ. У васъ тамъ есть знакомые?

— Должны быть; но какъ же это сдѣлать? Вѣдь это намъ составить большой расчетъ, Дорушка, да и экипажа нѣтъ.

— Какъ-нибудь. Вы не повѣрите, какъ мнѣ этого хочется.

Факторъ въ Вильно нашелъ старую, очень покойную коляску, оставленную кѣмъ-то изъ варшавянъ, и устроилъ Долинскому все очень удобно. Желѣзная дорога тогда еще была не окончена. Погода стояла прекрасная, путешественники ѣхали безъ непріятностей, и Даша была очень счастлива.

— Люблю я,—говорила она:—ѣхать на лошадихъ. Отсталая женщина—терпѣть не могу желѣзныхъ дорогъ и этихъ глухихъ вагоновъ.

Долинскій смѣялся и рассказывалъ ей разныя неприятности путешествія на лошадахъ по Россіи.

— Все это, можетъ-быть, такъ; я только одинъ разъ всего ѣхала далеко на лошадахъ, когда Аня взяла меня изъ деревни, но терпѣть не могу, какъ въ вагонахъ замираютъ, прихлопнуть, да еще съ наслажденіемъ ручкой повертять: дескать, не смѣешь вытѣзть.

Дорога шла очень пріятно. Даша много спала въ покойномъ экипажѣ и говорила, что она оживаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, несмотря на дорожную усталость, она чувствовала себя крѣпче и дышала свободнѣе.

Въ Варшавѣ они размѣстились очень удобно въ большомъ номерѣ, состоявшемъ изъ трехъ комнатъ. Долинскій отыскалъ много знакомыхъ поляковъ съ Волини и Подоліи и представилъ ихъ Дашѣ. Даша много съ ними говорила и осталась очень довольна новыми знакомствами.

Долинскій нашелъ тоже пани Свѣнтоховскую, извѣстную варшавскую модистку, съ которою Анна Михайловна и Даша познакомились въ Парижѣ и которую принимали у себя въ Петербургѣ. Пани Свѣнтоховская, женщина строгая и ультракатоличка, пріѣхала къ Дашѣ, когда Долинскаго не было дома, и разсыпалась передъ Дорою въ поздравленіяхъ и благожеланіяхъ.

— Да съ чѣмъ вы меня поздравляете?—спросила Даша.

— Какъ съ чѣмъ?—Съ мужемъ?..

— Съ какимъ мужемъ,—разсмѣявшись, спросила ее Даша.

— А панъ Долинскій!

Даша еще громче разсмѣялась.

— Да какъ же вы ѣдете?—спросила, нѣсколько обиженная ея смѣхомъ, поляка.

— Простите мнѣ, мой ангелъ, этотъ глупый смѣхъ, — отвѣчала Даша, обтирая выступившія у нея отъ хохота слезы, и рассказала пани Свѣнтоховской какъ устроилась ея поѣздка.

Солидная пани Свѣнтоховская покачала головой.

— Что жъ, вы развѣ находите это очень ужъ неприличнымъ? А будто приличіе было бы оставить меня умирать для приличія?

— Не то, что очень неприлично, а...

— А что?

— Оно... небезпечно.

Даша опять захохотала и, немного покраснѣвъ, сказала:

— Какіе пустяки!

Когда пришелъ Долинскій, не заставъ уже пани Свѣнтоховской, Даша встрѣтила его веселымъ смѣхомъ.

— Чего вы такъ смѣетесь, Дора? — освѣдомился Долинскій.

— Знаете, Несторъ Игнатычъ, что вы въ опасности?

— Въ какой опасности?

— Въ опасности.

— Полноте шалить, Дора! скажите толкомъ, — отвѣчалъ нѣсколько встревоженный Долинскій.

— Не пугайтесь, милая няня! Опасностью вамъ угрожаю я. *Я, моей собственной персоной!*

Даша рассказала опасенія madame Свѣнтоховской.

И онъ, и она усердно смѣялись.

Вечеромъ Даша и Долинскій долго просидѣли у пани Свѣнтоховской, которая собрала нѣсколькихъ своихъ знакомыхъ дамъ, съ ихъ мужьями, и ни за что не хотѣла отпустить петербургскихъ гостей безъ ужина. Долинскій ужасно беспокоился за Дашу. Онъ не сводилъ съ нея глазъ, а она превесело щебетала съ польками, и на ея миломъ личикѣ не было замѣтно ни малѣйшаго признака усталости, хотя часъ былъ уже поздній.

— Домой пора, Дора, — не разъ шептала ей Долинскій.

— Погодите — невѣжливо же уѣхать?

— Заболѣете.

— Ахъ! Какъ вы мнѣ надоѣли съ вашимъ менторствомъ. Долинскій отходилъ прочь.

Вернулись домой только во второмъ часу. Войдя въ номеръ, Долинскій взялъ Дашу за обѣ руки и сказалъ:

— Смерть я боюсь за васъ, Дорушка! Того и гляжу, что вы слегете.

— Не бойтесь, не бойтесь, мой милый, — отвѣчала она, пожимая его руки.

— А вы слышали, что о васъ говорили паны? — спросилъ Долинскій, усадивъ Дору въ кресло.

— Нѣтъ. Что они говорили?

— Говорили: какая хорошенькая московка?

Даша сдѣлала гримасу и сказала:

— Это мы и безъ нихъ знали; а потомъ спросила: — А вы слышали, что о васъ говорили паны?

— Нѣтъ.

Даша разсмѣялась.

— Говорили, что вы Анинъ «коханокъ».

— Кому это они говорили?

— Сами съ собой говорили.

— Ворона вѣсть принесла.

— Ворона, именуемая панею Свѣнтоховскою.

— А ей кто доложилъ?

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ! слухомъ, сударь, земля полнится.

Долинскій ничего не отвѣчалъ.

— А странный вы господинъ!—начала, подумавъ, Даша.—Громами гремите противъ предрасудковъ, а самимъ ухъ какъ жутко становится, если дѣло на чистоту выходитъ! Чтò же вамъ! Развѣ вы не любите сестры или стыдитесь быть ей, какъ онѣ говорятъ, «коханкомъ».

— Да мнѣ все равно, только... зачѣмъ? Я вѣдь знаю, чтò у этихъ господъ значить *коханекъ*.—Мнѣ, это, конечно, все равно, а...

— А кому жъ неравно? Ужъ не за сестру ли вы печалитесь?—Мы съ ней люди простые, въ пансіонахъ не воспитывались: ѣдимъ пряники неписанные.

— Да я жъ вѣдь ничего и не сказалъ, кажется.

— А только подумалъ! — отвѣчала съ ироніей Даша.— Нѣтъ, Несторъ Игнатьичъ, крѣпко, еще, вѣрно, сидятъ въ насъ бабушкины-то присказки!

Даша тоже задумалась и стала смотрѣть на свѣчу, а Долинскій молча прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ и сказалъ:

— Ложитесь спать, Даша.

Даша не отвѣчала.

— Идите въ постель, Дора, — повторилъ черезъ минуту Долинскій.

Даша молча встала, пожала Долинскому руку и, выходя изъ комнаты, громко продекламировала:

О, жалкій, слабый родъ! О, время
Полунорывовъ долгихъ думъ
И робкихъ дѣлъ! О, вѣкъ! О, племя!
Безъ вѣры въ собственный свой умъ!

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Все обстоит благополучно.

Путешественники наши пробыли въ Варшавѣ пять дней и написали Аннѣ Михайловнѣ два длинныхъ письма. На шестой день панна Свѣнтоховская проводила ихъ на желѣзную дорогу. Усаживая Дашу въ вагонъ, она шепнула ей нѣсколько словъ, на которыя та отвѣчала гримаскою. Дорогою Даша первый день чувствовала себя нѣсколько слабою. Закачало ее, и потому Долинскій рѣшилсѣ вовсе не везти ее ночами. Но на другой день Дашѣ было гораздо лучше и она хохотала надъ Долинскимъ, представляя, какое у него длинное лицо бываетъ, когда она охнетъ.

— Смотрите, Несторъ Игнатьичъ,—говорила она:—чтобъ, въ самомъ дѣлѣ, не вышло на слова пани Свѣнтоховской. Въ самомъ дѣлѣ, какъ она говоритъ, «небезпечно» вамъ, кажется, разгуливаться со мной по бѣлу-свѣту. Чего добраго, влюбитесь вы въ меня. Въ два-то года, живя вмѣстѣ, вы меня не разсмотрѣли хорошенько, а теперь вотъ дѣлать вамъ нечего, со скуки какъ-разъ злой недугъ приключится. Вотъ анекдотъ-то выйдеть! Хотъ со свѣта бѣжи тогда.

— Чтѣ вы выдумываете, Дорушка!

— А чтѣ-жъ! Всѣ подъ Богомъ ходимъ. Развѣ ужъ въ меня и влюбиться нельзя?

— Какая вы хорошенькая! — смѣясь, воскликнулъ Долинскій.

— Вотъ то-то и оно! Въ Варшавѣ, въ царствѣ женской красоты, таковою признана.

— А кстати, Дора, я и забылъ васъ спросить: какъ вамъ понравилась Варшава?

— Очень хорошій, типическій городъ.

— А варшавяне?

— Мужчины или женщины?

— Тѣ и другія?

— Однимъ словомъ на это отвѣчать нельзя.

— Ну, можете двумя словами.

— Въ полякахъ мнѣ одно только нравится, а въ полькахъ одно только не нравится.

— Значитъ, въ мужчинахъ вы замѣтили только одну добродѣтель, а въ женщинахъ только одинъ порокъ?

— Не то совсѣмъ. Мужчины почти точно такіе же, какъ

и наши; даже у этихъ легкости этой ненавистной, пожалуй, какъ будто, еще и больше — это мнѣ противно; но они вотъ чѣмъ умнѣе: они за однимъ другимъ не забываютъ.

— Какъ это, Дорушка?

— А такъ! У нихъ пѣнію время, а молитвѣ часъ. Они не требуютъ, чтобъ люди уродами подѣлались за то, что ихъ матери не въ тотъ, а въ другой годъ родили. У нихъ Божіе идетъ Богови, а кесарево кесареви. Они и живутъ, и думаютъ, и любятъ, и не надоѣдаютъ своимъ женщинамъ одною докучною фразою. Мнѣ, вы знаете, смерть надоѣли эти наши ораторы! Все чувства боится! Сердчишекъ не далъ Богъ, а они еще мечами картонными отмахиваются. Любовь и привязанность будто чему-нибудь хорошему могутъ мѣшать? Будто любовь чему-нибудь мѣшаетъ?

Даша разгорячилась.

— Шуты святочные! — сказала она съ презрѣніемъ, и стала смотрѣть въ окошко вагона.

— Ну, а о женщинахъ-то польскихъ что же вы, Даша, расскажете?

Даша обернулась съ веселой улыбкой.

— Прелесть! Я не знаю, гдѣ у васъ царь въ головѣ былъ, Долинскій?

— Когда?

— Когда вы чортъ-знаетъ какъ обрѣштитесь.

Долинскій ничего не отвѣчалъ и по лицу его пробѣжала тучка. Даша поняла, что она тронула больную рану Долинскаго. Она тронула его пальчикомъ по губамъ и сказала:

— У-у! Бука! стыдно дуться! Городничій поѣдетъ и губы отдавить.

Долинскій вздохнулъ.

— А знаете же, что я одно только не взлюбила въ полькахъ? — заговаривала Дора.

— Что? — спросилъ въ свою очередь Долинскій, проводя рукою по лбу.

— Отгадайте?

— Богъ васъ знаетъ, Дорушка! — отвѣчалъ Долинскій, все еще не вошедшій въ свою тарелку.

— Ну, отгадайте?

— Да, право, не знаю.

Даша нагнулась и, пристально посмотрѣвъ въ глаза Долинскаго, спросила:

— Вы, кажется, все еще дуетсясь?

— Нѣтъ, за что же?

— То-то. Видѣли вы, какъ поляки лошадей запрягаютъ?

— Видѣлъ.

— Ну, какъ?

— Въ шоры.

— Нѣтъ, вотъ тутъ на голову—какъ это называется?

Даша приложила ладони къ своимъ вискамъ.

— Наглазники.

— Ну, да, наглазники. Вотъ эти самые наглазники есть у польскихъ женщинъ. По дорогѣ онѣ идутъ хорошо, а въ сторону ничего не видятъ. Или одна крайность, или другая чрезвычайность.

— Какъ это, Дорушка?

— А такъ: или строгость, или ужъ распущенность, есть своеволие, а между тѣмъ свободы честной нѣтъ.

— А у нашихъ есть?

— Ну, какъ же ровнять! — отвѣчала, качая головкой, Дора.

— Способнѣе, полагаете, наши къ честной свободѣ-то?

— Еще бы! какъ ихъ можно и сравнивать въ этомъ отношеніи! У нашихъ, дѣйствительно, смѣлость; наши женщины—хорошія женщины; онѣ, дѣйствительно, хотятъ быть честно свободными.

— Да много ли ихъ?

— Разумѣется, немного пока; а погодите, я увѣрена, что съ нашими женщинами будетъ жить легче, чѣмъ со всякими другими. Вѣдь не плохо и теперь живетъ съ ними?—добавила она, улыбаясь.

— Хорошо, Дорушка,—отвѣчалъ спокойно Долинскій.

— А что, кого вспомнили?

Долинскій улыбнулся и отвѣчалъ:

— Какая вы наблюдательная, Дора!

— А вы это только теперь замѣтили?

— Только теперь.

— Ну, да! вѣдь я недаромъ говорила, что въ два года вы меня хорошенько не разсмотрѣли!

Даша помолчала, вздохнула и проговорила:

— Что-то она теперь подѣлываетъ?

На другой день, по приѣздѣ въ Ниццу, Долинскій оставилъ Дашу въ гостиницѣ, а самъ до изнеможенія бѣгалъ,

отыскивая квартиру. Задача была не малая. Даша хотѣла жить какъ можно дальше отъ людныхъ улицъ и какъ можно ближе къ морю. Она хотѣла имѣть комнату въ нижнемъ этажѣ, съ окнами въ садъ, не высоко и не дорого.

Послѣ долгихъ поисковъ, наконецъ, нашлась такая квартира у старой француженки, m-me Бюжаръ. Это были три комнатки въ маленькомъ флигелькѣ, съ окнами, выходящими въ уединенный садикъ. М-me Бюжаръ, старушка съ очень добродушнымъ лицомъ, взялась приносить постояльцамъ обѣдъ и два раза въ день навѣщать ихъ и исполнять все, что будетъ нужно для больной русской синьоры. Сама старушка, вмѣстѣ съ двумя желтенькими курочками и чернымъ голландскимъ пѣтухомъ, жила въ крошечной комнаткѣ въ другомъ флигелькѣ, выходившемъ въ тотъ же садикъ. Квартира очень понравилась Дашѣ, и вечеромъ того же дня они въ нее переѣхали. Даша заняла большую комнату съ двумя большими окнами, а Долинскій помѣстился въ маленькомъ кабинетикѣ. Кромѣ того, у нихъ было нѣчто въ родѣ зальца, раздѣлявшаго собою ихъ комнаты. На другой день Долинскій пригласилъ лучшаго доктора, который осмотрѣлъ больную и съ покойнымъ видомъ объявилъ, что она вовсе не въ такомъ положеніи, какъ имъ кажется. Сдѣлавъ необходимыя гигиеническія наставленія Дорѣ, докторъ уѣхалъ, обѣщавъ навѣщать ее черезъ два дня въ третій. М-me Бюжаръ оказалась драгоценнымъ существомъ. Она служивала синьорѣ Дорѣ съ искреннимъ радушіемъ и со всегдашней французской веселостью. Впрочемъ, Даша и мало требовала услугъ. Утромъ она открывала окошечко и кричала: — m-me Бюжаръ! Изъ другого окна ей весело откликались словомъ: — Signora Dorra! и старуха, переваливаясь, бѣжала и помогала ей сдѣлать что нужно. Утромъ старуха убирала ихъ комнаты да приносила обѣдъ. Больше Долинскій и Даша ничего не требовали, и старуха очень полюбила своихъ тихихъ и непривередливыхъ жильцовъ. Жизнь началась очень пріятная. Долинскій отдыхалъ послѣ срочной работы и трудился только тогда, когда ему хотѣлось, а Даша поправлялась не по днямъ, а по часамъ, и опять стала дѣлаться тою же обворожительной, розовой ундиной, какою она была до своей несчастной болѣзни. Только алыя пятна все еще не сходили съ ея нѣжныхъ щечекъ. Днемъ Долинскій читалъ Дашѣ

вслухъ или работала. Онъ написалъ другую повѣсть и совсѣмъ приготавлилъ ее къ отсылкѣ въ Россію. Писанная на свободѣ повѣсть была очень удачна. Даша хорошо знала эту повѣсть. Она знала, что авторъ часто говоритъ въ ней о самомъ себѣ и о людяхъ, помявшихъ его въ своихъ перчаткахъ. Она заставляла Долинскаго по нѣскольکو разъ повторять ей нѣкоторые мѣста и часто надъ многими крѣпко и долго задумывалась.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

На устахъ и въ сердцѣ.

Въ десятый разъ они перечитывали знакомую рукопись и въ десятый разъ Даша заставляла его повторять знакомыя мѣста. Наступалъ вечеръ, Дорушка взяла изъ рукъ Долинскаго тетрадь, долго читала сама глазами и, задумчиво глядя на бумагу, начала что-то чертить перомъ на маржѣ.

— Однако, позвольте, Дарья Михайловна, что же это вы... Вамъ тутъ рисовать вовсе не полагается.

Даша, молча, замарала все начерченное ею перомъ, отбросила съ недовольной гримаской рукопись, встала, надѣла на себя широкополую соломенную шляпу и, подавая руку Долинскому, нѣсколько сурово сказала:

— Пойдемте гулять.

Долинскій взялъ фуражку, и они отправились къ обыкновенному пункту своихъ вечернихъ прогулокъ. Во все время дороги они оба молчали и, дойдя до холмика, съ котораго всегда любовались моремъ, оба, молча, присѣли на зеленую травку. Видъ отсюда былъ самый очаровательный и спокойный. Далеко-далеко открывалась предъ ними безбрежная водная равнина и вечернее солнце тонуло въ краснѣющей ряби тихаго моря. Необыкновенно сладко дразнить здѣсь свою душу мечтами и сердцу давать живые вопросы. Даша устала. Долинскій сбросилъ верхнее пальто и кинулъ его на траву. Даша на немъ прилегла и какъ бы уснула. Молчанью и думамъ ничто не мѣшало.

— Странно какъ это!—сказала Даша, не открывая глазъ.

— Что такое?—какъ бы оторвавшись отъ другой думы, спросилъ Долинскій.

— Такъ, Богъ знаетъ, что приходитъ въ голову. Вотъ, напримѣръ... сколько чепухи на свѣтѣ?

— Не мало, Дарья Михайловна; даже очень довольно.

— Я это и безъ васъ знаю,—отвѣчала Дора и опять замолчала.

— Не понимаю я, — начала она черезъ нѣсколько минутъ:—какъ это дѣлается все у людей... все какъ-то шиворотъ-навыворотъ и таранты-на-вонъ. Клянуть и презирають за то, что только уважать можно, а уважають за то, за что отвернуться хочется отъ человѣка. Трусъ!

— Отчего же не что-нибудь другое, а трусъ?

— Такъ, потому что это все отъ трусости. En gros все ихъ пугаетъ, а en détail—все ничего. Дастъ человѣкъ золотую монету за удовольствіе, котораго ему хочется — его назовутъ мотомъ; а размѣняетъ ее на пятиалтынные и пятиалтынниками разбросаетъ — только погаже какъ-нибудь—ничего. Какъ это у нихъ тамъ все въ головахъ? Все кверху ногами.

— Подите же съ ними!—тихо отвѣчалъ Долинскій.

— Вѣдь это ужасное несчастье.

— Да, это не счастье!

— Но какъ же это дѣлается? Я, напримѣръ, совѣмъ не понимаю, какъ это размѣняться, стать мельче, чѣмъ я есть?

— Очень просто, Дорушка. Употребляя вашу метафору, одинъ человѣкъ самъ боится раскутиться на весь капиталъ, а другой и предлагалъ свою цѣлую золотую монету да взамѣнъ ея получить кое-что изъ мелочи, вотъ и пошла въ обоихъ случаяхъ въ оборотъ одна мелочь, на которую ужъ нельзя вымѣнить снова цѣлой монеты; недостасть ужъ нѣсколькихъ пятиалтынныхъ.

— Какія у людей маленькія душонки! — сказала Даша съ презрительной гримаской.

— У кого же онѣ больше?

— Да у никого. Это-то и скверно, что ни у кого.

Даша задумалась и, помолчавъ, спросила:

— А вы, Несторъ Игнатьичъ, много набрали мелочишки въ сдачу?

— Есть бездѣлица.

— А зачѣмъ?

— Богъ его знаетъ, зачѣмъ? Да и тутъ ваша милая метафора не годится. Не руками берутъ эту, какъ мы сказали, сдачу; а сама она какъ-то послѣ оказывается. Есть поговорка, что всего сердца сразу не излюбилъ.

— Ну, да.

Даша подумала и тихо проговорила:

— Я это понимаю. Мнѣ вотъ только непонятны эти люди маленькіе съ своими програмками. Счастья они не даютъ никому, а со всѣхъ все взыскиваютъ.

— Кому жъ они понятны?

— Какъ вы думаете: вѣдь я увѣрена, что это болѣе все глупая сентиментальность дѣлаетъ?

— И сентиментальность, пожалуй, а больше всего предразсудки, разумъ съ дѣтства изуродованный, страхи пустые, безволие, привычка цѣнить пустыя удобства, да и многое, многое другое.

— Да, разумъ съ дѣтства изуродованный—это особенное несчастье.

— Огромное и почти всегда вѣчное.

— Вы какъ же думаете... Я знаю, что вы поступать не мастеръ, но я хочу знать, какъ вы думаете: нужно идти противъ *всѣхъ* предразсудковъ, противъ *всего*, что несогласно съ моимъ разумомъ и съ моими понятіями о жизни?

— На это, Дорушка, я полагаю, силъ человѣческихъ не достанетъ.

— Но какъ же быть?

— Самому только не подчиняться предразсудкамъ, не обращать вниманія на людей и ихъ узкую мораль, стоять смѣло за свою свободу, потому что внѣ свободы нѣтъ счастья.

— А вамъ скажутъ, что жизнь дана не для счастья, а для чего-то другого, для чего-то далекаго, неосвязаемаго.

— Что жъ вамъ до этого? Пусть говорятъ. На погостѣ живучи, всѣхъ не переплачешь, на свѣтѣ маясь, всѣхъ не переслушаешь. Въ томъ и вся штука, чтобы не спутаться; чтобы, какъ говорятъ, съ петлей не соскочить, не потерять своей свободы, не просмотрѣть счастья, гдѣ оно есть, и не искать его тамъ, гдѣ оно кому-то представляется.

— Да-съ, да: въ этомъ штука, въ этомъ штука!

— Мнѣ такъ кажется, а впрочемъ, можетъ-быть, я и неправъ.

— Нѣтъ, я чувствую, что это правда. Скажите, пожалуйста, вамъ все это не мѣшаетъ жить на свѣтѣ?

— Чтò такое?.. Путаница-то эта?

— Путаница-то.

— Ну, какъ вамъ сказать?

— Да такъ: чувствуете вы, напрімѣръ, себя свободнымъ отъ всѣхъ предразсудковъ?

— Теперь я чувствую себя очень свободнымъ.

— А прежде?

— Да и прежде. Впрочемъ, я, по какимъ-то счастливымъ случайностямъ, давно приучилъ себя смотрѣть на многое по-своему; но только именно все мнѣ какъ-то очень неспокойно было, жилось очень дурно.

— Вы очень много любили людей?

— Да, меня учили любить людей, и я, точно, очень любилъ ихъ.

— А теперь?

— Вы знаете, что я зла никому не дѣлаю или, по крайней мѣрѣ, стараюсь его не дѣлать.

— Только ужъ не привязываетесь къ людямъ?

— Я люблю человѣчество.

— Какъ мнѣ надоѣла эта петербургская фраза! Такъ говорятъ тѣ, которые ровно никого и ничего не любятъ; а вы не такой человѣкъ. Вы мнѣ скажите, какая разница въ вашихъ теперешнихъ чувствахъ къ людямъ съ тѣми чувствами, которыя жили въ васъ прежде?

— Близкихъ людей у меня нѣтъ.

— Совсѣмъ?

— Кромѣ Анны и васъ.

— А прежнія привязанности?

— Растоптали ихъ, теперь онѣ засыпались.

— А мать?

— Я ее очень люблю, но вѣдь ея нѣтъ на свѣтѣ.

— Но вы ее все-таки любите?

— Очень. Моя мать была женщина святая. Такихъ женщинъ мало на свѣтѣ.

— Расскажите мнѣ, голубчикъ Несторъ Игнатьичъ, что-нибудь про вашу матушку,—попросила Дора, быстро поднявшись на локоть и ласково смотря въ глаза Долинскому.

— Долго вамъ рассказывать, Дорушка.

— Нѣтъ, расскажите.

Долинскій хотѣлъ очертить свою мать и свое дѣтское житье въ Киевскомъ Печерскѣ въ двухъ словахъ, но, увле-

каюсь, началъ описывать самыя мелочныя подробности этого житья съ такою полнотою и ясностью, что передъ Дорою проходила вся его жизнь; ей казалось, что, лежа здѣсь, въ Ниццѣ, на берегу моря, она слышитъ изъ-за синихъ ниццскихъ скалъ мелодическій гулъ колоколовъ Печерской лавры и видитъ живую Ульяну Петровну, у которой никто не можетъ ничего украсть, потому что всякій, не крадучи, можетъ взять у нея все, что ему нужно.

— Какой вы художникъ! Какъ хорошо вы все это рассказываете!—перебывала она не разъ Долинскаго.

И выслушавъ, какъ Долинскій, вдохновившійся воспоминаніемъ о своей матери, говорилъ въ заключеніе:

— У насъ въ домѣ не знали, что такое попрѣкъ, или ссора; намъ не твердили, что отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ, а учили, что всякое неправое стяжаніе—прахъ; намъ никогда не говорили: «наживай да берегай», а говорили: «отдавай, помогай, не ропщи и вѣруй, что сколько тебѣ чего нужно, столько для тебя есть на свѣтѣ».

Дорушка воскликнула:

— Какое прелество, какое завидное дѣтство! Вы не будете ревновать меня, если я стану любить вашу мать такъ же, какъ вы?

Долинскій, молча, пожалъ руку Доры.

— Вы знаете,—продолжалъ онъ, увлекаясь:—люди восторгаются «Галубомъ»; въ немъ видѣли идеалъ; по поводу его написаны лучшія статьи о нравственно-развитомъ человѣкѣ, а Тазить только не столкнулъ врага, убійцу брата! Сердце не позволило. А моя мать? Эта святая душа, которая не только не могла столкнуть врага, но у которой *не могло быть врага*, потому что она впередъ своей христіанской индულгенціей простила все людямъ, она не вдохновить никого, и могила ея, я думаю, до сихъ поръ разрыта и сравнена, и сынъ ея воспоминаетъ о ней разъ въ цѣлые годы; даже черненко поминаетъ, въ которое она записывала всѣхъ и въ которое я когда-то записывалъ моею дѣтскою рукою ея имя—и оно гдѣ-то пропало тамъ, въ Москвѣ, и еще, можетъ-быть, не разъ служило предметомъ шутокъ и насмѣшекъ... Господи, какія у насъ бываютъ женщины! Сколько добра и правды! Какое высокое пониманіе истины сердцемъ! Моя мать, напримѣръ, едва

умѣвшая писать имена въ своемъ поминаньи, и этотъ Шпандорчукъ или Вырвичъ...

— Зачѣмъ вы ихъ троихъ вспоминаете вмѣстѣ?—произнесла чуть слышно, отворачиваясь въ сторону, Дора. Слезы обильнымъ ручьемъ текли у нея по обѣимъ щекамъ.

— А я, ея дитя, вскормленное ея грудью, выученное ею чтить добро, любить, молиться за враговъ—что я такое?.. Поэзію, искусства, жизнь какъ будто понимаю, а понимаю ли себя? Зачѣмъ нѣтъ мира въ костяхъ моихъ? Что я, наконецъ, такое? Вырвичъ и Шпандорчукъ по всему лучше меня.

— Вы лучше ихъ, — произнесла скороговоркою, не обращившись, Дора.

— Они могутъ быть полезнѣе меня.

— Вы всегда будете полезнѣе ихъ, — опять такъ же спѣшно оторвала Дора.

— Вы знаете... вотъ мы вѣдь друзья, а я, впрочемъ, никогда и вамъ не открывалъ такъ мою душу. Вы думаете, что я только слабъ волею... нѣтъ! Во мнѣ еще сидитъ какой-то червякъ! Мнѣ все скучно; я все какъ будто не на своемъ мѣстѣ; все мнѣ кажется... что я сдѣлаю что-то дурное, преступное, чего никогда-никогда нельзя будетъ поправить.

— Что жъ это такое? — спросила, медленно поворачиваясь къ нему лицомъ, Дора.

— Не знаю. Я все боюсь чего-то. Я просто чувствую, что у меня впереди есть какое-то ужасное несчастье. Ахъ, мнѣ не надо жить съ людьми! Мнѣ не надо встрѣчаться съ ними! Это все, что какъ-нибудь улыбается мнѣ, этого всего не будетъ. Я не умѣю жить. Все это, что есть въ мнѣ хорошаго, это все не для меня.

— Васъ любятъ.

— И изъ этого ничего не будетъ, — отвѣчалъ, покачавъ головою, Долинскій.—Я вѣрю въ мои предчувствія.

— А они говорятъ?

— Что что-то близится страшное; что что-то такое мое до меня близится; что этотъ врагъ мой...

— Близокъ?

— Да. Мать моя предчувствовала свою смерть, я предчувствую свою гибель.

— Не говорите этого!—сказала строго Дора.

— Пусть только бы скорѣе, истома хуже смерти.

— Не говорите этого! Слышите! Не говорите этого при мнѣ!—сердито крикнула, вся измѣнившись въ лицѣ, Дора, и, окинувъ Долинскаго грознымъ, величественнымъ взглядомъ, прошептала:—*пророкъ!*

Ни одинъ трагикъ въ мірѣ не могъ бы передать этого страшнаго, разлетѣвшагося надъ моремъ шопота Доры. Она истинно была и грозна, и величественна въ эту минуту.

— Зато, — началъ Долинскій, когда Дора, пройдясь нѣсколько разъ взадъ и впередъ по берегу, снова сѣла на свое мѣсто:—кончается мое незабвенное дѣтство и съ нимъ кончается все хорошее.

— Да... ну, продолжайте: какова была, напримѣръ, любовь вашей жены въ началѣ хотя?—разспрашивала, сисясь успокоиться, Дора.

— А кто ее знаетъ, что это была за любовь? Я только одно знаю, что это было что-то безкорыстное.

— Не понимаю.

— Ну, и слава Богу.

— Нѣтъ, вы расскажите это.

— Говорю вамъ, что безкорыстья не было въ этой любви. Не знаете, какъ любить, какъ арендную статью?

— Все *по праву* требуютъ, а не по сердцу.

— Ну, вотъ вы и понимаете!

— А братъ вашъ?

— Я его очень любилъ, но мы какъ-то отвыкли другъ отъ друга.

— Зачѣмъ же? зачѣмъ же отвыкать?

— Разъѣхались, разбросало насъ по разнымъ мѣстамъ.

— Какъ будто мѣста могутъ разорвать любовь?

— Поддержать ее не умѣли.

— Это дурно.

— Да, хорошаго ничего нѣтъ.

— Кто же это: вы ему перестали писать, или онъ вамъ?

— Нѣтъ, онъ.

— А вы ему писали?

— Писалъ долго, а потомъ и я пересталъ.

Дорушка задумалась.

— Ну, а сестра?—спросила она послѣ короткой паузы.

— Сестра моя?... Богъ ее знаетъ! говорить, такъ себѣ...
барыня...

- По «правиламъ» живеть,—смѣясь сказала Даша.
— По «правиламъ»,—смѣясь же отвѣчалъ Долинскій.
— Эгоистка она?
— Нѣтъ.
— А что же?
— Я вамъ сказалъ: барыня.
— Добрая?
— Такъ... не злая.
— Не злая и не добрая?
— Не злая и не добрая.
— Господи! въ самомъ дѣлѣ, съ какою вы обстановкой жили послѣ матери! Страшно просто.
— Теперь все это прошло, Дорушка. Теперь я живу съ хорошими людьми. Вотъ, Анна Михайловна—хорошій человекъ; вы—золотой человекъ.
— Анна—хорошій, а я—золотой! что же лучше: золотой, или хорошій?
— Обѣ вы хорошіе человекѣ.
— Значить, «обѣ лучше». А которую вы больше любите?
— Васъ, конечно.
— Ну—то-то.
Они разсмѣялись и, наговорившись до-сыта, пошли домой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Любовь до слезъ горячихъ.

Тихое однообразіе ницдской жизни Доры и ея спутника продолжалось ненарушимое ничѣмъ ни съ одной стороны, но при всемъ этомъ оно не было тѣмъ утомительнымъ *semper idem*, при которомъ всякое чувство и всякое душевное настроеніе способно переходить въ скуку. Одинъ недавно умершій русскій писатель, владѣвшій умомъ обаятельной глубины и свѣтлости, человекъ, увлекавшійся безмѣрно и соединявшій въ себѣ крайнюю необузданность страстей съ голубиною кротостью духа, восторженно утверждалъ, что для людей живыхъ, для людей съ *искрой Божіей* нѣтъ *semper idem*, и что такіе, живые люди, оставленные самимъ себѣ, никогда другъ для друга не исчерпываются и не теряютъ великаго жизненнаго интереса; остаются другъ для друга вѣчно, такъ сказать, недочитанною любопытною книгою. Отъ слова до слова я помнилъ всегда оригинальныя, полныя самаго горячаго поэтическаго вдохновенія рѣчи

этого человѣка, хлеставшія бурными потоками въ спорѣ о всѣмъ извѣстной старенькой книжкѣ Saint Pierre «Paul et Virginie», и теперь, когда исторія событій доводитъ меня до этой главы романа, въ ушахъ моихъ снова звучать эти пылкія рѣчи смѣлаго адвоката за право духа и человѣкъ снова начинается мнѣ представляться недочитанною книгою.

Дорушка и слышать не хотѣла ни о какихъ знакомствахъ и ни о какихъ разнообразіяхъ. Когда Долинскій случайно познакомился гдѣ-то въ caf  съ братомъ Вѣры Александровны Онучиной, Кирилломъ, и когда Кирилль Александровичъ сдѣлалъ Долинскому визитъ и потомъ еще навѣстилъ его два или три раза, Дорушка не то что дулась, не то чтобы тяготилась этимъ знакомствомъ, но точно какъ будто боялась его, тревожилась, находила себя въ какомъ-то неловкомъ, непрямомъ положеніи. А Кирилль Онучинъ не былъ совсѣмъ же непріятный аристократъ, ни демократическій фатъ, ни левъ, ни франтъ дурного тона. Это былъ человѣкъ самый скромный и вообще типъ у насъ довольно рѣдкій. По происхожденію, состоянію, а равно по тонкости и бѣлизнѣ кожи, сквозь которую видно было, какъ благородная кровь переливается въ тоненькихъ, голубыхъ жилкахъ его висковъ, Кирилль Онучинъ былъ аристократъ, но ни одного аристократическаго стремленія, ни одного исключительнаго порока и недостатка, свойственнаго большинству нашихъ русскихъ патриціевъ, въ Кириллѣ Онучинѣ не было и запаха, и тѣни. Въ собственной семьѣ онъ былъ очень милымъ и любимымъ лицомъ, но лицомъ-таки ровно ничего незначущимъ; въ обществѣ, съ которымъ водилась его мать и сестра, онъ значилъ еще меньше.

— Кирилль Онучинъ?.. Да какъ бы это вамъ сказать, что такое Кирилль Онучинъ?—отвѣчалъ вамъ, разводя врозь руками, всякій, у кого бы вы ни вздумали освѣдомиться объ этомъ экземплярѣ.

Въ существѣ же длинный и кротчайшій Кирилль Александровичъ былъ страстный ученый, любившій науку для науки, а жизнь свою какъ средство знать и учиться. Онъ почти всегда или читалъ, или писалъ, или что-нибудь преподавалъ. Въ жизни онъ былъ самый милый невѣжда, но въ ботаникѣ, химіи и сравнительной анатоміи—знатокъ великій. Скромнѣйшимъ образомъ возился онъ съ листочками да корешочками, и никому рѣшительно не была из-

вѣсна мѣра его обширныхъ знаній естественныхъ наукъ; но когда Орсини бросилъ свои бомбы подъ карету Наполеона III, а во всѣхъ кружкахъ затолковали объ этихъ ужасныхъ бомбахъ и недоумѣвали, что это за составъ былъ въ этихъ бомбахъ, Кирилль Александровичъ одинъ разъ вызвалъ потихоньку въ садъ свою сестру, сталъ съ ней подъ окномъ каменнаго грота, показалъ крошечную, черненькую грушку, величиною въ маленькій женскій наперстокъ и, загнувъ руку, бросилъ этотъ шарикъ на полъ грота. Страшный взрывъ потрясъ не только всѣ стѣны грота, но и земляную, заросшую дерномъ насыпь, которая покрывала его старинные своды.

— Вотъ видишь, только это въ крошечномъ размѣрѣ, а то, вѣрно, въ большемъ,—разсказывалъ Кирилль Александровичъ перепуганной его опытомъ сестрѣ, и никому болѣе не говорилъ объ этомъ ни одного слова.

Этотъ смирный человѣкъ рѣшительно не могъ ничѣмъ произвести въ Дорѣ дурное впечатлѣнiе, но она, очевидно, просто-на-просто не хотѣла никакихъ знакомствъ. Ей просто не хотѣлось имѣть передъ глазами и на слуху ничего способнаго каждую минуту напомнить о Россiи, съ воспоминанiемъ о которой связывалось кое-что другое, смутное, но тяжелое, о которомъ лучше всего не хотѣлось думать.

Не давая ярко проявляться своему неудовольствию за это новое знакомство съ Онучиными, Дора выбила этотъ клинъ другимъ клиномъ: замѣнила знакомство Онучиныхъ знакомствомъ съ дочерью молочной сестры madame Бюжаръ, прехорошенькою Жервезой. Эта Жервеза была очень милая женщина съ добрымъ, живымъ французскимъ лицомъ, покрытымъ постоянно сильнымъ загаромъ, придававшимъ живымъ и тонкимъ чертамъ еще большую свѣжесть. Ей было около двадцати-двухъ лѣтъ, но она уже имѣла пятилѣтняго сына, котораго звали Пьеро, и второго, грудного, Жона. Мужъ Жервезы, прехорошенькій парискъ, щеголявшій всегда чистенькою рубашкой, яркимъ галстукомъ и кокетливой курткой, былъ огородникъ. У нихъ былъ свой очень маленькій крестьянскій домикъ, въ трехъ или четырехъ верстахъ отъ города. Домикъ этотъ стоялъ на краю одной узенькой деревенской дорожки при зеленой долинѣ, съ которой несло вѣчной свѣжестью. Жервеза и Генрихъ (ея мужъ) были собственники. Собственность ихъ состояла изъ

этого домика, съ крошечнымъ дворикомъ, крошечнымъ огородцемъ градъ въ десять или пятнадцать и огороженнымъ лужкомъ съ русскую тридцатную десятину. Это было наслѣдственное богатство сиротки Жервезы, которое она принесла съ собою своему молоденькому мужу. Потомъ у нихъ на этомъ лужкѣ гуляли четыре очень хорошенькія коровы, на дворѣ стояла маленькая желтенькая телѣжка съ красными колесами и небольшая, лапоухая мышастая лошадка, болѣе похожая на осла, чѣмъ на лошадь. Если прибавимъ къ этому еще десятка полтора куръ, то получимъ совершенно полное и обстоятельное понятіе о богатствѣ *молочной красавицы*, какъ называли Жервезу горожане, которыми она аккуратно каждое утро привозила на своей мышастой лошаденкѣ молоко отъ своихъ коровъ и яйца отъ своихъ куръ. Мужъ Жервезы бывалъ цѣлый день дома только въ воскресенье. Въ простые дни онъ обыкновенно вставалъ съ зарею, запрягалъ женѣ лошадей и съ зеленою шерстяною сумою за плечами уходилъ до вечера работать на чужихъ, большихъ огородахъ. Жервеза въ эту же пору усаживалась между кувшинами и корзинами въ свою крошечную телѣжку и катила на своей лапоухѣ въ нѣзаканчивавшійся еще во снѣ городъ. Старшій сынъ ея обыкновенно оставался дома съ мужниной сестрою, десятилѣтнею дѣвочкой Аделиной, а младшаго она всегда брала съ собою, и ребенокъ или сладко спалъ, убаюкиваемый тихою тряскою телѣжки, или при всей красотѣ природы съ аппетитомъ сосалъ материню молоко, хлопалъ ее полненькой рученкой по смуглой груди и улыбался, зазираая изъ-подъ косынки на черные глаза своей кормилицы.

Эта Жервеза каждый день являлась къ madame Бюжаръ, и, оставивъ у нея ребенка, отправлялась развозить свои продукты, а потомъ заѣзжала къ ней снова, вышивала стаканъ кофе, брала ребенка и съ купленнымъ для супу кускомъ мяса спѣшила домой. Доружка нѣсколько разъ видѣла у madame Бюжаръ Жервезу, и *молочная красавица* ей необыкновенно нравилась.

— Это Маріи, — говорила она Долинскому: — а не мы, Марей, кажется, только и стоящія одного упрека... Можетъ-быть, только мы и выслужимъ за свое мареунство.

— Опять новое слово, — замѣтилъ весело Долинскій: — то разъ было *комонничать*, а теперь *мареунствовать*.

— Всякое слово хорошо, голубчикъ мой, Несторъ Игнатычъ, если оно выражаетъ то, что хочется имъ выразить. Академія наукъ не знаетъ всѣхъ словъ, которыя нужны,—отвѣчала ласково Дора.

Быстро и сильно увлекаясь своими симпатіями, Дора совсѣмъ полюбила Жервезу, вспоминала о ней очень часто и говорила, что она отдыхаетъ съ нею духомъ и не можетъ на нее налюбоваться.

Въ то время, когда съ Долинскимъ познакомился Кирилль Онучинъ, у Жервезы случилось горе: мужъ ея, впервые послѣ шести лѣтъ, уѣхалъ на какую-то очень выгодную работу на два, или на три мѣсяца, и Жервеза очень плакала и грустила.

— Онъ у меня такой недурненькій, такой ласковый, а я одна остаюсь,—наивно жаловалась она теткѣ Бюжаръ и Дорушкѣ.

— Ай, ай, ай, ай!—говорила ей, качая сѣдою головою, старушка Бюжаръ.

— Ну, да! хорошо вамъ разсуждать-то,—отвѣчала печально, обтирая слезы, Жервеза.

Горе этой женщины было, въ самомъ дѣлѣ, такое граціозное, поэтическое и милое, что и жаль ее было, и все-таки нельзя было не любоваться самымъ этимъ горемъ. Дорушка перемѣнила мѣсто прогулокъ и стала навѣщать Жервезу. Когда они пришли къ «молочной красавицѣ» въ первый разъ, Жервеза ужинала съ сыномъ и мужниной сестренкой. Она очень обрадовалась Долинскому и Дорѣ; краснѣла, не знала какъ ихъ посадить и чѣмъ угостить.

— Милочка, душечка Жервеза, и ничего больше,—успокоивала ее Дора.—Совершенно французская идиллія изъ повѣсти или романа,—говорила она, выходя съ Долинскимъ за калитку дворика:—благородная крестьянка, коровки, дѣти, куры, молоко и лужайка. Какъ странно! Какъ глупо и пошло мнѣ это представлялось въ описаніяхъ, и какъ это хорошо, какъ спокойно ото всего этого на самомъ дѣлѣ. Жервеза, возьмите, милая, меня жить къ себѣ.

— Oh, mademoiselle, какъ это можно! Мы не умѣемъ служить вамъ; у насъ... тѣсно, безпокойно,—увѣряла «молочная красавица».

— А вотъ, mademoiselle Дора думаетъ, что у васъ-то именно очень спокойно.

— Oh, non, monsieur! Коровы, куры утромъ кричатъ, дѣти плачутъ; мой Генрихъ тоже встаетъ такъ рано и начинаетъ рубить дрова, да нарочно будить меня своими пѣснями.

— Но теперь вашъ Генрихъ не рубить вамъ дровъ и не поетъ своихъ пѣсенъ?

— Да, теперь онъ, бѣдный, не поетъ тамъ своихъ пѣсенокъ.

— А, можетъ-быть, и поетъ,—пошутила Дора.

— Поетъ! Ахъ, нѣтъ, не поетъ онъ. Вы вѣдь не знаете, mademoiselle, какъ онъ меня любитъ: онъ такой недурненькій и всегда хочетъ цѣловать меня... Я просто, когда только вздумаю, кто ему тамъ чистить его бѣлье, кто ему починить, если разорвется его платье, и мнѣ такъ хочется плакать, мнѣ дѣлается такъ грустно... когда я только подумаю, что...

— Кто-нибудь другой тамъ вычистить его бѣлье и его поцѣлуешь?

— Mademoiselle! зачѣмъ вы мнѣ это говорите? — произнесла, блѣднѣя, «молочная красавица», и кружка заходила въ ея дрожащей рукѣ. — Вы знаете что-нибудь, mademoiselle? — спросила она, дѣлая шагъ къ Дорѣ и быстро вперя въ нее полные слезъ и страха глаза.

— Что вы! что вы, бѣдная Жервеза! Успокойтесь, другъ мой, я пошутила, — говорила встревоженная Дора, вставая и цѣлуя крестьянку.

— Честное слово, что вы пошутили?

— Даю вамъ честное слово, что я пошутила и что я, напротивъ, увѣрена, что Генрихъ любитъ васъ и ни за что вамъ не измѣнитъ.

— Увѣренъ въ этомъ, mademoiselle, никто не можетъ быть, но я лучше хочу сомнѣваться, но... вы никогда, mademoiselle, такъ не шутите. Вы знаете, я завтра оставлю дѣтей и хозяйство, и пойду сейчасъ, возьму его назадъ оттуда, если я что-нибудь узнаю.

— Однако, какъ плохо шутить-то! — проговорила по-русски Дора, когда Жервеза успокоилась и начала высказывать свои взгляды.

— Вѣдь я ему вѣрна, mademoiselle Дора, я ему советъ вѣрна; я противъ него даже помысломъ не виновата, и я люблю его, потому что онъ у меня такой недурненькій и

ласковый, и потомъ вѣдь мы же съ нимъ, mademoiselle, вѣнчались; онъ не долженъ сдѣлать противъ меня ничего дурного. Прекрасно еще было бы! Нѣтъ, если я тебя люблю, такъ ты это знай и помни, и помни, и помни, — говорила она, развеселясь и цѣлуя за каждымъ словомъ своего ребенка. — Вы вѣдь знаете, мы шесть лѣтъ женаты, и мы никогда, рѣшительно никогда не ссорились съ моимъ Генрихомъ.

— Это рѣдкое счастье, Жервеза.

— Ахъ, правда, mademoiselle, что рѣдкое! Мы оба съ Генрихомъ такіе... какъ бы вамъ сказать? Мы оба всегда умно ведемъ себя: мы цѣлый день работаемъ, а ужъ зато, когда онъ приходитъ домой, mademoiselle, мы совсѣмъ сумасшедшіе; мы все цѣлуемся, все цѣлуемся.

Дора и Долинскій оба весело разсмѣялись.

— Ахъ, pardon, monsieur, что я это при васъ рассказываю!

— Пожалуйста, говорите, Жервеза; это такъ рѣдко удается слышать про счастье.

— Да, это правда, а мы съ Генрихомъ совсѣмъ сумасшедшіе: какъ я ему только отворяю вечеромъ дверь, и схожу съ ума и онъ тоже.

— А что вы думаете, Жервеза, объ этомъ господинѣ? *Недурненькій* онъ или нѣтъ? — говорила Дора, прощаясь и указывая Жервезѣ на Долинскаго.

«Молочная красавица» посмотрѣла на Нестора Игнатьича, который былъ безъ сравненія лучше ея Генриха, и улыбнулась.

— Что же? — переспросила ее Дора.

— Генрихъ лучше всего міра! — отвѣчала ей на ухо Жервеза. — Онъ такъ меня цѣлуетъ, — шептала она скороговоркой: — что у меня голова такъ кружится, кружится-кружится, и я ничего не помню послѣ.

На первой полуверстѣ отъ дома молочной красавицы Дорунка остановилась разъ шесть и принималась весело хотать, вспоминая наивную откровенность своей Маріи.

— Да-съ, однако, шутить-то съ вашей Маріей не очень легко: за ухо привести и скажетъ: нѣтъ, *ты мой мужъ*; помни это, голубчикъ! — говорилъ Долинскій.

— Ну, да, да, это очень наивно; но вѣдь она на это право имѣетъ: видите, она зато вся живетъ для мужа и въ мужѣ.

— Вы это оправдываете?

— Извиняю. Если бы Жервеза была не такая женщина, какая она есть; если бы она любила въ мужѣ самой себя, а не его, тогда это, разумѣется, было бы неизвинительно; но когда женщина любитъ истинно, тогда ей должно прощать, что она смотритъ на любимаго человѣка какъ на свою собственность, и не хочетъ потерять его.

— А если она ревнуетъ, лежа какъ собака на снѣгѣ?

— Тогда она собака на снѣгѣ.

— Видите,—начала, подходя къ городу, Дора: — почему я вотъ и назвала такихъ женщинъ Маріями, а насъ—много-рѣчивыми Мароами. Какъ это все у нея просто и все выходитъ изъ одного *люблю*.—Почему *люблю*? — Потому, что онъ такой недурненькій и ласковый. А совсѣмъ нѣтъ! Она любитъ потому, что *любитъ его*, а не себя, и потому все ужъ это у нея такъ прямо идетъ — и преданность ему, и забота о немъ, и боязнь за него, а у насъ пойдетъ мароунство: какъ? да что? да, можетъ-быть, иначе нужно? И пойдутъ эти надутыя лица, сунленье, скитанье по угламъ, доказыванье характера, и прощай счастье. Люби просто, такъ все и пойдетъ просто изъ любви, а начнутъ вотъ этакъ пещися и молвить о многомъ — и все пойдетъ, какъ ключъ ко дну.

— Правда въ вашихъ словахъ чувствуется великая и, конечно, *внутренняя* правда, а не логическая и, стало-быть, самая вѣрная; но вѣдь вотъ какая тутъ исторія: думаешь о любви какъ-то такъ хорошо, что какъ ни повстрѣчаешься съ нею, все обыкновенно не узнаешь ее... все она бѣднѣе чѣмъ-то. И опять хочется *настоящей* любви, такой, какая мечтается, а настоящая любовь...

— Есть любовь Жервезъ,—подсказала Дора.

— Любовь Жервезъ? Я не корю ее, но почему вы знаете, чего здѣсь болѣе — любви, или привязанности и страсти, или убѣжденія, что все это такъ быть должно. Охъ, настоящая любовь — большое дѣло! Она скромна, она молчать... Нѣтъ, настоящая любовь... нѣтъ ея, кажется, нигдѣ даже.

Дорушка тихо повернулась лицомъ къ Долинскому.

— Настоящая любовь,—сказала она: — вѣрно тамъ, гдѣ нѣтъ насъ?

— Можетъ-быть.

— И гдѣ мы не были, пожалуй?

— Да это будетъ одно и то же.

— Ай, ай, ай, на какихъ вещахъ вы даёте ловить себя, Долинскій! — протянула Дора и дернула за звонокъ у порога своего дома.

— Вы, кажется, вчера вывели изъ нашего разговора какое-то новое заключеніе? — спрашивала ее на другой день Несторъ Игнатьичъ.

— Новое!.. никакого, — отвѣчала, улыбувшись, Дора.

Дней черезъ пять Дора снова вздумала идти къ Жервезѣ. Проходя мимо одной лавки, они купили для дѣтей фруктовъ, конфетъ, лентъ для старшей дѣвочки, кушакъ для самой молочной красавицы и вышли съ большимъ бумажнымъ конвертомъ за городъ.

Не нужно много трудиться надъ описаніемъ этихъ синеватыхъ вечернихъ береговыхъ мѣстъ Средиземнаго моря: ни Айвазовскаго кисти, ни самое художественное перо все-таки не передаютъ ихъ вѣрно. Вечеръ былъ божественный, и Дора съ Долинскимъ не замѣтили, какъ дошли до домика молочной красавицы.

Когда Долинскій нагнулся, чтобы сбить угломъ платка пыль, наставшую на его лакированный ботинокъ, изъ раствореннаго низенькаго и очень широкаго окна слышалось какое-то очень стройное пѣніе: женскій, довольно слабый контральтъ и дѣтскіе, неровные дисканты.

Дорушка приподняла платье, тихонечко подошла къ окну и остановилась за густымъ кустомъ, по которому сплошною стѣйю ползли синіе усы винограда; Долинскій такъ же тихо послѣдовалъ за Дорой и остановился у ея плеча.

— Тсс! — произнесла чуть слышно Дора и, не оборачиваясь къ Долинскому, погрозила ему пальцемъ.

Чистенькая бѣлая комната молочной красавицы была облита нѣжнымъ краснымъ свѣтомъ только-что окунувшись въ море горячаго солнца; старый орѣховый комодъ, закрытый бѣлой салфеткой; молящійся бронзовый купидонъ и грустный ликъ Мадонны, съ сердцемъ, пронзеннымъ семью мечами — все смотрѣло необыкновенно тихо, нѣжно и серьезно. Изъ комнаты не слышно было ни звука. Черезъ верхнія вѣтки куста Долинскій увидалъ Жервезу. Молочная красавица въ яркомъ снѣзѣрѣ и высокомъ бѣломъ чепцѣ стояла на колыняхъ. На локтѣ лѣваго рукава ея бѣлой рубашки

лежалъ небольшой черненькій шарикъ. Это была головка ея младшаго сына, который тихо сосать грудь и на котораго она смотрѣла въ какой-то забывчивости. Рядомъ съ Жервезою, также на колѣняхъ, съ сложенными на груди ручонками, стояла десятилѣтняя сестра Жервезинаго мужа, а слѣва опять на колѣняхъ же помѣщался ея старшій сынъ. Пятилѣтній Пьеро былъ босикомъ, въ синихъ нанковыхъ штанишкахъ и желтоватой нанковой же курточкѣ. Мальчикъ тоже держалъ руки сжавши на груди, но смотрѣлъ въ бокъ на окно, на которомъ сидѣлъ бѣлый котенокъ, преградило раскачивающій лапкою привѣшенное на ниткѣ красное райское яблочко.

Жервеза взяла мальчика за плечо и тихо повернула его лицо къ Мадоннѣ и тотчасъ же заплѣла: «Ты, Который все видишь, всѣхъ любишь и со всѣми живешь, приди и живи въ нашемъ сердцѣ».

Дѣти плѣли за Жервезой не совсѣмъ согласно, отставали отъ нея и повторяли слова нѣсколько позже, но, тѣмъ не менѣе, въ этомъ несмѣломъ тріо была гармонія удивительная.

«И тѣхъ, которыхъ нѣтъ съ нами, Ты также помилуй, и съ ними живи,—плѣла Жервеза послѣ первой молитвы.—Злыхъ и недобрыхъ прости, и всѣхъ научи насъ другъ друга любить, какъ правду любилъ Ты, за насъ на крестѣ умирая».

При концѣ этой молитвы двое старшихъ дѣтей начинали немного тревожиться. Они розняли свои ручонки, робко дотрогивались до бѣлыхъ рукавовъ Жервезы и заглядывали въ ея глаза. Видно было, что они ожидали чего-то, и знали чего ожидаютъ.

«А тѣхъ, которые любятъ другъ друга,—заплѣла молочная красавица голосомъ, въ которомъ съ перваго звука зазвенѣли слезы:—тѣхъ Ты соедини и не разлучай никогда въ жизни. Избави ихъ отъ несносной тоски другъ о другѣ; верни ихъ другъ къ другу все съ той же любовью. О, пошли имъ, пошли имъ любовь Ты до вѣка! О, сохрани ихъ отъ страстей и соблазновъ, и непусти одному сердцу разбить навѣки другое!»

Слезы, плывшія въ голосѣ Жервезы и затруднявшія ея плѣніе, разомъ хлынули цѣлымъ потокомъ, съ стонами и рыданіями тоски и боязни за свою любовь и счастье. И чего только, какихъ только словъ могучихъ, какихъ ду-

невныхъ движеній не было въ этихъ разрывающихъ грудь звукахъ!

— Молись, молись, Пьеро, за своего отца! Молись за мать твою! Молись за насъ, Алиночка!—говорила Жервеза, плача и прижимая къ себѣ обхватившихъ ее дѣтей.

Минуты три въ комнатѣ были слышны только вздохи и тихій, неровный шопотъ; даже бѣлый котенокъ пересталъ колыхать лапкой свое яблочко.

Долинскій оглянулся на Дашу: она стояла на колѣняхъ и смотрѣла въ окно на блѣдное лицо Мадонны; въ длинныхъ, темныхъ рѣсницахъ Доры дрожали слезы.

Долинскій снялъ шляпу и смотрѣлъ на золотую голову Доры.

— Полно намъ плакать,—произнесла въ это время, успокоиваясь, Жервеза:—будемъ молиться за бѣдныхъ дѣтей.

«Бѣднымъ дѣтямъ, — зашѣла она спокойнѣе: — дѣтямъ-сироткамъ будь Ты отцомъ и обрадуй ихъ лаской Твоею, и добрыхъ людей имъ пошли Ты навстрѣчу, и доброй рукою подай имъ и хлѣба, и платья, и дай имъ веселое дѣтство...»

Дѣти начали кланяться въ землю, и молитва, повидимому, приходила къ концу. Дорушка замѣтила это; она тихо встала съ колѣнъ, подняла съ травы лежавшій возлѣ нея бумажный мѣшокъ съ плодами, подошла къ окну, положила его на подоконникъ и, незамѣченная никѣмъ изъ семьи молочной красавицы, скоро пошла изъ сада.

— Что молится такъ, Долинскій? — спросила она, остановившись за угломъ, и прежде чѣмъ Долинскій успѣлъ ей что-нибудь отвѣтить, она сильно взяла его за руку и съ особымъ удареніемъ сказала: — такъ молится *любовь!* Любовь такъ молится, а не страсть и не привязанность.

— Да, это молилась любовь.

— Это сама любовь молилась, Несторъ Игнатьичъ, истинная любовь, простая, чистая любовь до слезъ и до молитвы къ Богу.

Дорушка тронудась впередъ по сѣрой, пыльной дорожкѣ.

— Что жъ, вы не зайдете, развѣ? — спросилъ ее Долинскій.

— Куда?

— Да къ нимъ?

— Къ нимъ?.. Знаете, Несторъ Игнатьичъ, чѣмъ пред-

ставляется мнѣ теперь этотъ домъ?—проговорила она, обращиваясь и протягивая въ воздухъ руку къ домику Жервезы.—Это горящая купина, къ которой не должны подходить наши хитрыя ноги.

— Стопы лукавыхъ.

— Да, стопы лукавыхъ. Сдѣлайте милость, не пробуйте опять нигилистничать: совсѣмъ вѣдь не къ лицу вамъ эти лица.

— Они только будутъ удивляться, откуда взялся мѣшокъ, который вы имъ положили.

— Не будутъ удивляться: это Богъ прислалъ дѣтямъ за ихъ хорошія молитвы.

— И прислалъ черезъ лучшаго изъ своихъ земныхъ ангеловъ.

— Вы такъ думаете?

— Удивительная вы дѣвушка, Дора! Кажется, нѣжнѣе и лучше васъ, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ женскаго существа на свѣтѣ.

— Тутъ одна, — сказала Дора, снова остановившись и указывая на исчезающій за холмомъ домикъ Жервезы: — а вонъ тамъ другая, — добавила она, бросивъ рукою по направлению на сѣверъ. — Вы, пожалуйста, никогда не называйте меня доброю. Это значитъ, что вы меня совсѣмъ не знаете. Какая у меня доброта?—ну, какая? Что меня любить, а я не кусаюсь, такъ въ этомъ доброты нѣтъ; послѣ этого вы, пожалуйста, и о себѣ способны возмечтать, что и вы даже добрый человѣкъ.

— А развѣ же я, Дарья Михайловна, въ самомъ дѣлѣ, по-вашему, злой человѣкъ?

— Эхъ, да что, Несторъ Игнатьичъ, въ такой нашей добротѣ проку-то! Вонъ Анина, или Жервезина доброта — такъ это доброта: всѣмъ около нихъ хорошо, а наша съ вами доброта, это... вотъ именно художественная-то доброта: впечатлительность, порывы. Вы вѣдь не знаете, какое у меня порочное сердце и до чего я бываю иногда зла въ душѣ. Вотъ не далѣе, какъ... когда это мы были первый разъ у Жервезы?... ухъ, какъ я тогда была зла на васъ! И что это, въ самомъ дѣлѣ, вамъ тогда пришло въ голову увѣрять меня, что это не любовь, а привязанность одна и какія-то тамъ глупыя страсти.

— Мнѣ такъ показалось.

— Врете! все врете, и опять начинаете сердить меня. Охъ, да какъ я васъ знаю, Несторъ Игнатьичъ! Если бы я замѣтила, что меня кто-нибудь такъ знаетъ и насквозь видитъ, какъ я васъ, я бы... просто ушла отъ такого человѣка на край свѣта. Вы мнѣ это тогда говорили вотъ почему: потому что безхарактерность у васъ, должно-быть, простирается иногда такъ далеко, что даже, будучи хорошимъ человѣкомъ, вы вдругъ надумаете: а ну-ка, я понигилистничаю! — можетъ-быть, это правильнѣй? И я только не хотѣла вамъ говорить этого, а ужасно вы мнѣ были противны въ тотъ вечеръ.

— Даже противенъ?

— Даже гадки, если хотите. Что это такое? первое дѣло—оскорбить ни за что, ни про что любовь женщины, а потомъ чѣмъ же вы сами-то были?—Шпандорчукъ какой-то, не то Вырвичъ—обезьянка петербургская.

— Вотъ то-то оно и есть, Дарья Михайловна, что судъ-то людской—не Божій: всегда въ немъ много ошибокъ, — отвѣчалъ спокойно Долинскій. — Совсѣмъ я не обезьянка петербургская, а худъ ли, хорошъ ли, да ужъ такой, какимъ меня Богъ зародилъ. Вамъ угодно, чтобы я оправдывался—извольте! Знаете ли вы, Дарья Михайловна, все, о чемъ я думаю?

— Конечно, не знаю.

— Совершенная правда, и потому, стало-быть, не знаете, до чего и какъ я иногда додумываюсь. Я не нигилистничалъ, Дарья Михайловна, когда выразилъ ошибочное мнѣніе о любви Жервезы, а вотъ какъ это было: очень давно мнѣ начинаетъ казаться, что все, что я считалъ когда-нибудь любовью, есть совсѣмъ не любовь; что любовь... это совсѣмъ не то будетъ, и я на этомъ пунктѣ, если вамъ угодно, сбился съ толку. Я все припоминаю, какъ это случилось, хотъ и со мною даже... идетъ, идетъ будто вотъ совсѣмъ и любовь, а потомъ вдругъ — кракъ, смотришь — все какое-то такое вилое, сухое, и чувствуешь, что нѣтъ, что это совсѣмъ не любовь, и я думаю, что нѣтъ, ну, вотъ нѣтъ любви. Тутъ совсѣмъ не за что на меня сердиться. Развѣ въ томъ только моя вина, что не отучусь именно изъ себя-то сто разъ все мотать, да перематывать, а ужъ въ обезьянничествѣ я не виноватъ. Помилуйте, мнѣ вотъ очень даже часто приходитъ въ голову, какъ люди уми-

рають? Какъ это послѣдняя минута?.. вотъ вдругъ есть, и нѣту... Бываютъ минуты, когда я никакъ этого вообразить себѣ не могу, и отчего, откуда приходятъ эти страшныя минуты? — этого никакъ не подстережешь. Вы помните, какъ я одинъ разъ въ Петербургѣ уронилъ стѣнные часы въ мастерской и поймалъ ихъ за два какихъ-нибудь вершка отъ полу?

Дорушка кивнула утвердительно головою.

— Ловокъ!—подумалъ я себѣ тогда, а вотъ какъ-то ты увернешься отъ смерти? пошло ходить у меня въ головѣ; вотъ-вотъ-вотъ схватиться бы за что-нибудь, и не схватиться. И что жъ вы скажете? — я до такой степени все это выматывалъ, что серьезно, ясно и сознательно сталъ ощущать, что я ужъ когда-то что-то такое ловилъ и не поймалъ, и умеръ, и опять живу. Умереть кто-нибудь—мнѣ сейчасъ опять какой-то этакій блѣдный шаръ представляется; ловишь его, и вдругъ—бацъ! не поймалъ, умеръ и сейчасъ что-то мнѣ въ этомъ знакомое есть, что я ужъ это пережилъ... Я *успренъ* въ этомъ, наконецъ, бываю! Такъ не осуждайте же меня, пожалуйста, за Жервезу; я, право, больной человѣкъ; мнѣ въ тотъ день такъ казалось, что нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ никакой любви, а, право, это не обезьянничество.

— Ну, хорошо, ну, пусть вамъ эта вина прощается за ваши недуги; но нынче-съ!.. позвольте васъ искренно, по душѣ, по совѣсти просить отвѣтить: чего вы стояли этакимъ рыцаремъ и таращили на меня глаза, когда мнѣ захотѣлось помолиться съ Жервезой?

— Я таращился! — нисколько. Я просто смотрѣлъ на васъ, потому что мнѣ пріятно было смотрѣть на васъ, потому что вы необыкновенно какъ хороши были у этого куста на кольяхъ.

— Пожалуйста, пожалуйста, Несторъ Игнатьичъ! Знаю я васъ. Я знаю, что я хороша, и вы мнѣ этимъ не польстите. И вы тоже вѣдь очень... этакій интересный Наль, тоскующій о Дамаянти, а, однако, я чувствовала, что тамъ было нужно молиться, и я молилась, а вы... Снялъ шляпу и сейчасъ же сконфузился и сталъ соглядатаемъ, ммм! ненавистный, нерѣшительный человѣкъ! Отчего вы не молились?

— Ахъ, Дарья Михайловна, какой вы ребенокъ! Ну,

развѣ можно задавать такіе вопросы? Вѣдь на это вамъ только Шпандорчукъ съ Вырвичемъ и отвѣтили бы, потому что у тѣхъ ужъ все это впередъ рѣшено.

— А у васъ, мой милый, ничего не рѣшено?

— По крайней мѣрѣ, очень многое.— Да вы, пожалуйста, не думайте, что рѣшимость это ужъ такая высокая добродѣтель, что все остальное передъ нею прахъ и суета. Рѣшимостью самую твердою часто обладаютъ и злодѣи, и глупцы, и всякіе, весьма непостоянные, люди.

— И герои.

— Да, и герои, но героевъ вѣдь немного на свѣтѣ, а одностороннихъ людей, способныхъ рѣшать себѣ все наоболманъ, гораздо больше. Вы вотъ теперь дайте мнѣ вопросъ, касающійся такого предмета, котораго обнять-то, уразумѣть-то нѣтъ силы, и хотите, чтобы я такъ вотъ все и рѣшилъ въ немъ. Вы знаете моего дядю? Его не одна Москва, а вся Русь знаетъ. Это не былъ профессоръ-хлыщъ, профессоръ-чиновникъ, или профессоръ-фанфаронъ, а это былъ настоящій, комплектный ученый и человѣкъ, а я вамъ о немъ расскажу вотъ какой анекдотъ: былъ у него въ Москвѣ при домѣ садъ — старый, густой, прекрасный садъ. Дядя работалъ тамъ лѣтомъ почти по цѣлымъ днямъ: подсаживалъ тамъ деревца, колеровалъ, и разныя, знаете, такія штуки дѣлалъ. Я спалъ въ этомъ саду въ бесѣдкѣ. Только одинъ разъ какъ-то очень рано я проснулся. Дѣло было передъ послѣднимъ моимъ экзаменомъ. Я сѣлъ на порожекъ и читаю; вдругъ, вижу я, за куртиной, дядя стоитъ въ своемъ бѣломъ парусничномъ халатѣ на колѣняхъ и жарко молится: подниметъ къ небу руки, плачетъ, упадетъ въ траву лицомъ, и опять молится, молится безъ конца. Я очень любилъ дядю и очень ему вѣрилъ и вѣрю. Когда онъ пересталъ молиться и началъ что-то вертѣть около какого-то прививка, я всталъ съ порожка и подошелъ къ нему. На дворѣ было самое раннее утро и, кромѣ насъ да птицъ, въ саду никого не было. Не помню, какъ мы тамъ съ нимъ о чемъ начали разговаривать, только знаю, что я тогда и спросилъ его, что какъ онъ, занимаясь до старости науками историческими, естественными и богословскими, до чего дошелъ, до какой степени уяснилъ себѣ изъ этихъ наукъ вопросъ о божествѣ, о душѣ, о твореніи? Напоминаю вамъ, что утро было самое раннее, изъ-за

каменныхъ стѣнъ въ большомъ саду насъ никто не могъ ни видѣть, ни слышать, развѣ кромѣ птичекъ, которыя порхали по деревьямъ. Такъ старикъ-то мой-съ нѣсколько разъ оглинулся во всѣ стороны, сложилъ вотъ такъ трубочкою свои руки, да вотъ такъ поднесъ ихъ къ моему уху и чуть слышно шепнулъ мнѣ:

«— Ни до чего не дошелъ.

Говорю ему:

«— А какъ же вы относитесь... называю, знаете, ему двѣ крайнія-то партіи.

«— Какъ отношусь?—говорить.

И опять нагнулся къ моему уху и шепнулъ:

«— Не вѣрю ни тѣмъ, ни другимъ.

— Такъ вотъ вамъ, Дарья Михайловна, какъ высокія и честныя-то души относятся къ подобнымъ вопросамъ: бояться, чтобы птицу небесную не ввести въ напрасное сомнѣніе, а вы меня спрашиваете о такихъ вещахъ, да еще самаго рѣшительнаго отвѣта у меня о нихъ требуете. Можно сомнѣваться, можно надѣяться, но *утверждать*... О, Боже мой, сколько у людей бываетъ странной смѣлости! Я, дѣйствительно, человѣкъ очень рѣшительный, но не думайте, что это у меня отъ трусости. Чего же мнѣ бояться? У меня только всегда какъ-то вдругъ всѣ стороны вопроса становятся передъ глазами, и я въ нихъ путаюсь, сбиваюсь и дѣлаю Богъ знаетъ что, Богъ-знаетъ что! Ахъ, это самое худшее состояніе, которое я знаю; это хуже дня передъ казнью, потому что все *дни передъ казнью*. Перестанемте объ этомъ говорить, Дарья Михайловна, а то вонъ опять насъ птица слушаетъ.

Долинскій сдѣлалъ шагъ впередъ и поднялъ съ пыльной дороги небольшую сѣрую птичку, за ножку которой волокся пучокъ завялой полевой травы и не давалъ ей ни хода, ни полета. Дорушка взяла изъ рукъ Долинскаго птичку, съѣла на дернистый край дорожки и стала распутывать сбившуюся траву. Птичка съ сомлѣвшей ножкой тихо лежала на бѣлой рукѣ Доры и смотрѣла на нее своими круглыми, черными глазами.

— Какъ бьется ея бѣдное сердечко!—проговорила Дора, шевеля мелкія перышки пташки и глядя въ розовый пучокъ подъ ея крылышками.

— Милая!—сказала она, поцѣловавъ птичку въ головку,

приложила ее къ своей шейкѣ и пошла къ городу. Минуть десять они шли въ совершенномъ молчаніи; на дворѣ совсѣмъ сырѣло; Доружка принималась нѣсколько разъ все страстиѣ и страстиѣ цѣловать свою птичку. Дойдя до стараго, большого кантана, она поцѣловала ее еще разъ, бережно посадила на вѣтку и подала руку Долинскому.

— Несторъ Игнатьичъ,—сказала она ему, идучи по пустой улицѣ: — знаете, чтобъ вамъ разстаться съ вашими днями *передъ казною*, вамъ остается одно—найти себѣ *любовь до слезъ*.

— Полноте шутить, Дарья Михайловна, я ничего не желаю находить и не умѣю находить.

— А вотъ птицъ же на дорогахъ находите. Это тоже вѣдь не всякому случается.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Повтореніе задовъ.

У Жервезы Дора и Долинскій болѣе не были, прогулки ихъ снова ограничивались холмомъ надъ заливомъ.

Всякій вечеръ они сидѣли на этомъ холмикѣ и всякій вечеръ имъ было такъ хорошо и пріятно.

Какъ ни коротки были между собой Дора и Долинскій, но эти вызываемые Дорою рассказы о прошломъ, раскрывая передъ нею еще подробнѣе внутренній міръ рассказчика, давали ей отношеніямъ къ нему новый, нѣсколько еще болѣе интимный характеръ.

— Послушайте, Несторъ Игнатьичъ!—сказала разъ Даша, положивъ ему на плечо свою руку:—расскажите мнѣ, мой милый, какъ вы любили и какъ васъ любили?

— Богъ знаетъ что это вы выдумываете, Дора?

— Такъ расскажите. Мнѣ очень хочется найти ключъ вашей душевной болѣзни.

— Забылъ ужъ я, какъ я любилъ.

— Э! врете!

— Право, забылъ.

— Забвенья нѣтъ.

— Кто-жъ это вамъ сказалъ, что забвенья нѣтъ?

— Я вамъ это говорю.

Несторъ Игнатьичъ молчалъ и Даша молчала, и дулась.

— Ну, перестаньте дуть свои губки, Дора! Что вамъ рассказать?

— Какъ вы любили первый разъ въ жизни.

Долинскій разсказалъ свою почти дѣтскую любовь къ какой-то кievской кузинѣ. Дора слушала его, не сводя глазъ, и когда онъ окончилъ, вздохнула и спросила:

— Ну, а какъ вы любили на законномъ основаніи?

Долинскій разсказалъ ей въ главныххъ чертахъ и всю свою женатую жизнь.

— Какая гадость!—прошептала Даша и, вздохнувъ еще разъ, спросила:

— Ну, а дальше чтò было?

— А дальше вы все знаете.

— Вы грустили?

— Да.

— Встрѣтились съ нами?

— Да.

— И счастливы?

— И счастливъ.

Даша задумчиво покачала головкой.

— Чтò?—спросилъ ее Долинскій.

— Такъ, ключъ найденъ!—чуть слышно уронила Дора.— А какъ вы думаете,—начала она, помолчавши съ минуту:— вѣрно это такъ вообще, что хорошаго нельзя не полюбить?

— Чтò хорошее? Есть польская пословица, что не то хорошо, чтò—хорошо, а то хорошо, чтò кому нравится.

— Я вамъ говорю, что *хорошаго* нельзя не любить; ну, пожалуй, того, чтò нравится.

— Къ чему же вы это говорите?

— Ни къ чему! къ тому, что если встрѣчается что-нибудь очень хорошее, такъ его возьмишь да и полюбишь, ну, понимаете, что ли?

— Да...

— Да, я думаю, что *да*.

Произошла пауза, въ теченіе которой Даша все думала, глядя въ небо, и потомъ сказала:

— Знаете что, Несторъ Игнатьичъ? Мнѣ кажется, что наши сравненія сердца съ монетой—никуда не годятся.

— Я это ужъ вамъ говорилъ.

— Съ чѣмъ же его сравнить?

— Много есть этихъ сравненій, и всѣ они никуда не годятся.

— Ну, а напримѣръ, съ чѣмъ можно еще сравнить сердце?

— Съ постояннымъ дворомъ,— смѣясь, отвѣчалъ Долинскій
— Гадко, а похоже, пожалуй.
— А, пожалуй, и непохоже,— отвѣчалъ Долинскій.
— Одинъ постоялецъ выѣдетъ, другому есть мѣсто.
— А другой разъ и пустой дворъ простоятъ.
— Нѣтъ, и это не годится. Не вѣрю я, не вѣрю, чтобы
можно было жить безъ привязанности.

— Бываетъ, однако.

— Вы помните эти нѣмецкіе, кажется, стихи...

— Какіе?

— Ну, знаете, какъ это тамъ: Юпитеръ посылалъ Мер-
курія отыскать никогда не любившихъ женщинъ?

— Я даже этого никогда не читалъ.

— Что-жъ, Меркурій отыскалъ?

— То-то вотъ и есть; а я это читала.

— *Трехъ!*

— Только-то?

— Да-съ, и эти три, знаете, кто были? *Три furii!*—
протяжно произнесла Даша, поднявъ вверхъ пальчикъ.

— Вѣдь это только написано.

— Да, но я этому вѣрю, и очень боюсь такого фуріоз-
наго сообщества.

— Вы съ какой же это стати?

— А если Юпитеру послѣ моей смерти вздумается еще
разъ послать Меркурія и онъ найдетъ ужъ четырехъ.

— Еще полюбите и какъ полюбите.

— Нѣтъ ужъ, кажется, поздно.

— Любить никогда не поздно.

— Вотъ за это вы умники! Люди жадны ужъ очень.
Счастье не во времени. Можно быть немножко счастливымъ,
и на всю жизнь довольно. Правда моя?

— Конечно, правда.

— Какое у насъ образцовое согласіе!

— Не о чемъ спорить, когда говорятъ правду.

— А вѣдь я бы могла очень сильно любить.

— Кто-жъ вамъ мѣшаетъ? Разборчивы очень.

— Нѣтъ, совсѣмъ не то. По-моему, любить, значить...
любить, однимъ словомъ. Не героя, не рыцаря, а просто
любить, кто по душѣ, кто по сердцу — кто не по хорошу
милъ, а по милу хорошъ.

— Ну-съ, я опять спрошу: за чѣмъ же дѣло стало?

— А если «законы осуждаютъ предметъ моей любви»?— улыбаясь, продекламировала Даша.

— Но, кто—о, сердце! можетъ противиться тебѣ?—отвѣчалъ Несторъ Игнатьичъ, продолжая речитативомъ начатую Дашею пѣсню.

— Помните, какъ это сказано у Лермонтова:

Но сердцу какъ ума не соблазнить?
И какъ любви стыда не побѣдить?
Любовь, для неба и земли—святыня,
И только для людей порокъ она!

То скотство, то трусость... бѣдное ты человѣчество! Бѣдный ты царь земли въ своихъ вѣчныхъ оковахъ!

— Вы сегодня, Дорушка, все возвышаетесь до паюса, до поэзии.

— Несторъ Игнатьичъ! прошу не забываться! Я никогда не унижалась до прозы

— Виновать.

— То-то.

Даша замолчала и, немного подождавши, сказала:

— Ну, смотрите, какія штучки наплетены на бѣломъ свѣтѣ! Вотъ я сейчасъ бранила людей за трусость, которая имъ мѣшаетъ взять свою, такъ сказать, долю радостей и счастья, а теперь сама вижу, что и я совсѣмъ не права. Есть вѣдь такія положенія, Несторъ Игнатьичъ, передъ которыми и храбрецъ струсить.

— Напримѣръ, что-жъ это такое?

— А вотъ, напримѣръ, состраданіе, укоръ совѣсти за чужое несчастье, за чужія слезы.

— Скажите-ка немножко пояснѣе.

— Да что-жъ тутъ яснѣе? Мало ли что случается! Ну, вдругъ, положимъ, полюбилъ человѣка, котораго любитъ другая женщина, для которой потерять этого человѣка будетъ смерть... да что смерти! Не смерть, а мѣла, понимаете—мѣла съ платкомъ во рту. Что тогда дѣлать?

— На это мудрено отвѣчать.

— Я думаю, одинъ отвѣтъ: страдать.

— Да, если тотъ, кого вы полюбите, въ свою очередь, не любитъ васъ больше той женщины, которую онъ любилъ прежде.

— А если онъ меня любить больше?

— Такъ тогда какой же резонъ дѣлать общее несчастье!

Вѣдь если, положимъ, вы любите какое-нибудь А и это А взаимно любить васъ, хотя оно тамъ прежде любило какое-то Б. Ну-съ, теперь, если вы знаете, что это А своего Б больше не любить, то зачѣмъ же вамъ отказываться отъ его любви и не любить его самой. Ужъ вѣдь все равно, не отошлете его обратно, куда его не тянетъ. Простой расчетъ: пусть лучше двое любятъ другъ друга, чѣмъ трое разойдутся.

Даша долго думала.

— Въ самомъ дѣлѣ, — отвѣчала она:—въ самомъ дѣлѣ, это такъ. Какъ это странно! Люди называютъ безумствомъ то, что даже можно по пальцамъ высчитать и доказать, что это разумно.

— Люди умныхъ людей въ сумасшедшіе дома сажали и на кострахъ жгли, а послѣ черезъ сто лѣтъ памятники имъ ставили. У людей, что сегодня ложь, то завтра можетъ быть истиной.

— Какой вы у меня бываете умникъ, Несторъ Игнатьичъ! Какъ я люблю вашу способность просто разъяснять вещи! Если бъ вы давно были со мной, какъ бы много я знала!

— Я, Дарья Михайловна, не принимаю это на свой счетъ. Я знаю одно то, что я ничего не знаю, а суда людского такъ просто-таки терпѣть не могу. Не вѣрю ему.

— Да, говорите-ка: не знаете! Нѣтъ, большое спасибо вамъ, что вы со мной поѣхали. Здѣсь васъ у меня никто не отнимаетъ: ни Анна, ни газета, ни Илья Макарычъ. Тутъ вы мой крѣпостной. Правда?

— Да, ужъ если вы сказали такъ, то, разумѣется— правда. Иначе жъ вѣдь быть не можетъ!—отвѣчалъ, шути, Долинскій.

— Ну, да, еще бы! Конечно, такъ, — отвѣчала живо и торопясь Дора и сейчасъ же добавила:—а вотъ, хотите, я вамъ задамъ одинъ такой вопросъ, на который вы мнѣ, пожалуй, и не отвѣтите?

— Это еще, Дарья Михайловна, будетъ видно.

— Только смотрите мнѣ прямо въ глаза. Я хочу видѣть, что вы подумаете, прежде чѣмъ скажете.

— Извольте.

— А что...

— Что?

— Охъ, нетерпѣніе! Ну, отгадывайте, что?

— Не магъ и не волшебникъ.

— Что, если бъ я сказала вамъ вдругъ самую ужасную вещь?

— Не удивился бы ни крошки.

Даша серьезно сдвинула брови и тихо проговорила:

— Нѣтъ, я прошу васъ не шутить, а говорить со мною серьезно. Смотрите на меня прямо!

Она пронзительно уставила свои глаза въ глаза Долинскаго и медленно съ разстановками произнесла:

— Ч-т-о, е-с-л-и б-ы я в-а-с-ъ п-о-л-ю-б-и-л-а?

Долинскій вздрогнулъ и, быстро выпустивъ изъ своей руки ручку Дашы, отвѣтилъ смущеннымъ голосомъ:

— Виновать, проспорилъ. Можно, дѣйствительно, поручиться, что такого вздора ни за что не выдумаешь, какой вы иногда скажете.

Даша тоже смутилась. Она просто испугалась движенія, сдѣланнаго Долинскимъ, и, принявъ свою руку, сказала:

— Чего вы! Я вѣдь такъ говорю, что вздумается.

Она была очень встревожена и проговорила эти слова, какъ обыкновенно говорятъ люди, вдругъ спохватясь, что они сдѣлали самый опрометчивый вопросъ.

— Пойдемте домой. Мы сегодня засидѣлись; сыро теперь, — сказалъ нѣсколько сухимъ, гувернерскимъ тономъ, вмѣсто отвѣта, Долинскій.

Даша встала и пошла молча. Дорогою они не сказали другъ другу ни слова.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Съ другой стороны.

— Покажите мнѣ ваши башмаки, — началъ Несторъ Игнатьичъ, когда, возвратясь, они присѣли на минутку въ своемъ зальцѣ.

— Это зачѣмъ? — спросила серьезно Даша.

— Покажите.

Даша нетерпѣливо сняла ногою башмакъ съ другой ноги и, не сказавъ ни слова, выбросила его изъ-подъ платья. Тонкій лѣтній башмакъ былъ сырехонекъ. Долинскій взглянулъ на подошву, взялъ шляпу и вышелъ прежде, чѣмъ Дора успѣла его о чемъ-нибудь спросить.

Съ выходомъ Долинскаго она не перемѣнила ни мѣста,

ни положенія и, опутивъ глаза, тихо посмотрѣла на свои покоившіяся на колѣняхъ ручки.

Прошло около четверти часа, прежде чѣмъ Долинскій вернулся съ склянкой спирта и ласково сказалъ:

— Ложитесь спать, Даша.

— Что это вы принесли?

— Спиртъ. Я его сейчасъ согрѣю, а вы имъ вытрите себѣ ноги.

— Для чего это?

— Такъ. Потому вытрите, что это такъ нужно.

— Да чего вы боитесь?

— Самой простой штуки, вашего милаго здоровья.

— Господи! Въ какомъ все строгомъ чинѣ! — сказала, презрительно подернувъ плечами, Дора, слегка вспыхнула и, сдѣлавъ недовольную гримаску, пошла въ свою комнату.

Долинскій присѣлъ къ столику съ какимъ-то особеннымъ тщаніемъ и серьезностью, согрѣлъ на кофейной конфоркѣ спиртъ, смѣшалъ его съ уксусомъ, попробовалъ эту смѣсь на языкъ и постучался въ Дашины двери. Отвѣта не было. Онъ постучался въ другой разъ—отвѣта тоже нѣтъ.

— Даша?—кликнулъ онъ:—Дора! Дорушка!

За дверями послышался звонкій хохотъ. Долинскій подумалъ, что съ Дашей истерика, и отворилъ ея двери. Дорушка была въ постели. Укутавшись по самую шею одеяломъ, она весело смѣялась надъ тревогою Долинскаго.

Долинскій надулся.

— Разотрите себѣ ноги,—сказалъ онъ, подавая ей согрѣтый имъ спиртъ.

— Не стану.

— Дорушка!

— Не стану, не стану и не стану! Не хочу! ну, вотъ не хочу!

И она опять разсмѣялась.

Долинскій поставилъ чашку со спиртомъ на столикъ у кровати и пошелъ къ двери; но тотчасъ же вернулся снова.

— Дорушка! ну, прошу васъ ради-Бога, ради вашей сестры, не дурачьтесь!

— А вы не смѣйте дуться.

— Да я вовсе не дулся.

— Дулись.

— Ну, простите, Дора, только растирайте скорѣе свои ноги—не остылъ бы спиртъ.

— Попросите хорошенько.

— Я васъ прошу.

— На колѣни станьте.

— Доружка, не мучьте меня.

— А-га! «не мучьте меня», — произнесла Даша, передразнивая Нестора Игнатьича, и протянула къ нему сложенную горстью руку.

Долинскій наливалъ Дашѣ на руку спиртъ, а она растирала себѣ подъ одѣяломъ ноги и морщилась, говоря:

— Какую вы это скверность купили.

— Гдѣ у васъ шерстяные чулки? — спросилъ Долинскій.

— Нѣтъ у меня шерстяныхъ чулокъ.

— Господи! да что вы, въ самомъ дѣлѣ, дитя пятилѣтнее, что ли? — воскликнулъ съ досадою Долинскій.

— Въ комодѣ вонъ тамъ, — сухо отвѣчала на прежній вопросъ Дора.

Долинскій взялъ ключи и рылся, отыскивая чулки.

— Точно нянька! и то самая гадкая, надоѣдливая, — говорила, смѣясь и глядя на него, Даша.

Долинскій досталъ также изъ комода пушистый пледъ и одѣлъ имъ ноги Доры.

— Еще чего не найдете ли! — спросила она, продолжая надъ нимъ подтрунивать.

— Вы не храбритесь, — отвѣчалъ Долинскій: — а лучше спите хорошенько, — и пошелъ къ двери.

— Несторъ Игнатьичъ! — крикнула Даша.

— Чтò вамъ угодно?

— Чтò жь это за невѣжество?

— Чтò такое?

— Ужъ вы нынче не прощаетесь со мной?

— Виноватъ. Вы, право, такъ безпопачно тревожите меня вашими сумасбродствами, Дора.

— А вы все это ото всѣхъ пощады вымаливаете?

— Ну, пожалуйста же вашу ручку.

— Не надо, — отвѣчала Даша и обернулась къ стѣнѣ.

— И тутъ капризь.

— Вездѣ, да, вездѣ капризь! на каждомъ шагу будетъ капризь — потому, что вы мнѣ совсѣмъ надоѣли съ своимъ гувернерствомъ.

Ночь Даша провела очень спокойно, сны только ей странные все спились; а Долинскій не ложился вовсе. Онъ нѣсколько разъ подходилъ ночью къ Дашиной комнатѣ и все слушалъ, какъ она дышитъ. Утромъ Даша чувствовала себя хорошо; написала сестрѣ письмо, въ которомъ подтрунивала она надъ безпокойствомъ Долинскаго, и нарисовала съ краю письма карикатурку, изображающую его въ повязкѣ, какія носятъ русскія няньки. Но къ вечеру она почувствовала необыкновенную усталость и легла въ постель ранѣе обыкновеннаго. Ночью спала не спокойно, а къ утру начала покашливать. Долинскій страшно перепугался этого кашля и побѣжалъ за докторомъ. Докторъ нашелъ вообще, что у Даши очень незначительная простуда, но что кашель—очень неблагоприятная вещь при ея здоровьѣ; прописать ей лѣкарство и уѣхать. Днемъ Даша была покойна, но все сучилась и упорно молчала, а къ вечеру у нея появился жаръ. Даша сдѣлалась говорлива и тревожна. То она, какъ любознательный ребенокъ, приставала къ Долинскому съ самыми обыкновенными и незначащими вопросами; требовала у него разъясненія самыхъ простыхъ, конечно, ей самой хорошо извѣстныхъ вещей; то вдругъ рѣзко перемѣняла тонъ и начинала придирается и говорить съ нимъ свысока.

— Вы на меня не сердитесь, голубчикъ, Несторъ Игнатьичъ, что я капризничаю? — спрашивала она Долинскаго.

— Нисколько.

— Отчего жъ вы нисколько на меня не сердитесь?

— Да такъ, не сержусь.

— Да вѣдь я несносно, должно-быть, капризничаю?

— Ну, что жъ дѣлать?

— Я бы не вытерпѣла, если бы кто такъ со мною капризничалъ.

— На то вы женщина.

Дорушка помолчала съ минуту и, кусая губки, проговорила глухимъ голосомъ:

— Очень вы всѣ много знаете о женщинахъ!

— Нѣкоторые знаютъ довольно.

— Никто ничего не знаетъ,—отвѣчала Дора, рѣзко и съ сердцемъ.

— Ну, прекрасно, ну, никто ничего не знаетъ, только не сердитесь, пожалуйста.

— Вотъ! Стану я еще сердиться! — продолжала вспылчиво Дора. — Мнѣ нечего сердиться. Я знаю, что всё врутъ, и только. Тотъ такъ, тотъ этакъ, а умнаго слова ни одинъ не скажетъ.

— Это правда, — отвѣчалъ примирительно Долинскій.

— Правда! А если я скажу, что я сестра луны и дочь солнца. Это тоже будетъ правда?

Даша повернулась къ стѣнѣ и замолчала.

Долинскій пригласилъ-было ночевать къ ней m-me Бюжаръ, но Даша въ десять часовъ отпустила старуху, сказавъ, что ей надоѣла французская пустая болтовня. Долинскій не противорѣчилъ. Онъ сѣлъ въ кресло у двери Дашинной комнаты и читалъ, безпрестанно поднимая голову отъ книги и прислушиваясь къ каждому движенію больной.

— Несторъ Игнатьичъ! — тихо поклонялась его Даша, часу во второмъ ночи.

Онъ всталъ и подошелъ къ ней.

— Вы еще не спали? — спросила она.

— Нѣтъ, я еще читалъ.

— Какой часть?

— Около двухъ часовъ, кажется.

Даша покачала головой и съ ласковымъ упрекомъ сказала:

— Зачѣмъ вы себя попусту морите?

— Я зачитался немножко.

— Что же вы читали?

— Такъ, пустяки.

— Охота-жъ читать пустяки! Садитесь лучше здѣсь на кресло возлѣ меня; по крайней мѣрѣ будемъ скучать вмѣстѣ.

Долинскій молча сѣлъ на кресло.

— Я все сны какіе-то видѣла, — начала, зѣвнувъ, Даша. — Петербургъ, Анну, васъ, и вдругъ скучно что-то сдѣлалось.

— Скоро вернемся, Дорушка; не скучайте.

Даша промолчала.

— Дайте мнѣ вашу руку, — сказала она, когда Долинскій сѣлъ на кресло у ея изголовья. — Вотъ такъ веселѣе все-таки; а то страшно какъ-то, какъ будто въ могилѣ я, никого близкаго нѣтъ со мной.

— Вы хандрите, Дорушка.

— А хандра развѣ не страданье?

— Ну, разумѣется, страданье.

— То-то. Это вѣдь люди все новыдумывали: вымышлен-

ное горе, ложный страх, ложный стыд; а кому горько, или кому стыдно, такъ все равно, что отъ ложнаго, что отъ настоящаго горя—все равно. Кто знаетъ, что у кого ложное?—философствовала Даша и уснула, держа Долинскаго за руку. Такъ она проспала до утра, а онъ не спалъ опять и много передумалъ. Передъ нимъ прошла снова вся его разбитая жизнь, предъ нимъ стояла тихая, кроткая Анна, передъ которою онъ благоговѣлъ, возлѣ которой онъ успокоился, ожилъ, какъ бы вновь на свѣтъ родился. А теперь Даша. Ея странные намеки, ея порывы, которыхъ она не можетъ сдержать, или... не хочетъ даже сдерживать! Потомъ ему казалось, что Даша всегда была такая, что она просто, по обыкновенію своему, шалить, играетъ своими странными вопросами, и ничего болѣе. Думалъ онъ уѣхать и нашелъ, что это было бы очень странно и даже просто невозможно, пока Даша еще не совсѣмъ укрѣпилась.

Утромъ у Дашы былъ легонькій кашель. День цѣлый она провела прекрасно и докторъ нашелъ, что здоровье ея пришло опять въ состояніе самое удовлетворительное. Съ вечера ей не спалось.

— Бессонница меня мучаетъ,—говорила она, метаясь по подушкѣ.

— Какая бессонница! Вы просто выспались днемъ,—отвѣчалъ Долинскій.—Хотите, я вамъ почитаю такую книгу, что сейчасъ уснете?

— Хочу,—отвѣчала Даша.

Долинскій принесъ утомительно скучный французскій формулярный списокъ Жюль Жерара.

— Покажите,—сказала Даша. Она взглянула на заглавіе и, улынувшись, проговорила:— львы—хорошія животныя—читайте.

Книга сдѣлала свое дѣло. Даша заснула. Долинскій положилъ книгу. Свѣча горѣла подъ зеленымъ абажуромъ и слабо освѣщала оригинальную головку Доры... «Боже! какъ она хороша»,—подумалъ Долинскій, а что-то подсказывало ему: «а какъ умна, какъ добра! Какъ честна и тебя любить!»

Сонъ одолевалъ Нестора Игнатьича. Три ночи, проведенныя имъ въ тревогѣ, утомили его. Долинскій не пошелъ въ свою комнату, боясь, что Дашѣ что-нибудь понадобится и она его не докличется. Онъ сѣлъ на коврикъ въ ногахъ

ея кровати и, прислонясь головою къ матрацу, заснул въ такомъ положеніи какъ убитый.

Къ утру Долинскаго начали тревожить странныя сновидѣнія: степь Сахара жгучая, верблюды съ своими овечьими мордочками на журавлиныхъ шеяхъ, звѣриное рычаніе и щупленькій Жюль Жераръ съ сержантдевильской бородкой. Все это какъ-то такъ переставлялось, перетасовывалось, что ничего не выходитъ яснаго и опредѣленнаго. Вдругъ рѣка бѣжитъ, широкая, сердитая, на ея берегахъ лежатъ огромныя крокодилы: «это, должно-быть, Ниль», — думаетъ Долинскій. Издали показалась крошечная лодочка и кто-то поетъ:

Охъ, ты Днѣпръ ли мой широкій!
Ты кормилецъ нашъ родной!

На лодочкѣ двѣ человѣческія фигуры, покрытыя длинными бѣлыми вуалями.

— Плыветъ лодка, а въ ней два пассажира: котораго спасти, котораго утопить?—спрашиваетъ Долинскаго самый большой крокодилъ.

— Какая чепуха!—думаетъ Долинскій.

— Нѣтъ, любезный, это не чепуха, — говоритъ крокодилъ: — а ты выбирай, потому что мы съ тобой въ фанты играемъ.

— Ну, смотри же,—продолжаетъ крокодилъ:—разъ, два!

Онъ взмахнулъ хвостомъ, лодочка исчезла въ бѣлыхъ брызгахъ и на волнахъ показалась тонущая Анна Михайловна.

— Это мой фантъ, твой въ лодкѣ,—говоритъ чудовище.

Разсѣялись брызги, лодочка снова чуть качается на одномъ мѣстѣ и въ ней сидитъ Дора. Покрывало спало съ ея золотистой головки, лицо ея блѣдно, очи замкнуты: она мертвая.

— Это твой фантъ, — внятно говоритъ изъ берегового тростника крокодилъ, и всѣ крокодилы стонуть, такъ жалобно стонуть.

Долинскій проснулся. Было уже восемь часовъ. Прежде чѣмъ успѣлъ онъ поднять голову, онъ увидѣлъ предъ своимъ лицомъ лежавшую ручку Дани. «Непріятный сонъ», — подумалъ Долинскій, и съ особымъ удовольствіемъ посмотрѣлъ на ручку Доры, облитую слабымъ свѣтомъ, проходив-

шимъ сквозь шелковую зеленую занавѣску окна. Привставъ, онъ тихонько наклонился и поцѣловалъ эту руку, какъ цѣловалъ ее часто по праву дружбы, и вдругъ ему показалось, что этотъ поцѣлуй былъ чѣмъ-то совсѣмъ инымъ. Нестору Игнатьевичу почудилось, что Дашина рука, привыкшая къ его поцѣлуямъ, на этотъ разъ какъ будто вздрогнула и отдернулась отъ его устъ. Онъ посмотрѣлъ на Дашу; она лежала съ закрытыми глазами, и роскошные волосы, выбившіеся изъ-подъ упавшаго на подушку чепца, красною сѣтью раскинулись по бѣлой наволочкѣ. Долинскій тихонько приложилъ руку ко лбу Доры. Въ головѣ не было жара. Потомъ онъ хотѣлъ послушать, какъ она дышитъ, нагнулся къ ея лицу и почувствовалъ, что у него кружится голова и уста предательски клонятся къ устамъ.

Долинскій быстро отбросилъ свою голову отъ изголовья Доры и поспѣшно вышелъ за двери.

Если бѣ оконная занавѣска не была опущена, то Долинскому не трудно было бы замѣтить, что Даша покраснѣла до ушей и на лицѣ ея мелькнула счастливая улыбка. Чуть только онъ вышелъ за двери, Дора быстро поднялась съ изголовья, взглянула на дверь и, еще разъ улынувшись, опять положила голову на подушку... Вмѣсто выступившаго на минуту по всему ея лицу яркаго румянца, оно вдругъ покрылось мертвою блѣдностью.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Умъ свое, а чортъ свое.

Даша къ обѣду встала. Она была смущена и избѣгала взглядовъ Долинскаго; онъ тоже мало глядѣлъ на нее и говорилъ немного.

— Мнѣ теперь совсѣмъ хорошо. Не ѣхать ли намъ въ Россію?—сказала она послѣ обѣда.

— Какъ хотите. Спросимте доктора.

Даша рѣшила въ своей головѣ ѣхать, каковъ бы ни былъ докторскій отвѣтъ, и чтобъ приготовить сестру къ своему скорому возвращенію, написала ей въ тотъ же день, что она совсѣмъ здорова. Гулять они вовсе эти дни не ходили и объявили m-me Бюжаръ, что черезъ недѣлю уѣзжаютъ изъ Ниццы. Даша то суетливо укладывалась, то вдругъ садилась надъ чемоданомъ и, положивъ одну вещь, смотрѣла

на нее безмолвно по цѣлымъ часамъ. Долинскій былъ гораздо покойнѣе и видно было, что онъ искренно радовался отъѣзду въ Петербургъ. Онъ страдалъ за себя, за Дашу и за Анну Михайловну.

«Тихо, спокойно все это надо выдержать, и все это пройти, — разсуждалъ онъ, медленно расхаживая по своей комнатѣ, въ ожиданіи Дашинаго вставанья. — А когда пройдетъ, то... Боже, гдѣ же это спокойное, хорошее чувство? Теперь спи, моя душа, снова, ничего теперь у тебя нѣтъ опять; а лгать я... не могу; не стану».

— Два дня всего намъ остается быть въ Ниццѣ, — сказала одинъ разъ Даша: — пойдемте сегодня, простимся съ нашимъ холмомъ и съ моремъ.

Долинскій согласился.

— Только надо раньше идти, чтобъ опять сырость не захватила, — сказалъ онъ.

— Пойдемте сейчасъ.

Былъ восьмой часъ вечера. Угасалъ день очень жаркій. Дорушка не надѣла шляпы, а только взяла зонтикъ, покрылась вуалью, и они пошли.

— Ну-съ, сидемте здѣсь, — сказала она, когда они пришли на мѣсто своихъ обыкновенныхъ надбережныхъ бесѣдъ.

Сѣли. Даша молчала и Долинскій тоже. Въ послѣдніе дни они какъ будто разучились говорить другъ съ другомъ.

— Жарко, — сказала Даша. — Солнце садится, а все жарко.

— Да, жарко.

И опять замолчали.

— Неба этого не забудешь.

— Хорошее небо.

— Положите мнѣ, пожалуйста, ваше пальто, я на немъ прилягу.

Долинскій бросилъ на траву свое пальто, Даша легла на немъ и стала глядѣть въ сапфирное небо.

Опять началось молчаніе. Даша, кажется, устала глядѣть вверхъ и небрежно играла своими волосами, съ которыхъ сняла сѣтку вмѣстѣ съ вуалью. Перекинувъ густую прядь волосъ черезъ свою ладонь, она смотрѣла сквозь нихъ на опускавшееся солнце. Красные лучи, пронизывая золотистые волосы Доры, дѣлали ихъ еще краснѣе.

— Смотрите, — сказала она, заслонивъ волосами лицо До-

линскаго: — я, точно, какъ говорятъ наши дѣвушки: «хал-дей опаляющій». Надо жь, чтобы у меня были такіе волосы, какихъ нѣтъ у добрыхъ людей. Вотъ если бы у васъ были такіе волосы, — прибавила она, приложивъ къ его виску прядь своихъ волосъ: — преуморительный былъ бы.

— Рыжій чортъ, — сказалъ, смѣясь, Долинскій.

Даша отбросила свои волосы отъ его лица и проговорила:

— Да вы-таки и чортъ какой-то.

Долинскій сидѣлъ смирнехонько и ничего не отвѣтилъ; Дора, молча, смотрѣла въ сторону и, рѣзко повернувшись лицомъ къ Долинскому, спросила:

— Несторъ Игнатьичъ! а что вамъ говорятъ теперь ваши предчувствія? успокоились они, или нѣтъ?

— Это всегда остается однимъ и тѣмъ же.

— Ай, какъ это дурно!

— Что это васъ такъ обходить?

— Да такъ, я тоже начинаю вѣрять въ предчувствія; боюсь за васъ, что вы, пожалуй, чего добраго, не дождете до Петербурга.

— Ну, этого-то, полагаю, не случится.

— Почему знать! Олегова змѣя дождалась его въ лошадиномъ черепѣ: такъ, можетъ-быть, и ваша откуда-нибудь вдругъ выползетъ.

— Буду уходить.

— Хорошо, какъ успѣете! Вы помните, какъ змѣи смотрятъ на зайцевъ? Тѣ, можетъ-быть, и хотѣли бы уйти, да не могутъ. — А скажите, пожалуйста, кстати: правда это, что зайца можно выучить барабанить?

— Правда; я самъ видѣлъ, какъ заяцъ барабанилъ.

— Будто! будто вы это сами видѣли! — спросила Дорунка съ явной насмѣшкой.

— Да, самъ видѣлъ, и это гораздо менѣе удивительно, чѣмъ то, что вы теперь безъ всякой причины злитесь и придираетесь.

— Нѣтъ, мнѣ только смѣшно, что вы меня такъ серьезно увѣряете, что зайцы могутъ бить на барабанъ, тогда какъ я знаю зайца, который умѣлъ алгебру дѣлать. Ну-съ, чей же замѣчательнѣе? — окончила она, пристально взглянувъ на Долинскаго.

— Вашъ, безъ всякаго сомнѣнія, — отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Вы такъ думаете, или вы это навѣрно знаете?

— Дарья Михайловна, ну что за смѣшной разговоръ такой между нами!

Даша страшно поблѣднѣла; глаза ея загорѣлись своимъ грознымъ блескомъ; она еще пристальнѣе вперила свой взглядъ въ глаза Долинскаго, и медленно, съ разстановкою за каждымъ словомъ, проговорила:

— Когда А любить Б, а Б любить С, и С любить Б, что этому С дѣлать?

У Долинскаго вдругъ похолонуло въ сердцѣ.

— Отвѣчайте же! Вѣдь, это вы мнѣ эту алгебру-то толковали,—сказала еще болѣе сердито Дора.

Несторъ Игнатьевичъ совсѣмъ не зналъ, что сказать.

«Вотъ оно! вотъ оно мое воспитаніе-то! Вотъ онъ мой характеръ-то! — Ничего не умѣю сдѣлать во-время; ни въ чемъ не могу найтись!» — размышлялъ онъ, ломая пальцы, но на выручку его не являлось никакой случайности, никакой счастливой мысли.

— А любить Д, и Д любить А! Б любить А, но А уже не любить этого Б, потому что онъ любить Д. Что же теперь дѣлать? Что теперь дѣлать?

Дора нервно дернулась и еще раздражительнѣе крикнула:

— Что, вы глухи, или глупы стали?

— Глупъ, вѣрно,—уронилъ Долинскій.

— Ну, такъ поймите же безъ обвиняковъ: *я васъ люблю*.

— Дора!—вскрикнулъ Долинскій и закрылъ лицо руками.

— Слушай же далѣе,—продолжала серьезно Дора:—ты самъ меня любишь, и ее ты не будешь любить, ты не можешь ее любить, пока я живу на свѣтѣ!.. Чего жъ ты молчишь? Развѣ это сегодня только сдѣлалось! Мы страдаемъ всѣ трое—хочешь, будемъ счастливы двое? Ну...

Долинскій, не отрывая рукъ отъ глазъ, уныло качалъ головою.

— Я, вѣдь, видѣла, какъ ты хотѣлъ цѣловать мое лицо,—проговорила Дора, поворачивая къ себѣ за плечо Долинскаго,—ну, вотъ оно—цѣлуй его: *я люблю тебя*.

— Дора, Дора, что вы со мной дѣлаете?—шепталъ Долинскій, еще крѣпче прижимая къ лицу свои ладони.

Дорушка не проронила ни слова, но Долинскій почувствовалъ на своихъ плечахъ обѣ ея руки и ея теплое дыханіе у своего лба.

— Дора, пощадите меня, пощадите! это выше силъ человѣческихъ,—выговорилъ, задыхаясь, Долинскій.

— Не зачѣмъ!—страстно произнесла Дора, и сильно оторвавъ руки Долинскаго, жарко поцѣловала его въ губы.

— Любишь?—спросила она, откинувъ немножко свою голову.

— Ну, будто вы не видите!—робко отвѣчалъ Долинскій, трепетно наклоняя свое лицо къ рукѣ Доры.

Даша тихонько отодвинула его отъ себя и, глядя ему прямо въ глаза, проговорила:

— А Аня?

Долинскій молчалъ.

— Долинскій, а что же Аня?

— Вы надо мной издѣваетесь, — проронилъ, блѣднѣя, Долинскій.

— *Она тебя такъ любитъ...*

— О, Боже мой, какія злыя шутки!

— *А я люблю тебя еще больше,*—досказала Дора.—Я люблю тебя, какъ никто не любитъ на свѣтѣ; я люблю тебя, какъ сумасшедшая, какъ бѣшенная!

Дора неистово обхватила его голову и впиалась въ него безконечнымъ поцѣлуемъ.

— Небо... небеса спускаются на землю!—шептала она, сгорая подъ поцѣлуями.

Лепетъ прерывалъ поцѣлун, поцѣлун прерывали лепетъ. Головы горѣли и туманились; сердца замирали въ сладкомъ томленьи, а песочные часы Сатурна пересыпались обыкновеннымъ порядкомъ и ночь раскинула надъ усталой землей свое прохладное одѣяло. Давно пора идти было домой.

— Боже, какъ уже поздно!—сказалъ Долинскій.

— Пойдемъ,—тихо отвѣчала Даша.

Они встали и пошли: Даша шла, облокачиваясь на руку Долинскаго; онъ шагаль уныло и нерѣшительно.

— Постой!—сказала Даша.

— Что вы хотите?

— Устала я. Ноги у меня гнутся.

Они постояли молча и еще тише пошли далѣе.

На землѣ была тихая ночь; въ бальзамическомъ воздухѣ носилось какое-то животворное вѣяніе и круглыя звѣзды мириадами смотрѣли съ темно-синяго неба. Съ надбереж-

наго дерева неслышно снялись двѣ какія-то большія птицы, исчезли на мгновеніе въ черной тѣни скалы и рядомъ потянули надъ тихо колеблющимся заливцемъ, а въ открытое окно изъ ярко освѣщенной виллы бояръ Онучиныхъ неслись стройные звуки согласнаго дуэта.

М-ме Бюжаръ на другой день долго ожидала, пока ее позовутъ постояльцы. Она нѣсколько разъ выглядывала изъ своего окна на окно Доры, но окно это, попрежнему, все оставалось задернутымъ густою зеленою занавѣскою.

Даша встала въ одиннадцать часовъ и одѣлась сама, не покликавъ м-ме Бюжаръ вовсе. На Дорѣ было вчерашнее ея бѣлое кисейное платье, подпоясанное широкою коричневою лентою. Къ ней очень шелъ этотъ простой и легкій нарядъ.

Долинскій проснулся очень давно и упорно держался своей комнаты. Въ то время, когда Даша, одѣвшись, вышла въ залъ, онъ неподвижно сидѣлъ за столомъ, тяжело опустивъ голову на сложенные руки. Красивое и блѣдное лицо его выражало совершенную душевную немощъ и страшную тревогу.

— Гнусный я, гнусный и ничтожный человѣкъ! — повторилъ себѣ Долинскій, тоскливо и робко оглядываясь по комнатѣ.

«Боже! Кажется, я заболѣю, — подумалъ онъ нѣсколько радостнѣе, взглянувъ на свои трясущіяся отъ внутренней дрожи руки. — Боже! если бѣ смерть! Если бѣ не видѣть и не понимать ничего, что такое дѣлается.»

Въ залѣ слышались легкіе шаги и тихій шорохъ Дашинаго платья.

Долинскій вздрогнулъ, какъ вздрагиваетъ человѣкъ, получающій въ грудь острый уколъ тонкой шпиги, поблѣднѣлъ какъ полотно и быстро вскочилъ на ноги. Глаза его остановились на двери съ выраженіемъ неописуемой мѣки, ужаса и мольбы.

Въ дверяхъ, тихо, какъ появляются фигуры въ зеркалѣ, появилась воздушная фигура Доры.

Даша спокойно остановилась на порогѣ и пристально посмотрѣла на Долинскаго. Лицо Доры было еще живѣе и прекраснѣе, чѣмъ обыкновенно.

Прошло нѣсколько секундъ молчанія.

— Поди же ко мнѣ! — позвала съ покойной улыбкой Дора.

— Я сейчасъ, — отвѣчалъ Долинскій, оправляясь и отодвигая ногою свое кресло.

Вечеромъ въ этотъ день Даша въ первый разъ была одна. Въ первый разъ за все время Долинскій оставилъ ее одну надолго. Онъ куда-то совершенно незамѣтно вышелъ изъ дома тотчасъ послѣ обѣда и запропастился. Спустился вечеръ и угасъ вечеръ, и темная, теплая и благоуханная ночь настала, и въ воздухѣ запахло спящими розами, а Долинскій все не возвращался. Дору это, впрочемъ, повидимому, совсѣмъ не беспокоило; она проходила часовъ до двѣнадцати по цвѣтнику, въ которомъ стоялъ домикъ, и потомъ пришла къ себѣ и легла въ постель.

Темная ночь эта застала Долинскаго далеко отъ дома, но въ совершенной физической безопасности. Онъ очень далеко забрелъ скалистымъ берегомъ моря и, стоя надъ обрывомъ, какъ береговой воронъ, остро смотрѣлъ въ черную даль и добивался у рокочущаго моря отвѣта: неужто же я самъ хотѣлъ этого? неужто ужъ ни клятвъ, ни обѣщаній ненарушимыхъ больше нѣтъ?



Оглавленіе

VI ТОМА.

Обойденные. Романъ въ 3-хъ частяхъ.

	стр.
Часть I.	5
Часть II.	133



F

24.124/6-8



Рисунокъ утвержд. Правительствомъ.